Марк Поповский

РУССКИЕ МУЖИКИ РАССКАЗЫВАЮТ...

Последователи Л.Н. Толстого в Советском Союзе



РУССКИЕ МУЖИКИ РАССКАЗЫВАЮТ

MARK POPOVSKY

RUSSKIE MUZHIKI RASSKAZYVAIUT

Posledovateli L.N.Tolstogo v Sovetskom Soiuze
1918-1977

Dokumentalnyi rasskaz o krestianakh-tolstovsakh
po materialam vyvezennogo na Zapad krestianskogo arkhiva

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
LONDON 1983

МАРК ПОПОВСКИЙ

РУССКИЕ МУЖИКИ РАССКАЗЫВАЮТ

Последователи Л.Н.Толстого в Советском Союзе 1918-1977

Документальный рассказ о крестьянах-толстовцах в СССР по материалам вывезенного на Запад крестьянского архива

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
LONDON 1983

Mark Popovsky: RUSSKIE MUZHIKI RASSKAZYVAIUT
Posledovateli L.N.Tolstogo v Sovetskom Soiuze 1918-1977

First Russian edition published in 1983
by Overseas Publications Interchange Ltd
8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

ISBN 0 903868 05 9

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in Great Britain
by Short Run Press Limited, Exeter

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга, которую Вы держите в руках, — уникальна по своей судьбе. События советского периода России описывали многие: министры царские и министры Временного правительства, русские белые эмигранты и беглые советские чиновники, диссиденты и бывшие кагебешники. Но мир ни разу не слышал голоса главной жертвы режима — российского крестьянина. Что думал, знал, понимал мужик в пору Гражданской войны, в те времена, когда ему дали землю и в ту пору, когда эту землю у него отняли; о чем размышлял он в годы коллективизации, раскулачивания, индустриализации. До сих пор мы не имели свидетельств о крестьянах, которые отказывались служить в Красной армии, о том, что у себя в деревнях они создавали подчас собственные, негосударственные школы. Мы мало знали до сих пор и о том, как вели себя деревенские жители в тюрьмах и лагерях. Теперь такое свидетельство получено. Писатель и публицист Марк Поповский разыскал и вывез на Запад архив крестьян-толстовцев, последователей философского учения Л.Н.Толстого. Архив состоит более чем из 3000 листов писем, дневников, автобиографических и биографических рукописей, воспоминаний и судебных документов, охватывающих период с 1918 по 1977 год. На основе этого архива писатель создал книгу «РУССКИЕ МУЖИКИ РАССКАЗЫВАЮТ». Перед нами документальное подтверждение того, что крестьяне Советского Союза не только голодали, тяжело работали, выполняли хлебо- и мясопоставки и голосовали за советскую власть в своих клубах и домах культуры, но также молились, спорили с властями, боролись за свободу, учили своих детей порядочности и серьезно размышляли о сущности того, что происходит в стране.

Бóльшая часть этой книги была написана в стенах Института Джорджа Кеннана (Kennan Institute For Advanced Russian Studies), входящего в состав Интернационального Центра имени Вудро Вильсона (The Wilson Center) в Вашингтоне, США. Выражаю глубокую благодарность бывшему секретарю Кеннан-Института доктору Фредерику Старру (S.Frederick Starr), нынешнему секретарю Института доктору Абботу Глисону (A.Gleason), директору Вильсон-Центра доктору Джеймсу Биллингтону (J.H.Billington), а также всем сотрудникам этих исследовательских учреждений, которые своим вниманием и заботой способствовали моей работе.

Нью-Йорк, август 1981 г. *Марк Поповский*

Почему же не апостолы, не пламенные ученики, а лишь рассеянные по свету сектанты остались после Толстого?..

Леонид Леонов, писатель-академик,
Герой социалистического труда.
«Слово о Толстом». Москва, 1960 г.

Богословское творчество Толстого не создало сколько-нибудь прочного движения в мире... Положительных, цельных, творческих последователей и учеников у Толстого в этой сфере совсем нет. Русский народ не откликнулся на толстовство ни как на социальное явление, ни как на религиозный факт.

Архиепископ Иоанн (Шаховской).
«К истории русской интеллигенции». Нью-Йорк, 1975 г.

Толстовство, религиозно-утопическое течение в России конца 19 — начала 20 веков... В русской общественной жизни толстовство не оставило заметного следа. Будучи выражением «примитивной крестьянской демократии» (Ленин, полное собр. соч., издание 5, том 20, стр.20), *порождением эпохи реакции и спада революционного движения, толстовство в период нового общественного подъема начала 20-го века изжило себя.*

Большая советская энциклопедия.
Третье издание, том 26, 1977 год.
Статья «Толстовство».

ОТ АВТОРА

Я никогда не был литературоведом, знатоком творчества или биографии Льва Толстого. Мои собственные литературные интересы никак не соприкасались с той сферой, что была близка и дорога Толстому. Совсем наоборот. Три десятка лет я писал о людях и проблемах науки. Что может быть дальше от мира Толстого, чем биографии ученых? И тем не менее я приступаю ныне к работе, которая освящена идеями великого писателя и мыслителя. И это не случайно. Я вижу глубинную связь между тем, что я делал как литератор и историк до сих пор, и тем предприятием, за которое берусь.

Почти пятнадцать лет, начиная с 1964 года, втайне от советских властей я писал сочинения, не предназначенные для печати. Это были всё те же биографические и публицистические книги, с той, однако, разницей, что автор решил говорить о своих героях всю известную ему правду. В отличие от произведений, опубликованных за моей подписью в Советском Союзе, эти новые книги не были изуродованы ни внешней, ни внутренней цензурой. В этой своей потаенной литературной жизни я смог, наконец, исполнить свой долг писателя и историка. Для меня самого эти мои детища дороги прежде всего потому, что в них я впервые позволил себе искренне взглянуть на нравственную сторону жизни моих героев. Открылась возможность разобраться в причинах как благородных, так и недостойных поступков советских ученых; задуматься над тем, чтó подчас толкает исследователя на путь предательства и самопредательства.

В одной из своих новых книг о выдающемся биологе академике Николае Вавилове я смог рассказать, например, что он был не только творцом замечательных научных идей, великим путешественником и основателем Сельскохозяйственной Академии в Москве, но и, в какой-то момент, советским разведчиком в Афганистане. Я предпринял попытку исследовать причины многократных нравственных падений великого биолога, вычертить ту кривую, которая в конечном счете низвела его с вершин мирового признания и успеха в ту яму на Саратовском кладбище, куда в годы Второй мировой войны тюремщики сбрасывали трупы умерших от голода заключенных. В другой, опять-таки написанной не для печати работе, посвященной знаменитому советскому хирургу и одновременно деятелю церкви архиепископу Луке Войно-Ясенецкому, мне вновь пришлось разгадывать нравственную загадку, в результате которой многажды арестованный и трижды сосланный в Сибирь ученый-епископ после 12 лет репрессий впал в соблазн сталинизма. Во время последней войны он верно служил Сталину не только своим огромным авторитетом, но и пером публициста.

Размышление над трагическими судьбами этих лучших людей России открыло мне главную беду эпохи, начавшейся осенью 1917 года. Октябрьский переворот, Гражданская война, коллективизация, индустриализация, террор 30-х и 40-х годов — главным следствием имели массовую деморализацию советского общества. Этический кариес особенно явственно обозначился на личностях крупных, творческих, там, где как будто можно было бы ожидать мощного нравственного иммунитета. Такого иммунитета у бóльшей части советского общества не оказалось. Перед историком нового времени это обстоятельство естественно возводит вопрос: возможно ли вообще устоять перед мощью партийно-государственного давления, которому подвергается советский гражданин? А если можно, то какие именно качества позволяют личности сохранить человеческое достоинство в обстановке массового государственного амора-

лизма? Я попытался ответить на это в своей книге, ныне вышедшей на Западе под названием «Управляемая наука». Хотя речь в ней идет только о миллионе советских деятелей науки, суть проблемы касается целиком всего многомиллионного советского общества и сводится к формуле: «Как остаться человеком, сидя в клетке с обезьянами?» Свои книги, написанные не для печати, я давал читать большому кругу московских, ленинградских и киевских интеллигентов. Люди тайно передавали эти рукописи своим друзьям. Круг людей, знавших о моих исследованиях, постоянно возрастал. В современной России такая известность всегда чревата для автора серьезными опасностями. Доносительство — одна из наиболее распространенных этических болезней на моей родине. И действительно, среди моих доверенных читателей нашелся предатель. КГБ приняло против автора злокозненных рукописей меры, которые закончились для меня эмиграцией.

Но вместе с тем, расширившийся круг читателей принес мне в конце 70-х годов и нечаянную радость. Однажды друзья сообщили мне, что рукописи мои заинтересовали толстовцев, последователей философских взглядов Льва Николаевича Толстого. Я удивился: откуда взялись толстовцы на шестидесятом году советской власти? Однако вскоре я смог убедиться, что толстовцы — личности вполне реальные и даже довольно активные. Незадолго перед новым 1977-м годом мне передали от них два документа. В первом крестьянин Дмитрий Егорович Моргачев, живший в Киргизии, просил Генеральную Прокуратуру СССР о реабилитации, так как, по его словам, он осужден несправедливо и незаконно. Ответной бумагой Прокуратура извещала гражданина Моргачева Д.Е., что в действиях его состава преступления не обнаружено и поэтому дело номер 13/3-137804-40 будет прекращено. Обычная вроде бы переписка, обычные формулировки. За два с лишним десятилетия, прошедших после смерти Сталина, миллионы людей подавали в Прокуратуру т а к и е письма и получали т а к и е ответы. И тем не менее письмо из Киргизии нисколько не походило

на другие такого же рода прошения. Вчерашние жертвы террора обычно пользуются безучастным, стертым языком канцелярских протоколов. Ужас перед всесилием власти все еще сдавливает им гортани. Так же невнятно, как бы цедя свой ответ сквозь зубы, отписываются и прокуроры. Реабилитационные документы составлены так, что не ясно, кто же в конце концов виноват. Человеку, просидевшему многие годы в каторжном лагере, потерявшему здоровье и силы, советские прокуроры сообщают, что, к а к   у д а л о с ь   в ы я с н и т ь, он — не преступник, и власти отныне к нему претензий не имеют. Заявление Дмитрия Моргачева резко отличается от писем такого рода. Он не просит о снисхождении, а решительно требует признания государственной вины перед ним и его пострадавшими товарищами. Вот этот документ с сохранением стиля и пунктуации подлинника.

Прокурору Союза Советских Социалистических Республик
Моргачева Дмитрия Егоровича, проживающего Пржевальск
ул. Кравцова 253
Дело № 13/3-137804-40

Заявление на предмет реабилитации. Заявляю: я Моргачев Дмитрий Егорович — член Толстовской сельхоз. коммуны, оставшийся в живых из немногих друзей и последователей Л.Н.Толстого, был арестован в группе 10-12 человек в апреле 1936 года. В ноябре 1936 г. был осужден на срок 3 года заключения в т/лагерях. В ноябре 1937 г. приговор был отменен «за мягкостью» во время культа личности Сталина. Было вторичное следствие. Состоялся и вторичный суд по этому же делу в апреле 1940 года то есть через 4 года после дня ареста. Срок был увеличен до 7 лет. По отбытии срока (незаслуженного) был закреплен за лагерем по директиве «185», где проработал 3 года. Всего отбыл 10 лет.

Коммуна из друзей и последователей Льва Толстого переселилась в Сибирь на основании решения Президиума ВЦИК в 1930 г. Создали большое сельское хозяйство без «мое» а все общее, не откладывая на будущее, как коммунистическая партия. Мы это делали теперь же в настоя-

щее время, за что очень дорого заплатили жизнями членов коммуны. Мало осталось друзей и последователей Л.Толстого членов коммуны. Били нас жестоко за этот мирный человеческий идеал. Такую коммуну, единственную в Советском Союзе, надо было взять под охрану закона, как образцовое коммунистическое хозяйство. Но под охрану взяты лишь редкие звери и птицы.

Я — счастливец. Еще живой, арестованный в 1936 г. и дважды осужденный. Все перенес. Арестованные в 1937-38 гг. и в 1941 г. не вернулись к своим семьям, к своим детям. Погибли в неизвестности.

Все «толстовское дело» по обвинению членов коммуны создано во время культа личности Сталина надумано и ложно. Хотя и было написано несколько томов лжи и клеветы, на друзей и последователей Толстого. Я виновным себя не признаю, т.к. не сделал никакого преступления. Я не подписал допросов обвинения.

В 1963 г. спустя 27 лет после ареста и 17 лет после отбытия 10 лет заключения только за то, что я был последователем учения Льва Толстого, я обратился к Вам с заявлением о реабилитации. Мне было уже 71 год от рождения, я инвалид II группы. Я получил безжалостный ответ — отказ.

Я еще живой и также (как прежде — *М.П.*) разделяю взгляды на жизнь Льва Толстого. Мне 84 года от рождения. Прошло 40 лет после ареста и 30 лет после отбытия срока в лагерях.

Прошу меня реабилитировать перед уходом в вечность.

К сему (Д.Е.Моргачев) 24 июля 1976 г.

Перепечатанная на старенькой с разбитым шрифтом машинке, копия письма содержала приписку, сделанную от руки:

«Я теперь не нуждаюсь в реабилитации, но пусть прочтут молодые прокуроры, что было сделано с друзьями и последователями Льва Толстого».

Молодых прокуроров, надо полагать, письмо старого крестьянина не слишком взволновало: их официальный ответ выдержан в обычных для прокуратуры выражениях.

Государственный герб
Прокуратура СССР
103793 Москва, Центр
Пушкинская ул. 15-а
13 октября 1976 года
13/3-137804-40

72236 Пржевальск, Киргизская ССР
Ул.Кравцова, дом 253, Моргачеву Д.Е.

Сообщаю, что Ваша жалоба о пересмотре дела за 1940 г. в Прокуратуре СССР рассмотрена и удовлетворена.

Генеральным прокурором СССР 12 октября 1976 года внесен протест в Пленум Верховного Суда СССР на предмет отмены приговора Новосибирского областного суда от 31 марта — 4 апреля 1940 г. и последующих судебных решений и прекращения дела за отсутствием в Ваших действиях состава преступления. В протесте также будет поставлен вопрос о прекращении дела в отношении других лиц, осужденных по данному делу с Вами (Мазурин Б.В., Тюрк Г.Г., Толкач О.В. и др.). При наличии у Вас данных о месте жительства указанных лиц, прошу сообщить им о вынесении протеста. О результатах протеста Вам будет сообщено дополнительно.

Прокурор отдела по надзору
за следствием в органах Госбезопасности
Старший советник (Васильев).

В декабре 1976 года последовала окончательная реабилитация. Справедливость восторжествовала: сорок лет спустя Генеральный прокурор СССР и Пленум Верховного Суда СССР освободили последователей философии Льва Толстого от обвинения в... толстовстве. Более того, пострадавшим было разъяснено, что следование учению Льва Толстого о непротивлении злу насилием в Советском Союзе преступлением не считается. Этот письменный ответ Генеральной прокуратуры СССР — очевидно, единственный документ, которым советская власть признает, что в Советском Союзе людей преследуют за взгляды и философские убеждения. Впрочем, на страницах этой книги читатель найдет немало и других свидетельств, не менее убедительных.

Итак, толстовцы в СССР продолжают существовать. И не только существуют, но даже сохраняют верность своим убеждениям. Что же мы, люди, родившиеся в России после 1917 года, знаем о них? По существу, ничего. Мы прожили жизнь в стране, где существует и ежедневно подчеркивается культ Толстого. В городах и поселках именем писателя названы улицы и площади, есть музеи Толстого, возводятся памятники Толстому, Толстого изучают в школах и университетах, его произведения выпускаются большими тиражами. Но государственные издательства выпускают только художественные произведения Льва Толстого. Философские труды его и труды религиозные можно найти в полном составе только в одном, крайне редком и малодоступном 90-томном издании Толстого, выпущенном тиражом в 5000 экземпляров.

О взглядах писателя советским гражданам предлагают судить по широко пропагандируемой статье Ленина о Толстом. Статью эту — «Лев Толстой как зеркало русской революции» — каждый из нас обязан был знать с детства. О содержании этой статьи спрашивают на школьных экзаменах по литературе и при поступлении в институты, поэтому статью (в школьном просторечии известную как «Зеркало») читали даже те, кто не одолел «Анну Каренину», а о «Войне и мире» судит понаслышке. Главная мысль Ленина о Толстом сводится к тому, что Толстой великий писатель, но бездарный философ. Философия его не только несерьезна, но и вредна. Молодой читатель «Зеркала» узнает и на всю жизнь запоминает также, что «Толстой смешон как пророк», что толстовцы «мизерны», что идея личного самоусовершенствования — бред, а тот, кто по соображениям нравственного порядка отказывается от мяса, — юродивый.

Профессора, учившие меня на филологическом факультете Московского университета, следующим образом дополняли основополагающие мысли Ленина. «Вокруг великого художника, — говорили они, — действительно вились какие-то малоценные субъекты, объявлявшие себя его после-

дователями. Но субъекты эти не достойны упоминания, ибо они были врагами социал-демократии, противниками науки и прогресса». Делалось и другое разъяснение: «Толстовство — такой же темный угол биографии Льва Толстого, как и донжуанский список Пушкина. Этих темных углов касаться не следует, дабы не омрачать великие и дорогие для нашего народа образы».

Так и прожило три поколения советских людей в убеждении, что великий писатель зря баловался философией, в которой он решительно ничего не смыслил. Этот тезис мы находили в энциклопедиях, в литературных справочниках, в юбилейных и не юбилейных статьях и комментариях к произведениям Толстого, выходящим в СССР. В длинной и маловразумительной записи, которую глава партии и народа Л.И.Брежнев сделал 17 января 1977 года в книге почетных гостей Дома-музея в Ясной Поляне, снова упоминается только Толстой-художник, автор «Войны и мира». О Толстом-философе Брежнев или ничего не слыхал или предпочел традиционно умолчать*.

Толстовец из города Куйбышева Илья Ярков в письме ко мне так прокомментировал этот эпизод: «Вы, вероятно, знаете, что означает еврейское обрезание? Так вот, наподобие с этим наш вождь, побывав в Ясной Поляне..., о б р е з а л Толстого по «Войну и мир»... Даже в Японии Толстого зовут не иначе как Учитель. А для Брежнева ценность Толстого не превышает ценности автора "Войны и мира"»**.

Илья Петрович Ярков был первым живым толстовцем, которого я встретил. До этого в сознании маячили лишь какие-то туманные образы: бородатые и очкастые мужчины в сапогах и косоворотках, которые читали до революции брошюры с толстовскими сочинениями и собирались органи-

---

* Газета «Правда» от 18 января 1977 года. «Дань памяти великого русского писателя».

** Письмо из Куйбышева от 20 января 1977 года.

зовывать кооперативные предприятия. Их поддерживал друг Льва Николаевича Чертков, а Софья Андреевна почему-то не любила и звала «темными». Вот, пожалуй, и все, что помнилось мне о толстовцах до того, как я прочитал письмо Моргачева и встретил Яркова.

В какой-то момент я решил проверить, может быть, не все в моем окружении столь же безнадежно безграмотны в этом вопросе. Опросил нескольких моих московских друзей — инженера, врача, священника, двух писателей, трех ученых — куда по их мнению девались толстовцы.

— Куда девались? Рассеялись... — безо всякого интереса ответил один.

— Вывелись за ненадобностью, — сострил другой.

Но большинство откровенно призналось: не знаем, никогда о них не думали.

Заставить себя не думать о толстовцах я уже не мог. Мысль упорно возвращалась к этой горстке преследуемых. Что они отстаивали? Ради чего страдали? А главное, где эти люди сейчас? Ведь где-то должны они находиться, все эти реабилитированные и нереабилитированные толстовцы, противники убийств, насилия, друзья труда и чистой жизни. Но как их найти? В Советской России поиски такого рода не поощряются: архивы закрыты, книги нежелательного содержания — на запоре в так называемом «спецхране». Объявить о своих поисках публично — нельзя, писать об этом в письмах тоже не рекомендуется — перлюстрация писем производится по всей стране. Да и по телефону не стоит слишком исповедываться: многие телефоны столичной интеллигенции, и мой в том числе, подслушивает КГБ.

И тем не менее толстовцев я все-таки разыскал. Одних видел воочию, другим послал письма с оказией и получил ответы. Сейчас еще рано рассказывать историю моих поисков и тех бесед, которые я имел с друзьями и последователями Толстого. Но в конце концов у меня оказалось 32 адреса наиболее заметных толстовцев, рассеянных по стране. И не только адреса. В процессе поисков нашлись бескорыстные друзья, согласные съездить в другие города с

запиской, готовые перепечатывать полученные от толстовцев рукописи, перефотографировать полученные документы. Довольно скоро в моем распоряжении оказалась целая библиотека, состоящая из рукописей различного толка. От Димитрия Егоровича Моргачева (1892-1978) дошла до меня рукопись «Моя жизнь». Следом получил я также рукописную книгу крестьянина-толстовца В.В.Янова (1897-1971), названную «Краткие воспоминания о пережитом». Затем передали мне большой труд крестьянина-толстовца, живущего ныне в Западной Сибири, Бориса Васильевича Мазурина (род. в 1902 г.). Мазурин описал историю толстовской коммуны «Жизнь и труд». А другой толстовец, Василий Николаевич Павлов (род. в 1891 г.) из города Белореченска, что на Кубани, одарил меня рядом интересных исторических материалов, среди которых оказались дневники, письма, судебные речи крестьян-толстовцев, их песни и стихи. Павлов же подарил мне копию воспоминаний своего литовского друга толстовца Эдуарда Левинскаса (1893-1975). Толстовец Илья Петрович Ярков, в прошлом самарский журналист, позволил мне познакомиться с громадной, в тринадцати томах, документальной автобиографической повестью «Моя жизнь» и монографией о толстовце Александре Добролюбове. Позднее подоспели бумаги от толстовца-крестьянина с Черниговщины Андрея Григорьевича Мозгового. Он передал свою переписку с ЦК КПСС об издании в СССР произведений Льва Толстого, а также свою автобиографию и несколько философских статей. Удалось мне также прочитать несколько глав из рукописи бывшей коммунарки-толстовки Елены Федоровны Шершеневой (Али Страховой) о своем муже В.В.Шершеневе. Побывали у меня в руках также мемуары переписчика рукописей Льва Толстого Самуила Беленького, биография крестьянина-толстовца Якова Драгуновского, составленная его ныне здравствующим сыном Иваном Яковлевичем Драгуновским, дневники сельской учительницы Анны Малород и многое другое.

Все эти бумаги, содержащие описание жизни толстовцев в СССР, авторы-крестьяне вынуждены были десятилетиями

скрывать от обысков и конфискаций. Очередной такой налет был совершен на квартиру Дмитрия Моргачева в Пржевальске агентами КГБ летом 1977 года, уже после того, как Генеральный прокурор СССР объявил толстовцев невиновными в предъявленных им обвинениях. Ничего «опасного» для себя власти во время обыска не нашли, но тем не менее 85-летнему старику угрожали, от него требовали, чтобы он не писал «ничего такого». Под этой хорошо понятной каждому советскому гражданину формулой чины КГБ понимают любые произведения, в которых авторы свидетельствуют о перенесенных гонениях и репрессиях. Зная нравы властей, толстовцы уже давно научились дублировать каждую свою рукопись, размножать и рассылать другим единомышленникам каждое общественно важное письмо или документ. Мне, естественно, не удалось познакомиться со всем архивом толстовцев-крестьян, но и те несколько тысяч листов, которые я успел прочитать, скопировать и вывезти из Советского Союза, дают исчерпывающую картину жизни и гибели этого удивительного клана единомышленников.

Как известно, сам Лев Николаевич Толстой считал, что число его сторонников в России ничтожно. Отвечая на определение Синода, отлучившего его от Церкви, он писал: «...Мне хорошо известно, что людей, различающих мои взгляды, едва ли есть сотня...»* Но две трети века спустя, беседуя со стариками толстовцами, я смог убедиться, что уже в советское время жили и сохраняли свои убеждения т ы с я ч и последователей учения Льва Толстого. В основном это были крестьяне, но много было среди них и горожан — рабочих, мелких служащих, учителей, врачей. Сотни из них были брошены в лагеря и тюрьмы, в сумасшедшие дома и ссылки. Более ста толстовцев расстреляны. Не удивительно, что после всех страданий и преследований маленький народ единомышленников Льва Тол-

* Лев Толстой. Полное собр. соч. в 90 томах. Том 34, стр. 246. «Ответ на определение Синода от 20-22 февраля...»

стого насчитывает сегодня, очевидно, не более полусотни здравствующих членов. Их средний возраст в 1977 году колебался от 75 до 90 лет. Их пример, их жизнь дает, как мне кажется, ответ на тот вопрос, который я задавал и себе, и своим читателям в своих прошлых книгах: можно ли выстоять, можно ли сохранить свою совесть незапятнанной, живя в тоталитарном обществе? Толстовцы ответили на это всей своей жизнью, равно трагичной и героической. Толстовцам Советского Союза, мученикам совести, победителям в шестидесятилетнем марафоне посвящаю я эту книгу.



Но прежде чем мы заглянем в дневники, жизнеописания и письма русских крестьян, прежде чем услышим живые их голоса, свидетельствующие о себе, оглянемся на сотню лет назад — в ту пору, когда появились на Руси первые последователи мыслителя и учителя из Ясной Поляны. Кто они были? С чего началось это столь удивительное для рационального и индустриального XIX века движение? И как сам Лев Николаевич Толстой относился к своим единомышленникам?

Глава I

ПАСТЫРЬ И МАЛОЕ СТАДО

Лев Толстой и толстовцы (80-е годы — 1910 год)

Сто лет назад, на пороге 80-х годов, в России произошло событие, на которое современники почти не обратили внимания. Знаменитый писатель граф Лев Николаевич Толстой перестал писать романы и углубился в религиозные искания. Равнодушие современников понять не трудно. В социальной жизни России происходили в это время события драматические. Революционеры, перейдя к активному террору, напрягали все силы, чтобы убить царя Александра Второго и тем деморализовать государственную администрацию. Чтобы захватить власть, они сеяли в стране сумятицу, стреляли в губернаторов, жандармских генералов и других крупных государственных чиновников. На их террор власти также отвечали террором. Революционеров вылавливали, арестовывали, судили. Ссылки, заключение в крепость и казни стали бытом времени. Страсти с обеих сторон накалились до крайности. Близилась роковая дата: 1 марта 1881 года — день убийства Государя. Гибель царя еще более разожгла огонь ненависти между монархистами и революционерами. Расправы над революционерами приобрели еще более жестокий и массовый характер. Началась эпоха, когда не только революционная, но и вообще всякая живая мысль на Руси заглохла на многие годы.

В кипении этих событий религиозные переживания автора «Войны и мира» и «Анны Карениной» даже его близким казались не слишком актуальными. В ноябре 1879 года

Софья Андреевна Толстая писала своей сестре Т.А. Кузьминской: «Лёвочка всё работает, как он выражается, но, увы, он пишет какие-то религиозные рассуждения, чтобы показать, что церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он скорее это кончил и чтобы прошло это как болезнь».

Но странная «болезнь» не проходила. Более того, она усугублялась с годами. Пятнадцать лет спустя Софья Андреевна жаловалась своей сестре, которая в 1894-м году не смогла провести, как обычно, лето в имении Толстых в Ясной Поляне:

«Без вас одни посетители предвидятся — темные. А они мне до того опостылели, что иногда хочется на них какой-нибудь пистолет или мышьяк завести»*. Темными, в противовес своим великосветским гостям, Софья Андреевна называла последователей мужа. Надо полагать, что последователей этих было уже немало, потому что Толстая поминает их недобрыми словами чуть ли не в каждом письме. «Ты знаешь, Таня, как я ненавижу всех этих так называемых толстовцев, — писала она два года спустя. — Праздный, слабый народ, вечно с кем-то борющийся и шатающийся по чужим домам (богатым больше) и живущий на чужих хлебах»**. Оставляя оценку толстовцев на совести жены писателя, я хотел бы только обратить внимание на то, как просчиталась она, полагая, что и десятку людей в России не будут интересны религиозные искания ее мужа. Начиная с середины 80-х годов, число последователей Толстого-философа стремительно возрастает. К его идеям приобщаются люди самого разного общественного положения. И в том числе крестьяне.

---

* С.А.Толстая — Т.А.Кузьминской, письмо от 8 апреля 1894 г.

** С.А.Толстая — Т.А.Кузьминской, письмо от 12 июля 1896 г.

Что же представляли собой религиозные переживания Льва Толстого, те, что сначала были столь мало интересны русскому обществу, а затем вызвали к жизни целое движение — толстовство? Он сам обстоятельно изложил суть дела в ряде книг и статей. Наиболее четко и аргументированно описано его новое мировоззрение в книге «В чем моя вера». Там же рассказал он, при каких обстоятельствах после многих лет атеизма сделался он верующим человеком и как по-новому понял учение Христа. Вкратце рассказ этот можно свести к следующему.

Самым главным местом в Евангелии для уверовавшего Толстого оказались слова Спасителя: «Вы слышали, что сказано”: око за око, зуб за зуб”. А Я говорю вам: не противься злому» (Матф. гл. V, стих 38, 39).

Толстой пишет: «Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит... И истина восстала передо мной во всем ее значении». Истина, как ее понял 50-летний Толстой, заключалась в том, чтобы жить, не отвечая на зло других и не возбуждая ни у кого зла. Только таким образом можно нейтрализовать, заставить отступить бесконечно растущие в мире обиды, зависть, ненависть, злодейства. Только так можно улучшить себя и окружающий нас мир. И только так надлежит поступать человеку во всех случаях жизни. Мысль о том, что не надо противиться злу насилием — основной стержень новых взглядов Толстого.

Как же, однако, жить, не противясь злу, в современном многоэтажном обществе, в современном государстве, с его армией, администрацией, полицией, судом? Толстой проявил немалое гражданское мужество, доведя философию непротивления до практических, каждодневных выводов.

Тому, кто пожелал бы следовать его взглядам, он шаг за шагом показывает, как надо вести себя в современном обществе. Современникам программа эта показалась не менее радикальной, нежели программа анархистов и народовольцев.

Первая заподведь Христа, на которую Толстой обратил внимание и на которую он взглянул под новым углом зрения, звучала в Евангелии от Луки так: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены» (Лука, VI, 37). Толстой увидел в этих словах Спасителя не только призыв не осуждать ближнего на словах, но и требование не судить людей судом, не судить их своими человеческими учреждениями — судами. А коли так, не следует христианину обращаться в суд и ни в каком качестве не следует принимать участие в судебном процессе. Отсюда следует и соответствующее отношение к уголовным законам: законы эти чаще всего противоречат Евангельским заповедям, и их следует игнорировать. Такое же нигилистическое отношение заповедь «Не судите» вызвала у Толстого и к судебным приговорам и к тюрьмам и к казням. А так как суд, тюрьмы и казни — есть продукт деятельности государства, то Толстой считает, что государство, государственный аппарат — носитель зла, источник антихристианской морали и деятельности. Надо всеми силами противиться тому насилию, в которое вовлекает государство (всякое государство!) своего гражданина.

Анализ других заповедей Христа приводит Толстого к мысли о святости брака. Не дòлжно не только изменять жене, но и разводиться с ней. Он выступает против института разводов и вторичных браков, против права государства развязывать те узы, которые закреплены свыше. Третья заповедь Спасителя — «Я говорю: не клянись вовсе» — также вызывает у Толстого современные ассоциации. Для русского писателя-философа она означает неприемлемость таких основ государственной власти, как судебная и военная присяга. Точно так же, размышляя о заповеди, предписывающей «любить врагов своих», приходит он к мысли, что не дòлжно делать различия между отношением к своему народу и народу иноземному. Не следует поддаваться государственному и личному национализму, патриотизму и шовинизму; не надо воевать с инородцами, не надо вооружаться против них. А коли государство принуждает к этому

христианина, он должен отказаться от оружия и от службы в армии. Кстати, напоминает Толстой, так и делали христиане первых веков, несмотря на все кары, которые обрушивали на них римляне.

Толстой считает, что заветы Христа вполне исполнимы и доступны для исполнения каждому, даже в условиях современного государства. Нужно только найти в себе мужество собственными силами изменить свою жизнь, перестать творить зло, не гневаться на окружающих, не прелюбодействовать, не заниматься накоплением богатств, жить не для себя только, но для всего народа, для потомства. При этом не следует надеяться на жизнь загробную, идею загробного существования Толстой отрицает. Зато он уверен, что исполнение Христовых заповедей здесь, на земле, и есть та жизнь в Боге, о которой говорил Спаситель.

Толстой вовсе не скрывает от своих современников, что тот, кто станет детально соблюдать пять заповедей Христа, войдет в конфликт с современным государством. Он не скрывает и того, что подлинный христианин может при этом и пострадать. Но лично для себя он делает следующий вывод: «Больше ли будет у меня неприятностей, раньше ли я умру, исполняя учение Христа, мне не страшно. Это может быть страшно тому, кто не видит, как бессмысленна и погибельна его личная одинокая жизнь, и кто думает, что он не умрет. Но я знаю, что жизнь моя для личного одинокого счастья есть величайшая глупость и что после этой глупой жизни я непременно только глупо умру. И потому мне не может быть страшно. Я умру так же, как и все, так же, как и не исполняющие учения; но моя жизнь и смерть будут иметь смысл и для меня, и для всех. Моя жизнь и смерть будут служить спасению и жизни всех, — а этому-то и учил Христос.»*

Толстой дает своим читателям некоторые советы относительно того, как практически овладеть новой счаст-

* Л.Н.Толстой. «В чем моя вера». Prideaux Press, Letchworth, England, 1976, стр. 100.

ливой жизнью. Для этого надо жить в единстве с природой, с землей, при свете солнца и на свежем воздухе. Он считает основой человеческого блага труд, но труд любимый. Работать надо не для того, чтобы накапливать материальные блага; ибо «Человек не затем живет, чтобы на него работали, а чтобы самому работать на других. Кто будет трудиться, того будут кормить».* Третье условие правильной жизни — семья, но такая, где дети — счастье, а не обуза. Еще одно условие счастливой и правильной жизни — «свободное, любовное общение со всеми разнообразными людьми мира». И, наконец, последнее — здоровье и безболезненная смерть. Толстой считает, что в современном ему обществе «чем ниже, тем здоровее, и чем выше, тем болезненнее мужчины и женщины. Деревенские мужики, — говорит он, — несмотря на свою тяжелую работу и скудную пищу, здоровее городских жителей, бар, чиновников и купцов».

Вот, собственно, и все элементы того, что можно назвать «учением Толстого». Собственно, никакого нового учения Толстой не создал. Он лишь соотнес Евангельские заповеди с поведением человека XIX века, человека, живущего в современном христианском якобы государстве. Но как раз это-то Толстой и отрицает: он не считает Россию христианским государством, вернее не считает христианским государственный аппарат и официальную государственную церковь. Он обвиняет церковь в искажении заповедей Спасителя. И не только православную церковь, но и католическую и протестантскую. Но особенно православную, за то, что она освящает войны, суды и казни, рабство и разводы, службу в армии, ненависть к иноверцам. «Церковь на словах признала Христа, — пишет Толстой, — а в жизни прямо отрицала его».

Заканчивая 22 января 1884 года свою книгу «В чем моя вера», Лев Толстой писал, что церковь, независимо от того, православная она, католическая или протестантская, по су-

* Там же, стр. 128.

ществу давно уже мертва, ибо «составляется из людей, взывающих «Господи! Господи!» и творящих беззаконие» (Матф., VII, 21,22). Но нарождается другая церковь, состоящая «из людей, слушающих слова сии и исполняющих их... *Мало ли, много ли теперь таких людей, но это — та церковь, которую ничто не может одолеть, и та, к которой присоединятся все люди»*.

Он закончил книгу на высокой оптимистической ноте, процитировав стих из Евангелия от Луки (XII,32) «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство».

Позднее, уже в советское время, все, кто писал о религиозных исканиях Льва Толстого, утверждали (таков был «социальный заказ»), что автор книги «В чем моя вера» вовсе не интересовался последователями и не стремился обзаводиться учениками*. Это неверно. Великий моралист вовсе не был равнодушен к распространению своих взглядов. Больше того, он хотел, чтобы как можно больше людей постигли ту прекрасную истину, которая открылась ему при вдумчивом чтении Евангелия. Естественно, мечтал он при этом не о секте, а о массовом этическом движении. Ему казалось (особенно в начале 80-х годов), что людям очень просто будет постигнуть, что ядро учения Христа заключается в том, чтобы не отвечать злом на зло и насилием на насилие. И как только люди поймут эту немудреную истину, так и жизнь свою смогут перестроить в согласии с ней. И тогда — кто знает? — может быть, вся Россия, а за ней и весь мир стронется, сдвинется с извечно накатанной дороги войн, злодеяний и угнетения.

Открыв для себя путь спасения, Толстой, в отличие от некоторых других более поздних писателей и мыслителей, не стал выдавать себя за мессию, открывателя великих

---

* М.В.Муратов в книге «Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков» (М., 1934, стр. 180) пишет: «Перспектива иметь последователей, объединенных в своего рода секту, нисколько Толстого не радует».

истин. Он представлял себя обществу скорее как толмач, переводчик, которому случайно удалось разобраться в тайнах Христовой речи. Но при этом он искренне верил в то, что подлинные евангельские истины, в том виде, как он их постиг, могли бы преобразить общество, способное их усвоить и практически применять в жизни.

Людей, готовых разделять его взгляды, поначалу находилось крайне мало. Очевидно, первым, кто принял идею непротивления и все вытекающие из нее выводы, был домашний учитель детей Толстых Василий Иванович Алексеев. Еще до знакомства со Львом Николаевичем он переболел революционными настроениями, потом уехал в Соединенные Штаты, чтобы в условиях американской демократии создать земледельческую общину. Община быстро распалась. Алексеев вернулся домой, твердо убежденный в том, что ни натравливающая пропаганда, ни бомбометание не способны изменить жизнь русского общества к лучшему. Ключ к свободе лежит внутри каждого человека. Лев Толстой нашел в его лице преданного последователя. Однако скоро им пришлось расстаться. Софья Андреевна подслушала разговор мужа с учителем своих детей: два единомышленника обсуждали текст письма к царю Александру Третьему с просьбой помиловать убийц Александра Второго. В накаленной обстановке 1881 года, тотчас после убийства царя-освободителя, мысль эта показалась Софье Андреевне столь возмутительной, что она предложила учителю покинуть их дом.

Другим человеком, способным понять идею непротивления злу насилием был близкий знакомый Толстых публицист, автор книг по вопросам философии, Николай Николаевич Страхов (1828-1896). Начитанный, высокообразованный Страхов был великолепным собеседником, но он, как скоро заметил Лев Николаевич, лишь наблюдал жизнь со стороны, не будучи способным активно участвовать в ней. Толстой как-то сказал о нем: «Страхов как трухлявое дерево — ткнешь палкой, думаешь, будет упорка, ан нет, она насквозь проходит, куда ни ткни — точно нет в

нем середины: вся она изъедена у него наукой и философией»*.

Были среди первых толстовцев еще несколько интеллигентов и аристократов, и в том числе известный художник Н.Н.Ге. Но о большей части этих последователей Толстой мог бы сказать, как он сказал об одном из более поздних своих учеников: «Он слишком согласен». К тому же, люди этого рода не могли, да и не собирались перестраивать свою жизнь на новых началах. Приобщение к толстовскому идеалу ограничивалось у них разговорами в гостиных. Толстой же искал людей, способных действительно переломить свою жизнь, готовых перестроиться так, чтобы действительно жить по Евангелию. Таких вокруг него долгое время не находилось, и это его угнетало. Горечь одиночества явственно звучит в одном из писем Толстого тех лет. Обращаясь к незнакомому юноше, который показался ему близким по взглядам, Лев Николаевич признается:

«Вы верно не думаете этого, но Вы не можете представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящее Я, презираемо всеми окружающими меня. Знаю, что претерпевший до конца спасен будет; знаю, что только в пустяках дано человеку право пользоваться плодами своего труда или хотя бы видеть этот плод, а что в деле божьей истины, которая вечна, не дано видеть человеку плод своего дела, особенно же в короткий период своей коротенькой жизни, знаю всё, и все-таки часто унываю»**.

Но постепенно число последователей росло, и это искренне радовало старого писателя. В его письмах в течение следующих тридцати лет можно найти много восторженных строк относительно тех, кто отказался по нравственным причинам от службы в армии или «горит огнем только

* Алексеев В.И. «Воспоминания о Л.Н.Толстом». Рукопись. Хранится в Государственном музее Л.Н.Толстого в Москве.

** Л.Н.Толстой — М.А.Энгельгардту, дек.1882 — янв.1883 г.

что воспринятой истины и желанием итти проповедывать ее»*.

Поначалу большая часть людей, которые увидели в великом писателе учителя жизни, относилась к числу горожан-интеллигентов. В Ясную Поляну пишут и приезжают железнодорожные инженеры, недоученные агрономы, сельские учителя, библиотекари, гимназисты. Они расспрашивают Толстого, как им покинуть город, оставить жизнь, которая кажется им нечистой, нехристианской, как и где заняться ручным трудом. Некоторые толстовцы начали организовывать кооперативные товарищества, земледельческие общины. Такие общины возникали в разных местах страны, но, как правило, быстро распадались. Толстой сочувственно относится к планам вчерашних горожан. У него нет возражений против общин. Одному из энтузиастов-общинников он совершенно четко разъясняет свое отношение к единомышленникам, решившим осесть на земле: «Согласен с вами в том, общем значении, которое вы приписываете общине и в особенности стремлению людей к соединению, проявляющемуся в общине... Осуждать общинную форму жизни могут только люди, которые живут в форме жизни более соответствующей христианскому и нравственному складу, чем общинное. Таковой же я не знаю...»**

При этом, однако, Льва Николаевича беспокоит мысль о том, что всякого рода общественное предприятие само по себе требует организационных усилий, энергии, а это отвлекает людей, собравшихся в общину от их первоначальной задачи — усовершенствования своего духовного мира. Он писал: «Одно, на чем я настаиваю и что мне все яснее и яснее становится с годами, это та опасность ослабления внутренней духовной работы при перенесении всей энергии — усилия — из внутренней области во внеш-

* Л.Н.Толстой — В.Г.Черткову, 9 декабря 1907 г.

** Л.Н.Толстой — М.С.Дудченко, 18 февраля 1909 г. Юбилейн. собр. соч., том 79, стр. 76.

нюю»*. Эти вполне справедливые опасения отравляли для Толстого его отношения с единомышленниками-интеллигентами. Выслушав рассказ одного из наиболее ярых общинников, он написал художнику Н.Н.Ге: «Я признаю их высоту и, как на свою, радуюсь, но что-то не то»**. Жизненный опыт подсказывал писателю, что интеллигент-индивидуалист, не привыкший жить роевой, ульевой жизнью деревни, перенесет в сельскую общину свой городской индивидуализм и тем самым подорвет идею христианского единения. Этот тайный индивидуализм его последователей-горожан отталкивал, пугал Толстого. Он писал:

«Едет человек из Харькова... или из Полтавы или даже от вас ко мне, едет мимо десятков миллионов людей, считая их чуждыми, для того, чтобы приехать к своим единоверцам в Твери, Туле, Воронеже. Вроде как в городе едут господа в гости из Морской на Конюшенную, и все эти люди, среди которых они проталкиваются, не люди, а помехи, а настоящие для них люди там, на Морской... Но для светских людей это простительно, это последовательно. Но для людей, хотящих итти за Христом, нет более нехристанского отношения — это отрицание того, что составляет сущность учения»***.

У своих последователей яснополянский мудрец хотел видеть больше естественности, цельности, меньше натужности при исполнении заповедей Евангелия. Он напряженно вглядывался в каждого нового посетителя Ясной Поляны и своего дома в Москве в надежде найти цельную натуру, ясные, искренние чувства. Из толпы поклонников удалось в конце концов выявить несколько таких наиболее верных людей. Самым близким оказался Владимир Григорьевич Чертков, аристократ, из семьи наиболее приближенной к царскому дому. Чертков, ставший впоследствии издателем Тол-

---

* Там же.

** Л.Н.Толстой и Н.Н.Ге. Переписка. «Академия», М.-Л., 1930. Письмо Л.Н.Толстого к Ге от 28 ноября 1892 г.

*** Письмо Л.Н.Толстого В.Г.Черткову от 19 октября 1892 г.

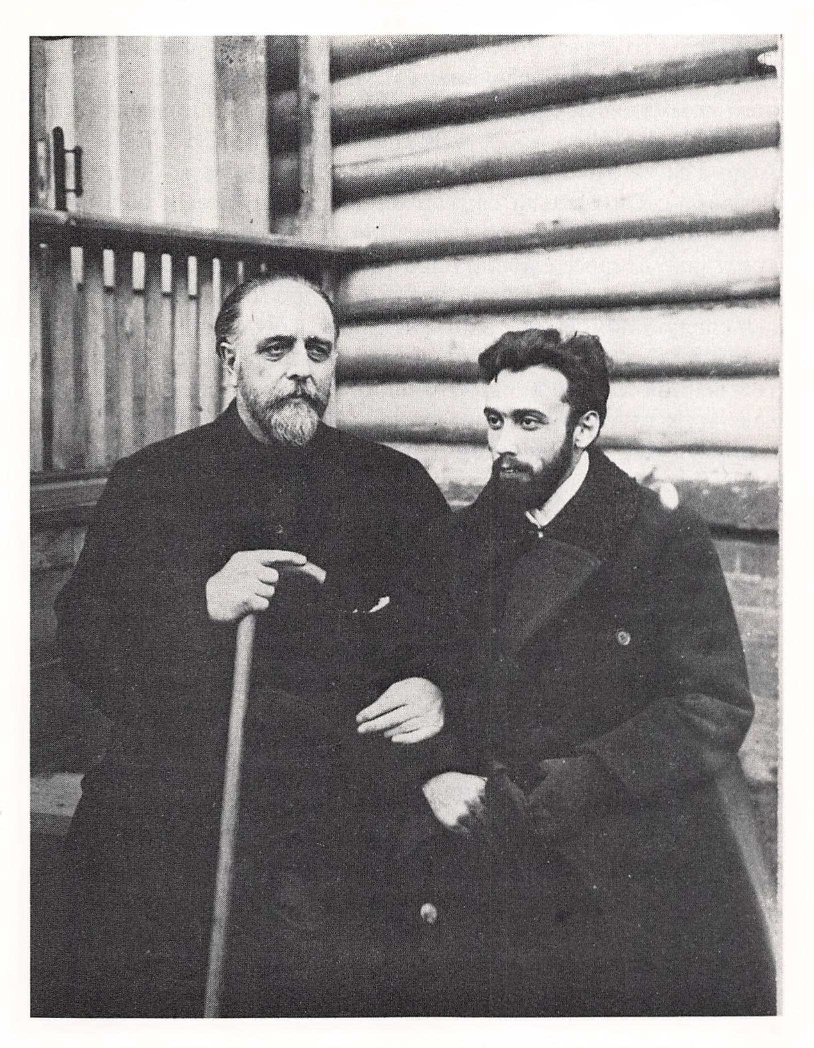
стого, его страстным пропагандистом, теоретиком и практиком толстовского движения, Чертков, о котором Толстой записал в своем дневнике: «Он удивительно одноцентренен мне»*, — очень точно понял причину недовольства Льва Николаевича своими последователями. «Главное меня поражает то, — писал Чертков Толстому, — что наше понимание жизни не вызывает, не усиливает даже во многих из нас (во мне даже в том числе) истинной непосредственной доброты, любви, благоволения к людям. Кто сам по себе добр между нами, тот остается добрым, а кто менее добр, тот не становится, по-видимому, более добрым»**. Эта мысль Черткова чрезвычайно занимала Льва Николаевича. Она смыкалась с наблюдениями над тем, как натужно, как трудно сживаются между собой толстовцы в общинах, как мало тепла дарят друг другу эти люди, вроде бы твердо решившие итти евангельским путем. Все это заставляло задумываться над тем, что, очевидно, город, городская жизнь, городское воспитание с детских лет подавляет в людях простые дружелюбные чувства. А крестьяне?..

Еще в 1881 году Толстой услыхал про тверского крестьянина Василия Кирилловича Сютаева, который отверг церковную обрядность и еще до Толстого выработал жизнепонимание, очень близкое к толстовскому. Сютаев (1819-1892), читавший по складам и вовсе не умевший писать, поразил Толстого своей простотой, добротой и мудростью. Он считал, что всего важнее в человеке его внутренний мир, а не внешнее устроение. Внутренний мир и должен определять наше поведение в мире внешнем. С бедностью и пороками городских окраин он предлагал бороться самым простым способом: брать детей из нищих рабочих семей на воспитание к людям обеспеченным. И хотя сам не был богат, готов был взять двоих воспитанников, чтобы своим примером, своей трудовой, праведной жизнью воспитать

---

* Запись в дневнике 6 апреля 1884 года.

** В.Г.Чертков — Л.Н.Толстому 8-9 апреля 1888 г. Цит. по кн.: М.В.Муратов. Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков. М., 1934, стр. 185.



Слева В.Г.Чертков (1854-1936). Рядом с ним редактор сочинений Л.Н.Толстого толстовец К.С.Шохор-Троцкий (1892-1937).
Москва. Начало 30-х годов.

доброе потомство России. Не слыхав никогда про марксово «бытие определяет сознание» и марксово же учение о будущем коммунизме на земле, тверской мужик опровергал и то и другое одной фразой: «ВСЁ В ТЕБЕ И ВСЁ СЕЙЧАС». Афоризм этот стал излюбленным афоризмом Толстого. Встречу с Сютаевым считал он одной из самых важных в своей жизни. Встреча эта в частности убедила его в том, что крестьяне в массе своей лучше горожан подготовлены к восприятию евангельской заповеди о непротивлении и всех, за ней следующих. Им не надо насиловать себя, когда речь идет о ручном труде, о жизни среди природы, ибо это их естественное состояние. Постоянная жизнь «на людях» побуждает их к взаимопомощи, дружелюбию по отношению друг к другу. Что же касается церковной обрядности, то в 80-х годах отказ от нее стал среди русских крестьян массовым явлением.

Речь шла о возникавших по всей России сектах. Кроме нецерковных христианских объединений, таких, как баптисты, молокане, штундисты, в эти годы народились секты «мормонов», беспоповцев, малеванцев, старый и новый Израиль и т.д. Сектантское движение, охватившее чуть ли не всю страну, живо интересовало Толстого. В сектантах он увидел потенциальных своих последователей. У него возникли тесные отношения с сектантами Тульской и Орловской губерний. Сохранилось жандармское Дело, из которого явствует, что эти контакты вызвали серьезное беспокойство властей. С сентября 1882 года отставной поручик граф Лев Николаевич Толстой по распоряжению министра внутренних дел находился под негласным наблюдением полиции*. Дело это пополнилось в 1883 году новыми материалами: чтобы поближе познакомиться с сектантами Заволжья, Толстой в мае 1883 года выехал в свое имение в Самарской губернии.

* Дело №34-а канцелярии самарского губернатора 3 стола «об отставном поручике графе Льве Толстом». Начато 13 июня 1883 г. Опубликовано в журнале «Русская Мысль», кн. XI, октябрь 1912 г.

Бузулукский исправник рапортом от 13 июля 1883 года за номером 2201 доносил самарскому губернатору: «Прибывший на свой хутор, Патровской волости, Бузулукского уезда, Граф Лев Николаевич Толстой, бывая в селе Гавриловке и разговаривая с крестьянами, внушает им, что их понятия об учении Господа Иисуса Христа ложны, что напрасно они устривают храмы, совершают богослужения и молятся въявь, что, по учению Спасителя, люди, живущие на земле, все равны между собою, никто ничего не должен считать своим; все общее; царства на земле нет, оно в самом человеке. На возражение крестьянина того села Тимофея Булыкина (староста церковный), отчего он, придерживаясь учения Спасителя, не раздает даром имения, а сдает его за деньги, граф ответил, что лично он согласен даром отдать землю, но ему не позволяет его жена. На вопрос же Булыкина: если царства на земле нет, то должны ли они платить подати и разные налоги, граф ответил неутвердительно; тогда Булыкин ответил, сказал, что Спаситель сам платил подать Кесарю. Это граф пояснил так: Иисус Христос платил подати не ради обязанности, а чтобы ему не делали притеснения в его учении. Булыкина граф назвал серьезным человеком и обещал ему придти к нему в дом еще побеседовать. Настоящий разговор происходил в доме крестьянина Курносова при крестьянах: Василии, Алексее и Леониде Федотовых, Кузьме Панкратове и Николае Чирьеве...».

Судя по материалам Дела №34-а, отставной поручик Толстой за месяц пребывания в своем заволжском имении успел взбаламутить всю Патровскую волость. В описании современников один из эпизодов его проповеднической деятельности выглядел так:

«Крестьянин Николай Чирьев, зажиточный хозяин, один из убежденных последователей Льва Николаевича, давал односельчанам и окрестным жителям по договорам, засвидетельствованным в волостном правлении, ссуды деньгами и хлебом под обеспечение пашней, покосом или лесом. Лев Николаевич как-то заметил Чирьеву, что такие

договоры и обеспечения нравственно не имеют никакого значения... «Ты им так поверь, — сказал Лев Николаевич. — На совесть. Ты вот поднимаешь землю, стараешься сделать ее плодородною. Так вот и совесть надо поднимать. А то совесть плода не будет давать, бурьяном порастет, совсем заглохнет. Если человек имеет совесть — он и без расписки тебе отдаст, а если не имеет, — ты хоть как его обязывай, все равно ничего не получишь». — «А как же быть с теми, у кого совести не окажется?» — «Совесть у всех людей есть. У одних большая, у иных — малая, — отвечал Лев Николаевич. — Совесть воспитывать надо...» — «Как же ее воспитывать-то?» — допытывался Чирьев. «Да вот... дѐлите вы, известным порядком, пашню и сенокосы сообща, всем миром, — отчего же вам не установить известный порядок и в кредите? Установите давать деньги и хлеб без расписок и на совесть. И когда вы согласитесь держаться этого порядка, увидите, все должны будут блюсти свою совесть».

Чирьев передал предложение Льва Николаевича своим единомышленникам, и те согласились, в виде опыта, попробовать давать деньги и хлеб «без бумаги» на совесть. Опыт удался. Только двое не возвратили долга, потому что погорели; но и они пришли на мир, поклонились и попросили обождать».*

Хотя, как я уже говорил, крестьяне среди толстовцев составляли лишь небольшую часть, в глазах Льва Николаевича именно они, а не интеллигенция были наиболее искренними и оттого более ценными его единомышленниками. К мысли этой он постоянно возвращался в своих письмах. «Я крестьянскую жизнь знаю и непрестанно за нее душой страдаю и думаю о том, как помочь этому великому горю», — написал он крестьянину Калужской губернии Алексею Ереми-

* Журнал «Русская Мысль» кн. XI, 1912. А.Дунин. Граф Л.Н.Толстой и толстовцы в Самарской губернии. По данным Самарского губернского архива.

ну. И эти слова лучше всего выражали его подлинное чувство к русскому мужику. Для обращающихся к нему крестьян находит Лев Николаевич удивительно добрые и теплые слова*. Он сохраняет терпение и уважительный тон даже тогда, когда его деревенские корреспонденты покушаются на его основные идеи и пытаются повернуть его в одних случаях к православию, а в других — к революционной борьбе.

Особенно теплы его ответы деревенским толстовцам. «Письмо ваше мне было очень приятно получить, потому что всегда радостно узнать, что люди одинаково с тобой веруют», — писал он Кириллу Вороне из Харьковской губернии**. «Любезный брат, — обращается Толстой к крестьянину Владимирской губернии Семену Рыбаку. — Не имею ни малейшего сомнения в вашей искренности. Общение с такими людьми как вы и мысль о том, что мои писания могли помочь им в их духовном росте, составляют лучшую радость моей жизни»***.

Двойственное отношение к толстовцам проходит через все последнее тридцатилетие жизни Льва Николаевича. Его радуют отдельные люди, в которых он видит действительных своих единомышленников. Такие люди, кто бы они ни были и где бы ни жили, всегда для него подарок. Особенно высоко ценит он того, кто оказался достаточно сильным, чтобы преобразить свою жизнь, построить ее на соблюдении Евангельских заповедей. «За что мне такая радость — восклицает он, узнав о своем единомышленнике, американском писателе Эрнсте Кросби (1856-1907). — Как это сделалось, что люди, так как и я, еще больше чем я,

---

* «Третьего дня был у меня гимназист харьковский Попов. Я не знал, что он жил у вас. Он неясен и, думаю, был тяжел вам. То ли дело люди из народа. Третьего дня был у меня крестьянин молодой. Удивительная ясность и сила. Нынче был Новиков, другой крестьянин. Ах, если бы позволил Бог написать для них именно то, что хочется». Л.Н.Толстой — В.Г.Черткову 2 октября 1897 г. Юбилейное собр. соч., том 88, стр. 55.

** Письмо от 26 сентября 1909 г. Том 80, стр. 112.

*** Письмо от 9 октября 1909 г. Том 80, стр. 131.

любят то самое, чем я живу, и служат тому же самому, чему служить я уже начинаю чувствовать свое бессилие»*. Он хочет, чтобы таких примеров было как можно больше, в идеале, чтобы все общество постепенно переняло его принципы жизни. Но вместе с тем у него возникает тягостное чувство, когда он наблюдает за массовыми усилиями толстовцев, объединяющихся в коммуны и колонии. В коммунах этих возникают бесконечные ссоры, дрязги, взаимное недоброжелательство. К концу своей жизни он ощутил уже явную антипатию к этим интеллигентским коммунам. В ту сферу духа, где каждый шаг был им выстрадан, где каждый вывод находил он путем глубокого личного раздумья, строители коммун и колоний вносили вульгарную суету, многословие, а главное — недоброжелательство друг к другу. При таком подходе жизнь «миром» теряла для Толстого всякий смысл. Когда в 1909 году сельский учитель Попков запросил Льва Николаевича о том, где можно сыскать земледельческие толстовские колонии, тот ответил с несвойственной ему в таких случаях резкостью, что никаких колоний не знает и вообще считает устройство колоний и общин с особым, специальным уставом «для нравственного совершенствования бесполезным и скорее вредным»**. Колеблясь между толстовством «общинным» и «индивидуальным», Толстой явно предпочел в конце концов последнее.

Но тот социальный механизм, который Лев Николаевич завел своим личным примером, своими книгами и публицистическими статьями, со временем начал работать сам по себе. Толстовцы выщеплялись из самых различных слоев общества. В бумагах В.Г.Черткова сохранился помеченный 1891 годом «Список лиц, иногда ошибочно именуемых «толстовцами», чем привыкли обозначать людей несуществую-

---

*Письмо Л.Н.Толстого к В.Г.Черткову от 21 января 1907 г. Цит. по кн.: М.В.Муратов. Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков по их переписке. М., 1934, стр. 361.

** Л.Н.Толстой — Н.Попкову 22 июля 1909 г. Полн. собр. соч., том 80, стр. 30.

щих или по крайней мере не долженствующих существовать». Явно саркастическое наименование списка отражает ту антипатию, которую в начале 90-х годов вызывали толстовцы в русском «высшем обществе». В списке значилось всего около 60 имен. Но по годам число единомышленников стремительно росло. На рубеже XX века можно говорить уже о сотнях толстовцев, а в годы, последовавшие за кончиной Льва Толстого, произошел подлинный взрыв толстовских настроений. Перед Первой мировой войной толстовцы в России исчислялись уже тысячами. Очевидно, ко времени Октябрьской революции можно было говорить о 5-6 тысячах единомышленников великого писателя и моралиста.

Много это или мало? Жизнь показала, что толстовское толкование Евангелия не привело к массовому этическому движению в стране*. Но мысли Учителя дали толчок тем, кто способен был к духовному совершенствованию. То, что толстовцев в России оказалось не так уж много, вовсе не означает, что роль их в социальной жизни была ничтожна. Наоборот, влияние толстовцев на сектантов, на крестьянские массы, на некоторые слои русской интеллигенции было значительно большим, чем можно было бы ожидать, исчисляя их состав поштучно. Но главное состояло в том, что люди этого сорта несли в себе такой мощный заряд самосознания и сопротивления, что им уготовано было в иную эпоху, уже при советской власти, стать подлинными мучениками и героями. О их гибели и победе пойдет рассказ в следующих главах. Но сперва попробуем восстановить историю того, как толстовцы до революции впервые столкнулись со своими будущими убийцами — большевиками и что из этого вышло.

---

* В.Г.Чертков писал по этому поводу писателю А.И.Эртелю 25 декабря 1895 года: «...Какое для меня может иметь значение, много ли найдется в современном обществе людей, готовых разделять мое понимание жизни? Я понимаю жизнь так, а не иначе, не потому, что я думал, что так можно успешнее влиять на людей, а просто потому, что не могу иначе понимать ее, чем так, как понимаю». Цит. по упоминавшейся кн. М.В.Муратова, стр. 188.

Глава II

БОЛЬШЕВИКИ И ТОЛСТОВЦЫ (90-е годы — 1917)

Владимир Ленин называл себя в анкетах литератором и журналистом. Но определить его публичное творчество как журналистику можно лишь с большими оговорками. У Ленина мы не найдем статей, которые в соответствии с традиционными задачами журналистики предназначались бы для объективного освещения какого-либо события или проблемы. Все без исключения статьи Ленина носили пропагандистский характер. Он либо призывает общество России свергнуть насильственным путем существующий режим, либо разоблачает и оспаривает своих идейных противников, как правило, обнаруживая в их действиях и планах намерения мелкие и грязные. Случается также, что Ленин в своих произведениях делает попытку привлечь кого-то в качестве союзника в настоящей или будущей борьбе. Эти три сюжета присутствуют во всех его публичных выступлениях даже тогда, когда он касается вопросов экономики, религии или философии. Так что считать Ленина журналистом не приходится. Он даже не публицист, но страстный агитатор и пропагандист, пользующийся печатным словом с единственной целью: ускорить задуманную им революцию. В этой связи может показаться странным, что за короткое время вождь большевиков посвятил семь статей Льву Толстому. Кроме того, мы находим суждения, ссылки и цитаты из Толстого в тридцати двух его работах.

Нынешняя официальная советская точка зрения на повышенный интерес вождя революции к писателю состоит в том, что Ленин «внутренне тяготел к этой могучей личности, стремился глубже познать Толстого, осмыслить его творчество как уникальное явление в истории русской и мировой культуры»*. Но достаточно прочитать хотя бы несколько строк из того, что сам Ленин писал о Толстом и толстовцах, чтобы понять, насколько такое академическое объяснение, сформулированное современными советскими литературоведами и политиками, чуждо реальности. В начале 1911 года, когда вся мировая пресса оплакивала смерть Толстого, Ленин писал Максиму Горькому, с которым в это время находился в особенно дружеских, доверительных отношениях: «Насчет Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры и жулики из него святого будут делать. Плеханов тоже взбесился враньем и холопством перед Толстым... Толстому ни «пассивизма», ни анархизма, ни народничества спускать нельзя»**. В этих словах — квинтэссенция отношения политика Ленина к мыслителю Толстому. Толстого-писателя, ставшего при жизни классиком, игнорировать в общественном плане большевики не могли, но философское, духовное наследие его было глубоко чуждо тем, кто готовил насильственный вооруженный переворот. В статьях о Толстом, предназначенных для печати, Ленин еще кое-как сдерживает себя, опасаясь оттолкнуть читателей излишне резкими оценками. Но в письмах к близким, говоря о великом писателе, выражается он, как правило, грубо и даже цинично. Презрение и ненависть звучат в оценках Ленина и тогда, когда он говорит о последователях философских взглядов Толстого. В письме к своей приятельнице Инессе Арманд в 1916 году Ленин комментирует брошюру французского пацифиста

* А.Шифман. Живые нити (Друзья Льва Толстого вблизи В.И.Ленина). Вопросы литературы №4, 1977.

** Письмо от 5 января 1911 г. Ленин, ПСС, 5 изд., т.48, стр.11-12.

Амбера Дро. Не желая проливать кровь, Дро отказался во время Первой мировой войны взять в руки оружие и был осужден военным трибуналом. По этому поводу Ленин писал: «Боже, какая каша в голове. Толстовец — боюсь, что безнадежный»* (выделено Лениным).

Впрочем, было бы неточно и даже неверно определять отношение Ленина и большевиков к толстовским идеям и толстовским последователям только как ненависть и презрение. За 20 лет, предшествовавших революции 1917 года, между этими двумя группами возникали самые различные ситуации.

Об игре российских социал-демократов, а позднее большевиков с толстовцами более откровенно рассказывает видный деятель большевизма и личный друг Ленина Владимир Бонч-Бруевич (1873-1955). В молодости Бонч-Бруевич лично познакомился со Львом Толстым, сотрудничал в толстовском издательстве «Посредник». Толстой писал в эти годы «Воскресенье». Для задуманных им образов революционеров нужны были сведения о подпольщиках: каковы их взгляды, о чем они спорят, что читают, как распространяют нелегальную литературу. Со своей стороны, двадцатидвухлетний социал-демократ Бонч-Бруевич имел задание кое-что разузнать о Толстом и его друзьях и по возможности перетащить их на сторону своей партии. В первый день нового 1896 года он явился на квартиру В.Г.Черткова и здесь провел с Толстым и его друзьями нечто вроде «разъяснительной беседы». Тогда же он написал своей будущей жене Величкиной: «...Я всеми силами старался поколебать их мнение относительно революционеров... Конечно, я уверен, что не поколебал их мнение совершенно, но все-таки след от разговора, конечно, останется»**.

---

* Письмо от 16 декабря 1916 года, том 49, стр. 339.

** В.Д.Бонч-Бруевич. Избранные сочинения. Том II, стр. 473. Письмо к В.М.Величкиной 2 января 1896 года.

Попытки «переубедить» Толстого, приспособить его для нужд большевистской пропаганды продолжались и позднее. Находясь в Швейцарии в качестве политического эмигранта, Бонч-Бруевич обращается к Толстому с письмами, призывая его от имени своих коллег выступать с обличительными статьями по поводу голода в России. Он обещает также, что соберет среди политических эмигрантов деньги для голодающих крестьян. Это также должно было, очевидно, расположить Толстого, занятого в 1898 году заботами о помощи голодающим. Жена Ленина Надежда Крупская, опять-таки в надежде «приручить» великого писателя, собирается в 1902 году посылать ему из Швейцарии большевистскую «Искру» и для этой цели выясняет у общих знакомых адрес Толстого. В 1907 все тот же Бонч-Бруевич, желая вызвать интерес Толстого к программе и деятельности большевиков, отправил ему брошюру «О бойкоте третьей Думы», которая включала статью Ленина «Против бойкота. Из заметок с-д публициста». Было сделано еще несколько попыток как-то расположить писателя к идеям и акциям большевиков, но неудачно. Толстой на это попросту не обратил никакого внимания. Похоже, что он даже не читал ленинской статьи о себе, написанной в 1908 году*.

Кроме попыток вступить в дружбу с самим Толстым, большевики ради своих тактических целей поддерживали отношения с его единомышленниками, в частности, с проживавшим в те же годы в Швейцарии другом Толстого П.И.Бирюковым. Дружелюбные отношения между Лениным и Бирюковым в те нелегкие для большевиков времена простирались так далеко, что когда в Женеве была создана библиотека Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), Бирюков, последователь и биограф Льва Толстого, передал в эту библиотеку часть своих книг. Позднее, в 1905 году, после отъезда большевиков из Швейцарии,

* «Толстой как зеркало русской революции».

толстовец Бирюков принял на хранение не только их библиотеку, но и архив ЦК РСДРП*.

Однако при всем том личном расположении некоторых большевиков к отдельным толстовцам, между ними всегда существовал неразрешимый глубокий конфликт. И те и другие, видя жестокости царской бюрократии, не желали молчать, и те и другие считали, что положение трудового человека в России надо изменить, улучшить, но едва только речь заходила о том, как, каким образом это сделать, выяснялось коренное различие методов. Если даже оставить в стороне вопросы тактики, можно видеть, что между толстовцами и большевиками существовало глубочайшее расхождение в *философском* подходе к российской действительности. Революционеры понимали окружающее социальное зло как нечто находящееся ВО ВНЕ: вне их личности, вне их партии, вне трудового народа. Толстовцы, наоборот, видели трагизм сложившейся ситуации в недостатках всех членов общества, в нравственном несовершенстве каждого человека, будь то царский генерал или беднейший мужик.

Представление о социальном зле как о чем-то чужеродном, злонамеренно привнесенном извне, традиционно присуще дохристианскому (языческому) мироощущению. В сознании, лишенном христианской ориентации, как и в сознании людей дохристианской эры, мир оказывается населенным многочисленными «злыми силами», которые вопреки и независимо от человека правят природой и обществом. В одной из своих книг** я уже имел возможность обратить внимание

---

* А.Шифман. «Живые нити». Друзья Льва Толстого вблизи В.И.Ленина. Вопросы литературы №4, 1977, стр. 172. Интересно, что впоследствии, прийдя к власти, большевики не любили вспоминать этот факт. Бонч-Бруевич в своих воспоминаниях о судьбе библиотеки РСДРП (1932 г.) «забыл» даже упомянуть имя толстовца Павла Бирюкова (1860-1931).

** Марк Поповский. Жизнь и житие профессора Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. Париж, ИМКА-Пресс, 1979.

читателей на странный и печальный феномен: после тысячи лет христианства российский массовый человек сохранил почти в чистом виде языческую веру в то, что зло социальной несправедливости есть нечто вторгающееся в его чистую и безгрешную жизнь извне, и в зле этом всегда виноват кто-то другой. Позиция эта особенно привлекательна для слоев зависимых, приниженных. Представление о жестоком необоримом зле, приходящем снаружи, удовлетворительно объясняет человеку социальных низов его неудачи и питает мстительное чувство. Революционеры великолепно использовали эту извечную российскую ориентацию для своих политических целей, натравливая низы на жупелы «царизма», «капиталистов и помещиков»*.

Бесплодному и жестокому принципу поиска зла во вне Лев Толстой противопоставил поиск зла внутри, в себе. Его мысль о необходимости самоусовершенствования по сути была призывом к личной ответственности каждого за все, что происходит в обществе. Толстой ничего не придумал нового, он лишь напомнил русскому обществу о евангельском видении мира. Он как бы перевел Евангелие на язык современности, доступный и понятный каждому россиянину конца XIX века, дополнил Благую весть примерами из окружающего реального мира послереформенной России. Никакое насилие, — возгласил он, — не изменит сущности человека; никакие будущие экономические переделки и успехи не принесут человеку счастья. Большевистским лозунгам о «светлом будущем», которое надо добывать с оружием в руках, уничтожая злокозненных капиталистов и помещиков, Толстой противопоставил слова тверского мужика Василия Сютаева: «Всё в тебе и всё сейчас». Авторитет Толстого-писателя, человека праведной жизни, придал толстовской

* Вся дальнейшая история коммунистического государства пронизана все тем же постоянным поиском врагов во вне: «Антанта», «Керзон», «кулаки и подкулачники», «вредители», «враги народа», «американские империалисты», «сионисты» и т.д. и т.п.

проповеди личной вины и личной ответственности широкую известность и признание в русском обществе. Толстовское учение стало символом веры как для многих горожан-интеллигентов, так и для крестьян. Многие из тех, кого привлекло толстовское миропонимание, вовсе не спешили объявлять себя толстовцами или еще как-то определить свою принадлежность к той или иной партии или группе. Они просто предпочитали строить свою жизнь, свое поведение на христианской основе. В этой связи самарский журналист-толстовец Илья Ярков (родился в 1892 году) в неопубликованной рукописи «Моя жизнь» вспоминает о своих дореволюционных спорах с единомышленниками. Они много толковали о том, насколько совместима с христианскими взглядами служба в войсках в качестве, например, санитара. При этом, поясняет Ярков, «эти христианские взгляды были для нас только псевдонимом толстовства, то есть собственно толстовских взглядов»*. Таким образом, Толстой оживил, освежил для своих современников общеизвестные евангельские идеи, которые как бы привяли от постоянного повторения их под церковными сводами. Толстовство лишало революционеров той роли, которой они более всего домогались: роли единственных спасителей угнетенных. Толстовцы показывали, что русское общество при желании может преобразить себя без посторонних благодетелей, собственными силами. У них и примеры для этого были убедительные: многочисленные группы крестьян-сектантов в разных концах страны, которые уже организовывали свою жизнь на новых началах. Между сектантами и толстовцами возникло дружеское взаимопонимание. Хотя государственная перепись 1897 года учла только 2 миллиона сектантов на 120 миллионов населения России, известный знаток этого вопроса А.С.Пругавин полагал, что вместе со старообрядцами сектанты в России составляют не

* И.Ярков. Моя жизнь (Автобиография). Часть III. Машинопись. Авторский экз.

менее 20 миллионов человек. А большевик Бонч-Бруевич говорил даже о 26 миллионах*. Надо ли пояснять, что для революционеров всех сортов толстовская проповедь, увеличение числа сторонников и единомышленников Толстого стали опасностью номер один.

Отношение к сектантам, а по существу к 20 миллионам русских крестьян, стало тем перекрестком, на котором впервые столкнулись и многажды затем сталкивались социал-демократы (позднее большевики) и толстовцы. Впервые это столкновение произошло еще в середине 90-х годов. В это время несколько тысяч крестьян сектантов, именующих себя духоборами или духоборцами, жители Тифлисской губернии и еще двух кавказских областей, отвергли обряды и таинства православной церкви, стали отказываться от службы в армии. Вождь духоборов П.В.Веригин, высланный в Архангельскую губернию, сумел там познакомиться с неизданными религиозно-публицистическими произведениями Льва Толстого. Оказалось, что идеи Толстого чрезвычайно близки духоборам. Веригин стал писать своим единоверцам письма, в которых по существу рекомендовал им толстовские идеи. Под влиянием этих писем крестьяне-сектанты решили отказаться от службы в армии. В июне 1895 года они торжественно сожгли оружие. Началось жестокое преследование духоборов. Около четырех тысяч сектантов были выселены из своих деревень и загнаны в горные аулы, где были обречены на безработицу и голод.

За духоборов вступились толстовцы. В.Г.Чертков в английской газете опубликовал подробности о травле крестьян. Затем группа толстовцев (Чертков, Бирюков и Трегубов) написали воззвание к русской общественности, призывая помочь сектантам, которых лишили средств к жизни.

---

* См. статью Л.Борецкого в «С-Петербургских Ведомостях» за 24 и 25 января 1902 года (Л.Борецкий — псевдоним Пругавина): «Два миллиона или же двадцать миллионов». См. также: Бонч-Бруевич. Избранные сочинения в трех томах. М., 1959. Том I, стр. 175.

Толстой не только дополнил воззвание своим послесловием, но и передал в помощь голодающим тысячу рублей, а также обещал впредь отдавать голодающим крестьянам все гонорары, которые получал в театрах за исполнение его пьес.

В результате этой мирной акции Чертков был изгнан за границу, а Бирюков и Трегубов отправлены во внутреннюю ссылку. «История эта получила в столице глубокий резонанс. К радости моей и удивлению всё петербургское общество в разных слоях негодует на эту ссылку», — писала Софья Андреевна Толстая своей сестре Т.А.Кузьминской. Проводы и прощание Чертковых и Бирюкова с друзьями были очень трогательны и торжественны. «В день приходило до сорока человек самых разных сословий и положений: и высшая аристократия и мужики, писатели, дворники, ученые, музыканты, курсистки, военные...»*

В следующем году началось переселение духоборов в Канаду. Эта эмиграция, которая спасла их от полного уничтожения, стала возможной только благодаря вмешательству и помощи Льва Толстого и толстовцев. Судьбой этих несчастных интересовались в те годы и социал-демократы. В мае 1896 года Г.В.Плеханов говорил В.Д.Бонч-Бруевичу, что вопрос о крестьянах «становится ребром». «Пока мы не сломим самодержавия, пока не завоюем первые политические свободы, эти современные крестьянские протестанты, несомненно, будут иметь известное значение в нашей борьбе»**. В плехановском ПОКА и была вся суть отношения социал-демократов к крестьянству. Пока, в тот момент, недовольные крестьяне-сектанты были им нужны. Их нельзя было уступить толстовцам. Бонч-Бруевич был послан своей партией сопровождать очередную партию духоборов, едущих в Канаду. Считалось, что этот близкий к Ленину партиец-профессионал едет исследовать быт и экономику духоборов. Но в действительности поездка носила про-

---

* С.А.Толстая — Т.А.Кузьминской 12 февраля 1897 года. Архив Толстовского музея в Москве.

** Бонч-Бруевич. Избранные сочинения. Том I, стр. 325.

пагандный характер и прежде всего была акцией антитолстовской. Впоследствии Бонч-Бруевич откровенно писал:

«Мы, старые, опытные политики, прекрасно понимали, что при царизме, когда самодержавие еще не было низвергнуто, надо было «вместе бить и врозь итти». Вот поскольку сектантство помогало нам бить царизм... поскольку они внедряли в народ отрицательное отношение к самодержавному строю, постольку мы готовы были их поддерживать... А в наших нелегальных комитетах мы заводили с ними знакомство, дабы приобщить их насколько возможно к общественному движению, всегда старались расколоть их внутри по классовому признаку»*.

Обсуждая крестьянскую проблему, большевики в своей среде никогда не скрывали, что «мелкий собственник» русский мужик для них союзник лишь временный, и в дальнейшем они вовсе не собираются защищать крестьянские интересы. Точно так же не собирались они отказаться от важнейшего пункта своей программы, в котором объявили себя непримиримыми атеистами. И при всем том попытки заигрывать с сектантами не прекращались никогда.

Задачу использовать крестьянско-сектантское недовольство для своих политических целей социал-демократы окончательно сформулировали на Втором съезде партии в 1903 году. На этом съезде Ленин прочитал составленный Бонч-Бруевичем доклад «Раскол и сектантство в России». «В настоящее время, — говорилось в нем, — мы должны употребить все силы, имеющиеся в нашем распоряжении, на этот предмет, чтобы расшевелить социал-демократической пропагандой крестьянские массы. Один из удобных путей к этой массе представляют из себя сектанты, организованные уже в общины, вследствие чего и воздействие на них гораздо легче, чем на другие части крестьянского населения...»** По этому докладу была принята

* Там же, стр. 377.

** Бонч-Бруевич В.Д. «Раскол и сектантство в России». Доклад II съезду РСДРП. Избр. соч., т.I, стр.187-188.

съездом специальная резолюция, призывающая усилить пропаганду среди сектантов.

Циничные планы большевиков наталкивались в России прежде всего на противодействие толстовцев. Толстовцы, особенно такие близкие к Льву Толстому, как Чертков, Бирюков, Трегубов, считали своим долгом предупреждать крестьян-сектантов об опасности слева. В сентябре 1902 года находившиеся в эмиграции Чертков и Трегубов разослали до пятидесяти тысяч писем крестьянам, приглашая их ответить на такие, например, вопросы: «Хорошо или дурно бунтовать против притеснителей, грабить и убивать правителей?» «Что должен и чего не должен делать христианин в наше время для улучшения своей веры и общей жизни?»*

Тесную связь между крестьянами-сектантами и толстовцами большевики справедливо считали для себя крайне опасной. Многие их действия носили активно антитолстовский характер. Аргументируя необходимость такой борьбы, Бонч-Бруевич говорил на Втором съезде РСДРП: «Мы должны выбить толстовцев из их позиций, а для этого есть единственный способ: дать сектантам такую небольшую газетку, которая лучше и всесторонней отвечала бы их назревшей потребности политического саморазвития»**. Газета социал-демократов (большевиков) для сектантов-крестьян начала выходить в январе 1904 года, и главной задачей ее было оторвать крестьян от толстовских идей, от толстовского влияния***.

Для того, чтобы «выбить толстовцев из их позиций», друзьям Ленина годились любые средства. Так, в поисках материалов для своей антитолстовской газеты, Бонч-Бруевич, нисколько не смущаясь, обращается из Женевы к Льву

---

* Там же. От редакции «Свободного слова» к русским сектантам. Том I, стр. 11.

** Бонч-Бруевич. Избранные сочинения. Том I, стр. 187-188.

*** Газета «Рассвет» выходила в течение 1904 года. Всего вышло 9 номеров. Редактор: Бонч-Бруевич.

Толстому с просьбой прислать документы о преследовании сектантов в России. «Все это мы тщательно переплетем, — писал он, — а когда будет в России свобода, тогда вместе со всей библиотекой, перевезем в одну из столиц, где и организуем широкую библиотеку — русский Британский музей»*.

В то время как Бонч рисовал Толстому «светлое будущее», когда каждый гражданин свободной России сможет прочитать о страданиях крестьян-сектантов, Ленин выступал с резкой критикой Толстого-мыслителя и его последователей. «Тогда только добьется русский народ освобождения, когда поймет, что не у Толстого надо ему учиться добиваться лучшей жизни, а... у пролетариата»**. Особенную злобу Ленина вызывали толстовцы. Он находит для них самые уничижительные, самые оскорбительные эпитеты. Для него толстовец — «...истасканный истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который публично бия себя в грудь, говорит: "Я скверный, я гадкий, я занимаюсь нравственным усовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками"». И еще: «Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, и потому совсем мизерны заграничные и русские толстовцы...»

Так оно и шло все первое десятилетие XX века: большевики поочередно пытались обольстить религиозное, евангельски настроенное крестьянство, в котором становилось с годами все больше толстовцев, и одновременно яростно набрасывались на тех же крестьян, когда не находили в них стремления бунтовать, жечь имения и самочинно делить помещичью землю. Еще более яростно атаковали они толстовцев-интеллигентов за их непротивленчество, за попытки сблизиться с крестьянами, отвратить их от кровавых

---

* Бонч-Бруевич — Льву Толстому 10 августа 1904 г. Отдел рукописей Толстовского музея в Москве.

** В.И.Ленин. ПСС. 5 изд. Том 20, стр. 70-71. «Толстой и пролетарская борьба».

эксцессов. Но в 1914 году произошли события, после которых большевики-прагматики снова увидели для себя в толстовцах некий прок.

С первых дней мировой войны толстовцы, как и многие другие сектанты, начали отказываться от службы в царской армии. Их судили в военных трибуналах, приговаривали к дисциплинарным батальонам, тюрьме, а кое-кого и к каторге (И.Ярков получил 8 лет каторжных работ). Для последователей Льва Толстого эти действия не были акцией политической. Неприятие любого насилия лежало в основе их мировоззрения. Именно в этом пункте они наиболее решительно расходились с революционерами любого толка, именно эта сторона толстовства более всего раздражала и народовольцев, и анархистов, и эсеров, и большевиков (социал-демократов). Еще в 1897 году, за два десятка лет до большевистской революции, знаменитый анархист Петр Кропоткин, встретив в Англии эмигрировавшего толстовца В.Черткова, написал ему:

«Если бы вам (толстовцам — *М.П.*) удалось соединить большое количество людей — большое непременно, которые во имя общечеловеческой поруки... подняли голос против в с я к о г о насилия сверху — экономического, политического и нравственного, — тогда насилие снизу, как самоотверженный протест против насилия сверху, все менее и менее становилось бы необходимым. Пока этого нет, насилие снизу останется фактором прогресса нравственного...»*

Как личность, известная своим мужеством и благородством поведения, Петр Кропоткин был приятен и В.Г.Черткову, и Льву Толстому, с которым он также обменялся письмами. Однако этот революционер ни толстовцев, ни самого Толстого в необходимости насилия в общественной жизни не убедил. Толстой писал по этому поводу: «Его аргументы в пользу насилия мне представляются не выра-

---

* Кропоткин — Черткову 10 июня 1897 г. Цит. по кн.: М.В.Муратов. Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков. Изд. муз.Толстого, М., 1934.

жением убеждения, но только верности тому знамени, под которым он честно прослужил свою жизнь»*.

Не приняв призывов к насилию со стороны анархиста Кропоткина, толстовцы не приняли и войны, в которую вступила летом 1914 года Россия. К 1916 году протест против кровопролития поддерживали уже не отдельные лица, но большая организованная группа последователей и друзей Льва Толстого. Группа эта активно распространяла по Москве антивоенные листовки. В отличие от листовок большевиков, призывы непротивленцев-толстовцев были подписаны подлинными именами. Подписавшие эти листки были схвачены и преданы военному суду.

Большевики, как известно, считали поражение России в войне благом, так как, по их расчетам, такое поражение приблизило бы вожделенную пролетарскую революцию. В этой связи выступления толстовцев и особенно начатое против них судебное преследование большевиков порадовало. Тем более, что «дело толстовцев» приобрело довольно шумный характер: на скамье подсудимых оказались люди известные и уважаемые. В защиту толстовцев выступили самые крупные адвокаты, о толстовцах много писали газеты. Большевики надеялись, что суд приговорит толстовцев к большим срокам заключения или к ссылке в Сибирь и это приведет к новой волне отказов от военной службы. Вопреки этим надеждам все непротивленцы были по суду оправданы. Так или иначе, на почве неприятия войны отношение большевистского руководства к толстовцам на пороге революции снова улучшилось. Но не надолго.

В большом архиве В.Г.Черткова (65000 листов), который был в 1961 году передан в отдел рукописей Государственной библиотеки имени Ленина в Москве, имеется много материалов, показывающих, что толстовцы уже летом 1917 года поняли, что большевики рвутся к власти и власть

---

* Толстой — Черткову 19 июня 1897 года. Цит. по книге Муратова.

их будет для народа нелегкой. В своих издательствах «Единение» и «Братство народов» они опубликовали листовку, написанную крестьянином-толстовцем Тульской губернии Михаилом Новиковым. Листовка называлась «Две свободы — ложная и истинная». В своем обращении Новиков противопоставил идеал евангельский идеалу партийному, социалистическому, и пришел к выводу, что: «...Во все времена и у всех народов при всяких государственных порядках тот, кто имел в себе больше внутренней свободы, неразрывно связанной с вытекающими из нее стремлениями к трезвости, трудолюбию, бережливости — всегда лучше всех других устраивал и свою внешнюю материальную жизнь... Но люди будто забыли об этом и... стараются примкнуть к партиям — и в последнее время даже из среды сектантов...»*

Летом 1917 года, вскоре после неудавшейся попытки большевиков захватить власть, Чертков выступил с серией докладов, опять-таки разъясняя позицию толстовцев по отношению ко всякому насилию, как государственному, так и партийному. Наконец, 28 октября, на третий день после захвата власти большевиками, когда по всей стране начались массовые убийства и всякого рода насилия, группа толстовцев, в которую входили В.Чертков, И.Горбунов-Посадов и другие, начала прямо на улицах Москвы распространять обращение «Прекратите братоубийство! Товарищам, братьям». Появляться в эти дни на улицах с такими листовками было смертельно опасно. И тем не менее толстовцы, и в том числе женщины, не остановились перед выполнением своего долга. Раздача Обращения продолжалась три дня. «Остановите взаимное братоубийство, — значилось в Обращении. — Все вы, борющиеся между собой, к какой бы стороне вы ни принадлежали, вы, люди всех партий и классов, — вспомните, что все вы братья, сыны единого человечества».

* Архив В.Г.Черткова в библиотеке им. Ленина в Москве. Фонд 435.

Из черновых карандашных пометок в блокноте жены Владимира Черткова Анны Константиновны Чертковой (блокнот хранится в архиве Черткова в библиотеке им. Ленина) видно, что листовки толстовцев подчас встречали сочувствие и даже симпатию участников вооруженного восстания. В одном случае с содержанием Обращения полностью согласился солдат, в другом — рабочий. Но, как записала Черткова, попадались ей красногвардейцы, кричавшие: «Ты смотри, курсистка, — правильно говори, а если будешь за буржуев, против нас, так мы тебе всю маску сорвем, штыком в тебя пырнем». Анну Черткову поразило, насколько смутно представляли себе цели революции все эти солдаты и рабочие с винтовками. Об одной такой встрече она записала: «30-го утром понесли последнюю пачку. Дала рабочему, он взял, стал читать и говорит: "А все-таки не бросим оружие до тех пор, пока в с е м е р з а в ц ы (подчеркнуто Чертковой — *М.П.*) не будут на нашей стороне!" — И смех и грех! Понимай как знаешь!»

Итог двадцатилетнего диалога большевиков и толстовцев перед революцией 1917 года сводится очевидно к тому, что партии, планировавшей вооруженный захват власти, не удалось поколебать христианскую позицию толстовского братства и вовлечь последователей Льва Толстого в свои планы. Но, с другой стороны, и толстовцам не удалось уберечь русское крестьянство от веры в большевистские политические лозунги о земле и мире. Прав оказался П.А.Кропоткин, который в письме к В.Г.Черткову писал: «Человечество всегда двигалось только а к т у а л ь н ы м и (подчеркнуто П.Кропоткиным — *М.П.*) силами, которые вы и пытаетесь создать. Удастся ли вам сплотить эти силы — не знаю; думаю, что нет»*. Толстовские идеи любви к ближнему, личной ответственности и необходимости самоусовершенствования не оказались в первом десятилетии

* Кропоткин — Черткову 10 июня 1897 г. Цитирую по книге Муратова «Л.Н.Толстой и В.Г.Чертков». М., 1934.

XX века достаточно актуальными, чтобы завоевать, увлечь русское общество. Большевистская фразеология оказалась более привлекательной, более актуальной.

Толстой как будто предвидел эту ситуацию. В одном из последних своих произведений «Христово учение» он задался вопросом: почему человечество не пошло за Христом. Он считает, что стать подлинными христианами людям всегда мешали соблазны. «Соблазны есть ловушка, в которую заманивается человек подобием добра», — писал великий моралист. Одним из таких соблазнов, по его мнению, является государство. «Он (соблазн государства — *М. П.*) состоит в том, что люди оправдываются в совершении ими грехов благом многих людей, народа, человечества». При любой власти руководители страны маскируют государственное насилие подобием добра. Но коммунисты сделали этот соблазн особенно массовым и всеобъемлющим. Вслед за кровопролитием, которое последует при уничтожении капиталистов и помещиков, коммунисты обещают народам «светлое будущее», всеобщий коммунистический рай. Коммунистическое государство есть попытка оправдать государственную идею вообще, оно является апологией насилия и принуждения. В глазах Толстого большевистское государство должно выглядеть значительно более отталкивающим, чем всякая другая власть, которая меньше камуфлирует свои подлинные неблаговидные цели. К сожалению, эту важную мысль поняли лишь очень немногие ученики Толстого. На пороге октябрьского переворота рядовые толстовцы туманно представляли себе, что означает для них и для страны в целом власть большевиков. Большевистская фразеология, включавшая лозунг о мире, представлялась им наиболее разумной и даже нравственной. Вот как описывал свое тогдашнее состояние самарский толстовец Илья Ярков:

«...Апрель-сентябрь 1917 года — поистине удивительное время. Тогда в России... все «колобродило»... ферментировалась какая-то качественно совсем иная форма жизни. Народ искал путей, по которым должно было пойти даль-

нейшее развитие и углубление революции. И главнейшая проблема, которая тогда волновала все без исключения умы,.. была проблема войны и мира: «Продолжать ли вести войну или же найти средство активно выключиться из нее?..» На чьей стороне был я? — Скажу коротко: на стороне тех, кто — тогда — не хотели продолжать войну. На стороне тех, кто главнейшим программным пунктом своей борьбы объявляли скорейшее прекращение войны: «Долой войну!» Самый лозунг «братания» на фронте был мне как нельзя более по душе. Как назывались люди, которые горой стояли за прекращение войны? Назывались они — «большевики». И за избирательный список этих самых «большевиков» (в Самаре он был под номером 1-м) мы тогда с Марьей (женой) и отдали дважды свои голоса. Ни к какой другой партии у меня не лежало сердце»*.

Переворот 25 декабря 1917 года толстовец Ярков также воспринял с одобрением. «...К нашему основному настроению и тогда, и возможно теперь — можно с полным основанием приложить слова моего тезки Ильи Эренбурга: «Я не оплакивал ни имений, ни заводов, ни акций: я был беден и богатство сызмала презирал». Мы с писателем, стало быть, к приходу Октября находились в одинаковой имущественной позиции: нам нечего было терять»**.

Откуда было знать в 1917 году мелкому самарскому служащему, а позднее журналисту Яркову, что в следующие полвека он поплатится за свои толстовские взгляды сначала трехлетней (1929-1931) административной ссылкой, затем смертным приговором военного трибунала (1942) и, наконец, пребыванием в сумасшедшем доме (1951-1954), специально построенном НКВД для тех, чьи взгляды не совпадали с официальными.

---

* И.П.Ярков (Куйбышев). «Моя жизнь». Автобиография. Машинопись. Ок. 1000 стр. Авторский экземпляр.

** Там же. Цит. из книги И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь». М., 1961, стр. 338.

Глава III

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»

Большевики и толстовцы во время Гражданской войны (1918-1922)

Толстовцы, с которыми мне приходилось беседовать об истории их маленького народа, вспоминали начало 20-х годов как время для них сравнительно благополучное. А один из опрошенных мною стариков даже назвал эпоху 1918-22 годов «золотым веком толстовства». И действительно, придя к власти, большевики в первые годы не слишком беспокоились о толстовцах. Может быть оттого, что были заняты борьбой с более опасным врагом, а возможно, полагая (вполне справедливо), что толстовцы теперь от них никуда не уйдут и с этим старинным другом-врагом рассчитаться они всегда успеют. Так или иначе, толстовцы-горожане (большинство из них жило в Москве) смогли развернуть в эти годы довольно активную деятельность. Еще при Временном правительстве 2 июня 1917 года они организовали в Москве Общество Истинной Свободы в память Л.Н.Толстого. Общество располагало большой библиотекой религиозного и философского содержания, вегетарианской столовой, которая вместе с тем служила клубом — местом постоянных лекций, бесед и публичных диспутов. При обществе же функционировало основанное еще при жизни Л.Н.Толстого издательство «Посредник», которое в первые годы после революции выпускало произведения Толстого, запрещенные царской цензурой. Во главе Общества стояли В.Чертков, В.Булгаков и П.Бирюков. В разные годы Об-

щество объединяло от 750 до тысячи членов, в основном горожан-интеллигентов. Такие же общества начала в те годы возникать и в провинции: остались свидетельства о создании Обществ Истинной Свободы в двух деревнях Смоленской области, а также в селах Заволжья и Подмосковья*.

Особенно оживилась деятельность Общества в 1920 году в связи с десятой годовщиной смерти Л.Толстого. Двадцатого ноября на вечер в Большом зале Консерватории собралось более 2000 слушателей. Доклад делал писатель Андрей Белый и один из руководителей Общества Валентин Булгаков. Оба доклада носили полемический характер, но особенно остро прозвучала речь Булгакова. Он не только изложил основные религиозно-философские идеи Толстого, но и в высшей степени критически отозвался о так называемых достижениях большевистской революции. Эти достижения бывший секретарь Льва Толстого определил как внешние, так как революция не устранила ни войн, ни казней, ни социального неравенства. Речь Булгакова сопровождалась горячими аплодисментами одной части зала и свистками и шумом со стороны другой половины слушателей. Довести речь до конца Булгакову не дали. Он лишь успел сквозь шум выкрикнуть, что в российскую действительность, в которой и прежде никогда не было привычки к свободному слову, нынешние властители внесли еще большую нетерпимость.

Толстовские торжества 1920 года показали, что внешние перемены в положении двух издавно конфликтующих сторон ничего в их взаимоотношениях не изменили. Хотя большевики пришли к власти, толстовцы Советской России оста-

---

* В толстовском журнале «Истинная Свобода» №1 за апрель 1920 года была помещена следующая заметка: «Деревня Драгуны, Смоленской губернии, Демидовского з-да, Касплянской волости. В декабре 1919 г. здесь возникло Общество Истинной Свободы в память Л.Н.Толстого. Учредители прислали в Московское ОИС письмо, в котором между прочим говорится: "Мы хотим пойти по тому пути правды, истины, добра, итти по которому так громко призывал всех людей Лев Николаевич"».

лись при тех же взглядах и принципах, которые они публично высказывали и до октября 1917 года. Для распространения своих взглядов служили им не только различные торжества и диспуты, но и их собственные газеты.

По разрозненным номерам, сохраняемым в Ленинской библиотеке в Москве, можно проследить, как развивалась толстовская печать в первые годы революции. Первую толстовскую газету «Единение» Чертков начал выпускать, очевидно, еще до октября 1917 года. Как можно понять, существовала некоторое время также газета «Голос Толстого». Затем обе газеты слились в издание «Голос Толстого и Единение» с подзаголовком: «Повременное издание, посвященное обновлению жизни при свете разума и любви». Позднее власти закрыли ее и появилась газета «Обновление жизни», опять-таки выпускаемая неутомимым В.Г.Чертковым. В 1920 и 1921 годах В.Ф.Булгаков выпускал также журнал «Истинная свобода». Очевидно, в провинции были и другие толстовские издания, но существовали они недолго. Мне пришлось держать в руках лишь толстовскую газету «Братство», выходившую в Киеве в 1920. Дольше других, до 1922 года, просуществовала газета «Teristo», выходившая на языке эсперанто. Толстой в свое время приветствовал появление эсперанто как средства распространения его религиозно-философских идей. Газета эсперантистов в 1922 г. уже не была чисто толстовской, но на ее страницах толстовцы нашли свое последнее прибежище. Они писали на темы педагогики, сельского хозяйства, развивая, однако, при этом свои мысли о жизни по совести. К концу 1922 года закрылась и эта газета. В следующие 7-8 лет единственным средством публичного письменного общения между друзьями и последователями Льва Толстого оставался маленький Бюллетень, печатаемый раз в месяц на стеклографе тиражом в 200 экземпляров. Дурно напечатанные на отвратительной бумаге листки Бюллетеня мне никак не удавалось скопировать на микрофильм. Но при всем полиграфическом убожестве издание это вызывает глубокое уважение своим содержанием: от идей Льва Толстого толстовцы не отказа-

лись до последней минуты, до тех пор, пока представляли собой какое-то организационное единство.

Толстовцы пользовались коротким «золотым веком» начала 20-х годов для того, чтобы снова и снова повторять в своих газетах, журналах и бюллетенях, что к свободе и равенству каждого отдельного индивидуума может привести только нравственное усовершенствование в свете христианства. Они продолжали публично утверждать, что любая власть, независимо от социальной и экономической системы, господствующей в стране, исключает подлинное христианство, ибо христианство предполагает любовь между людьми, а государство ради своих интересов требует от гражданина насилий через участие в военной службе. Со ссылкой на Герцена, которого они цитировали особенно охотно, толстовцы писали, что спасая самого себя, человек делает больше для спасения человечества, нежели в том случае, когда он пытается спасти мир*.

Свою миссию толстовцы видели прежде всего в том, чтобы защитить российского гражданина от социалистических экспериментов, в самой сути которых таится презрение к человеку, к личности**. Они не принимали деления общества на классы и не соглашались с идеей большевиков о том, что личность имеет смысл и значение, только если она принадлежит к большинству, к классу угнетаемых. Секретарь Л.Толстого Н.Н.Гусев в статье «За кого бы был Лев Толстой» писал в разгар Гражданской войны, что Лев Николаевич, буде он жил в эпоху братоубийственной войны, не стоял бы ни на стороне красных, ни на стороне белых,

---

* «Истинная свобода», №1, 1920.

** Академик физиолог Иван Петрович Павлов, не будучи толстовцем, точно сформулировал эту же мысль в терминах своей науки: «Если то, что делают большевики с Россией, есть эксперимент, то для таких опытов я пожалел бы дать даже лягушку». (Лекция перед студентами Военно-Медицинской Академии в 1918 г. Цит. по автобиографии проф. Бабкина. Чикаго, 1951.)

но обличал бы насилие обеих сторон*. Надо ли говорить, что большевистское руководство с раздражением реагировало на подобные высказывания и постоянно закрывало толстовские издания. Впрочем, в пределах столицы в те неустойчивые для них времена власти предпочитали действовать увещевающим словом.

Начиная с декабря 1919 года по август 1920 между наркомом просвещения старым большевиком А.В.Луначарским и толстовцами, а также деятелями различных культов состоялось несколько диспутов. Дебаты происходили в большом зале Политехнического музея и собирали тысячные аудитории. В первый вечер нарком Луначарский сделал доклад, в котором объяснил точку зрения своей партии на религию. В качестве вывода он заявил, что благодетелем человечества является не Христос, а большевики как авангард рабочего класса. Спустя два месяца, 5 марта 1920 года, состоялась дискуссия, в которой кроме Луначарского принимали участие поэт-символист Вячеслав Иванов, еврейский рабби и православный священник. От толстовцев выступил В.Булгаков. Среди прочего Булгаков обратил внимание аудитории на то, что Луначарский, в силу малой своей подготовленности, не различает между собой таких понятий, как вера, религия и церковь. Для большевика Бог таков, каким его представляет православная церковь. Между тем, все растущее количество сект показывает, что образ Божий в сознании людей чрезвычайно разнообразен. Соответственно различны формы веры, различен и тот смысл, который люди, верящие по-разному, вкладывают в свою веру. Призывая народ к безверию, следовало бы прежде всего понимать, от чего именно отвращаешь людей.

В дальнейших диспутах с большевиками Валентин Булгаков и Владимир Чертков занимали наиболее непримиримую позицию. Во время встречи 7 августа 1920 года В.Чертков прямо заявил, что большевистские вожди в Рос-

---

* «Голос Толстого и Единение», №12, 1919. Николай Гусев. «За кого бы был Л.Толстой».

сии надругались над самым высоким чувством народа, над его верой в Бога; отсюда проистекает недоверие народа к большевизму. Несмотря на то, что Луначарский считался наиболее интеллектуальной личностью среди большевиков, и ему ассистировали такие специалисты по проблеме атеизма, как Емельян Ярославский (будущий глава советского антирелигиозного ведомства) и профессор Рейснер, публика отмечала, что позиция толстовцев аргументирована более солидно. Толстовские ораторы показали себя людьми более образованными и просто более умными, нежели их оппоненты и даже их союзники.

Высшего накала дебаты достигли на двух последних вечерах в Политехническом музее 18 и 26 августа 1920 года. В докладе, который он озаглавил «Лев Толстой и Карл Маркс», Валентин Булгаков заявил, что всякий социализм, который обещает рай на земле, есть лишенная всякого смысла фантазия. Человеческие инстинкты не меняются от того, что в стране возникают новые формы власти. В социалистическом государстве, как и во всяком другом, основанном на насилии, не исчезнут ни корысть, ни собственничество, ни ненависть. Революция, которая сосредоточена только на внешних, экономических аспектах жизни, будет вливать новое вино в старые мехи. Обновить человека изнутри может только революция умственная, революция духа*.

Луначарский продолжал, однако, утверждать, что инстинкты и чувства зависят от социального положения человека. Освобожденные от капиталистической экплуатации, граждане новой России обновятся умственно и духовно и построят новое общество.

Но пока в столичных залах антирелигиозные ораторы и ораторы религиозные оттачивали друг против друга свои доводы, в российской глуши вопрос о толстовцах решался совсем по-другому. Надо заметить, что Октябрьская рево-

---

* В.Ф.Булгаков. «Лев Толстой и Карл Маркс» в кн. «Лев Толстой и современность». Стр. 55-66.

люция и Гражданская война сильно изредили ряды толстовцев-интеллигентов. Многие из них погибли от голода на фронтах, а также в результате всякого рода репрессий, часть эмигрировала. Некоторые вступили в коммунистическую партию, но основная масса, опасаясь арестов и преследований, стала скрывать свои религиозные симпатии. Зато в начале 20-х годов все больше становилось в России толстовцев из крестьян. Призыв Толстого жить на земле, жить простой трудовой жизнью крестьян вовсе не затруднял. То была их естественная жизнь. Возможность организовывать коммуны, возможность, которую открыла для них в первые годы советская власть, также отвечала их надеждам и полностью соответствовала их религиозным и общественным устремлениям. У толстовцев-крестьян после революции в октябре возникло ощущение, что для них настали светлые времена. Впрочем, уверенность эту сохраняли они не слишком долго.

...Хотя судьба крестьян-толстовцев в СССР относится к строго охраняемым государственным тайнам и официальные материалы о них находятся за семью замками, мне удалось добыть документы, которые с абсолютной достоверностью сообщают, что именно происходило с этой группой верующих в первые советские годы. В 1977 году уроженец деревни Драгуны Смоленской губернии Иван Яковлевич Драгуновский, живущий ныне в Киргизии, прислал мне в Москву большой машинописный том: жизнеописание своего отца Якова Дементьевича Драгуновского (1886-1938). Составленная Драгуновским-сыном биография особенно интересна многочисленными документами, которые составитель включил в нее, использовав семейный архив. Это прежде всего письма крестьян 20-х и 30-х годов к своим родственникам и единомышленникам, а также автобиографические и публицистические записки самого Якова Дементьевича. Записки эти поражают абсолютной искренностью и страстностью автора, его желанием донести до потомства духовный мир своей недюжинной натуры. Именно Яков Драгуновский организовал в декабре 1919 года в сво-

ей деревне Общество Истинной Свободы. Причины, побудившие его приобщиться к толстовству, он описывает следующим образом.

«1917 год. Революция. Радостное возбуждение, от которого я плачу... Я дома (Драгуновский после ранения на фронте не пожелал служить в царской армии и попал в дисциплинарный батальон — *М.П.*). Меня радует отобрание земли у попов и помещиков. Принимаю участие в выборах в Учредительное собрание и земство... Но по-прежнему нет мира: то белые, то красные грабят мирных крестьян... Я все больше и сильнее чувствую необходимость активного участия в строительстве новой жизни... Меня избирают в волисполком, заместителем председателя, назначают в финотдел и в военкомат*. На всех этих работах я чувствую сильное противоречие в моей душе... Вижу, что, служа у власти, я участвую в насилии. Недоволен собой, что живу и делаю не так, как думаю. Дома, со своими семейными, я груб и иногда жесток... Я не в меру требователен к другим и всегда хотел, чтобы мои дети и жена исполняли то, что я хочу... Я стал думать, что я должен примкнуть к какой-нибудь мирной, разумной организации... Услышал, что в 30-ти верстах от нашей деревни есть толстовцы, братья Пыриковы, с которыми я вскоре познакомился и почувствовал духовное родство. У них я приобрел брошюры Толстого и навсегда перестал есть мясо...

С большой радостью я оставил свою кипучую деятельность в волисполкоме и сменил ее на радостную, родственную моей душе деятельность, на чтение книг Толстого, на беседы с друзьями и уже смело отказался от звания «военный». Стал часто ездить в Смоленск и оттуда привозить пудами книги и к осени 1919 года у меня уже была большая библиотека».

---

* Волисполком — волостной исполнительный комитет, высший орган исполнительной власти в данном районе (волости); финотдел — отдел волисполкома, ведающий финансами; военкомат — военный комиссариат.

Крестьяне, члены организованного Яковом Драгуновским Общества Истинной Свободы, в соответствии с учением Льва Толстого, стали отказываться от военной службы. Советские власти ответили на это террором. Среди первых арестованных был двоюродный брат Якова Драгуновского Семен. Сохранилось последнее письмо этого молодого толстовца, выброшенное им из окна камеры смертников:

«1919 года, 23 декабря. Дорогие родители, дорогой мой отец Абрам Пименович и дорогая моя мать. Сообщаю я вам, что мы находимся вместе с Григорием (сосед — *М.П.*) и другими с деревень: Дехтерёво и Моркотово. Всех нас восемь человек отказавшихся и всех нас смоленский военный трибунал приговорил к расстрелу. Дали нам еще пожить 24 часа, может быть освободят, а может быть и расстреляют. Прошу я вас, дорогие родители, обо мне не заботьтесь и не печальтесь, я сам избрал этот путь Христов. Когда Христа вели на казнь, то Он говорил: «Отче! Прости им, ибо они не знают, что делают!» Так и я, пусть со мной делают, что хотят, а я прощаю им и буду терпеть во имя Христа. И еще уповаю я на то, что сказал Христос: «Ни одного волоса не упадет без воли Бога». И еще Он сказал: «Не бойтесь тех, кто убивает ваши тела, а бойтесь тех, кто убивает душу». Ибо тело прах и оно само по себе должно погибнуть и, как оно из земли взято, так в землю и пойдет, но душа, как она дана от Бога, так и пойдет к Богу, она зря не погибнет без воли Бога...

Писавши эти строки, вспомнил всех вас, мои родные сестрицы, братцы, племянники, огорчился и заплакал и долго не мог продолжать писать. Всех вас мне стало жаль покидать... Скоро нас не будет, так как 24 часа проходят. Если сегодня вечером нас не расстреляют, то может быть Бог даст и живы окажемся, а если расстреляют, то все мы просим: попросите тюремное начальство, чтобы вам разрешили взять наши тела и похоронить их в наших родных деревнях. Дорогие мои родители во плоти! Смерть мне не страшна. Простите мне, если я кого-либо и чем-либо обидел и огорчил, я же всем прощаю.

Дорогой мой отец! Не будь здесь около тюрьмы, не расстраивай себя. Если мы случайно останемся живы, то вы просите наших братьев по духу Пыриковых, чтобы они походатайствовали об нас в «Объединенный совет религиозных общин и групп».

Двоих дезертиров увели на расстрел, а мы покуда остались, хотя наши 24 часа уже кончились. Нам сказали: ”Молитесь Богу, о вас пришла телеграмма из Москвы”».

Телеграмма действительно пришла, но была, по свидетельству Ивана Драгуновского, специально задержана, и вечером 24 декабря 1919 года восемь молодых толстовцев были расстреляны. При расстреле пуля не попала в сердце Семена Драгуновского, его полуживого столкнули в яму и засыпали землей. Его отец, бывший неподалеку от места расстрела, прибежал к могиле, которую заканчивали засыпать и слышал из-под земли стоны своего сына.

Кто же позаботился о восьми смоленских мужиках в Москве? Кто прислал злополучную телеграмму и почему ее задержали? Чтобы ответить на этот вопрос, разберемся в довольно сложных отношениях, которые вскоре после Октября возникли у Ленина и его правительства со всеми религиозными внецерковными группами по поводу службы в Красной армии. Историю эту обстоятельно и почти правдиво изложил В.Д.Бонч-Бруевич, ставший после революции управляющим делами Совнаркома. В его рукописи, хранящейся ныне в рукописном отделе Государственной библиотеки имени Ленина в Москве, читаем:

«Группа каторжников-сектантов, приговоренных царским правительством к расстрелу и «пожалованных» вечными каторжными работами за отказ от исполнения воинских обязанностей на фронте империалистической войны, обратилась к Владимиру Ильичу с просьбой издать такой закон, чтобы тот, кто не берет оружия в руки по своим убеждениям и не возьмет его ни при каких обстоятельствах, что он доказал своей жизнью, был бы освобожден

от воинской повинности или совершенно или с заменой какими-либо тяжелыми работами...»*

Надо полагать, что атеисту Ленину, готовящемуся разжечь в стране гражданскую войну, такая просьба верующих (дело было в начале 1918 года) показалась по меньшей мере неуместной. Но в ту пору большевики еще чувствовали себя не слишком прочно и предпочли не отталкивать от себя потенциальных союзников. Народный комиссар юстиции Курский получил распоряжение готовить материалы для будущего декрета. К ноябрю 1918 года проект декрета об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям был завершен. Специальная комиссия в составе наркома Д.И.Курского, члена коллегии НКЮ П.А.Красикова, управляющего делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевича и толстовца В.Г.Черткова, председателя общественной организации, именуемой Объединенный совет религиозных общин и групп, приступили к выработке текста. Роль Черткова в этом предприятии была весьма весома. Ибо именно Объединенный совет, в соответствии с новым декретом, должен был получить право «возбуждать особые ходатайства перед Президиумом Всероссийского Исполнительного Комитета Советов о полном освобождении от воинской службы безо всякой замены ее другой гражданской повинностью, если может быть специально доказана недопустимость такой замены с точки зрения не только религиозных убеждений вообще, но и сектантской литературы, а равно и личной жизни соответствующего лица»**.

Декрет, собственно, лишь закреплял существовавшую в течение 1918 года практику, когда новая власть освобождала от военной службы тех верующих, чью искренность в этом вопросе письменно потверждал Владимир Григорье-

---

* Отдел рукописей Библиотеки им. Ленина. Фонд 369, дело 16, лист 28 и далее. В.Д.Бонч-Бруевич. Рукопись: «Отношение к религии в СССР».

** Пункт третий декрета Совета народных комиссаров от 4 января 1919 года.

вич Чертков. Общее число толстовцев, освобожденных по справкам Объединенного совета за десять месяцев 1918 года, составило около 300-400 человек. Имя друга Льва Толстого звучало в те месяцы столь магически, что ни советские власти, ни власти «белые» владельцев удостоверений, подписанных В.Г.Чертковым, служить в армии не принуждали. Однако время шло, и чем более большевики укреплялись в военном и политическом отношении, тем менее интересовались мнением Общества и тем менее склонны были исполнять свои собственные законы. Декрет от 4 января 1919 года был одним из последних документов, отражавших какую-то зависимость советского правительства от инакомыслящих (в данном случае от религиозно мыслящих). Сам Ленин, подписывая этот документ, на заседании Совнаркома дал понять своему окружению, что серьезно к этой бумаге относиться не следует. По воспоминаниям Бонч-Бруевича, он сказал в тот день:

«Я убежден, что этот декрет недолговечен. Существование отказывающихся брать в руки оружие для защиты нашей страны по принципиальным соображениям является реакцией на насильническое создание враждебной народным интересам казарменной солдатчины, которая всегда была готова у самодержавия против внутренних врагов. Время пройдет, люди успокоятся, так как никаких насилий они от нашей Красной армии никогда не увидят... «принципы» непротивления начнут тускнеть, и носителей их, столь фанатично настроенных, будет все меньше и меньше, а пока примем этот декрет, чтобы успокоить и удовлетворить тех, кто и без того натерпелся уже ужасных мук и преследований от царского правительства»*.

В этом высказывании ясно виден макиавеллизм ленинского государственного мышления, циничная методика, когда новый закон принимается лишь для разрешения сегод-

---

* Отдел рукописей Библиотеки им. Ленина. Фонд 369, дело 16, лист 29 и далее. Рукопись В.Д.Бонч-Бруевича.

няшнего сиюминутного затруднения. Такой принцип освобождает власть от исполнения собственных законов и деморализует население, которое также перестает видеть в законе императивную силу*. Если декрет 4 января 1919 года считали недолговечным в Кремле, то в провинции ему и вовсе не придали какого бы то ни было значения. Местное начальство в Смоленске и Тамбове, в Вологде и Курске в вопросах военной службы руководилось прежде всего неписаным законом о том, что КТО НЕ С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС. Толстовцев и сектантов, не желающих по принципиальным соображениям брать в руки оружие и служить в Красной армии, на местах попросту расстреливали. Когда же по ходатайству Черткова Совнарком посылал телеграммы, предписывающие освобождать арестованных толстовцев и сектантов, то местные начальники отвечали, что телеграмма запоздала и «дезертиры» уже расстреляны. Так случилось с Семеном Драгуновским и его единомышленниками. Так оно и шло по всей советской России в течение всей Гражданской войны. Архив крестьян Драгуновских позволяет во всех деталях проследить эту полную внутреннюю несвязность между законами центральной власти с юридической практикой на местах.

Через несколько дней после расстрела Семена его двоюродный брат Яков записал в дневнике: «Читаю Толстого, переписываюсь с Московским вегетарианским обществом, с некоторыми новыми друзьями. Расстрел восьми человек... ужасает мою душу, но не отпугивает от открывшейся истины. Арест братьев Пыриковых прибавляет жуткости и решимости. Я пишу первое письмо В.Г.Черткову об ужасах и моих намерениях быть стойким и радоваться, что придется пострадать за истину...»**

---

* По тому же ленинскому принципу Сталин опубликовал Конституцию 1936 года, гарантирующую гражданам свободу слова, печати, собраний; Хрущев давал законам обратную силу, а Брежнев ввел в Уголовный кодекс политические статьи 70 и 190.

** Цитирую по рукописи И.Драгуновского (сына): «Биография Я.Д.Драгуновского». 1974. Машинопись. 437 стр.

Не прошло и года после расстрела брата, как Якову Драгуновскому и его единомышленникам действительно пришлось мобилизовать все свое мужество. 31 октября 1920 года отряд ЧК, нагрянув в деревню Драгуны, арестовал 12 толстовцев по обвинению в «дезертирстве». Яков Дементьевич, в соответствии с декретом 4 января 1919 года, предъявил справку Совета религиозных общин и групп о том, что «по своим взглядам он является последователем свободного религиозного миросозерцания в духе Л.Н.Толстого». Но справка эта никого не заинтересовала. После обыска, в результате которого чекисты разорили деревенскую библиотеку, толстовцев погнали в уездный город Демидов, где находились уездные (районные) власти, так называемое политбюро*. Вместе с Яковом Дементьевичем арестовали трех его братьев, Петра, Тимофея и Василия Драгуновских, а также односельчан Егора Иванова, Сергея Полякова, Ивана Федосова, Елисея Кожурина, Игната Полякова и братьев Максима и Никанора Мищенко. В Демидовском политбюро крестьян начали допрашивать и при этом нещадно избивали. Били сами руководители политбюро, били кулаками, сапогами, стволами винтовок. Чего же и каким образом добивались райкомовцы начала 20-х годов от крестьян-толстовцев?

Подробные записи, сделанные Яковом Драгуновским, позволяют во всех деталях восстановить эту вакханалию. «Работники политбюро ругали нас... такими страшно нехорошими, нецензурными словами, что просто коробило от этой грязной ругани... в «мать», в «Христа», в «Бога», во все доброе и светлое...» Потом начались допросы. Вот некоторые выдержки из этого диалога шестидесятилетней давности:

— Ты когда заразился Толстым?

---

* В первые годы советской власти политбюро совмещало функции партийной и государственной власти на местах и соответствовало нынешнему райкому партии.

— Я давно хочу быть человеком, не желающим и не делающим никому зла.

— Давно? А при Николае, небось, служил?

— ...Тогда я служил не за совесть, а за страх... Наоборот, когда приходилось видеть немцев, я испытывал к ним жалость и пробуждающуюся любовь. И не только убивать, а мне хотелось обнять их как братьев...

— Теперь война не такая, как была при царе Николае: тогда мы защищали капиталистов, а теперь мы должны защищать свои права на землю, на фабрики и на управление страной. Поэтому и отказываться от завоеваний этих прав преступно. Признаешь себя виновным?

— Нет, не признаю. Потому что завоевывать права, стало быть, убивать людей, а всякое убийство есть самое величайшее зло в мире. И кто бы мне ни приказал — царь Николай, Керенский или Ленин, я все равно не могу и не буду этого делать.

— Стало быть, ты всякую власть считаешь насилием? И в советской власти не замечаешь никаких хороших стремлений?

— Хороших стремлений я замечаю очень много, но не таким путем все это достигается. Для осуществления таких великих идей насилие не годится...

— Ты агитировал против советской власти?

— Нет!

— Как же нет, когда ты отказался от военной службы, а после тебя и твои братья... Ты организовал библиотеку в своем доме, ведь это тоже агитация; потому что книги ты давал и другим читать! Так не признаешь себя виновным в агитации против советской власти?

— Нет! Не признаю!

— Как не признаешь, когда признался, что имеешь библиотеку, а это уже доказывает агитацию...»

После бесконечных угроз, матерной брани и обещаний отправить на расстрел в Губчека, крестьян начали избивать. Били всю ночь. Особенно свирепствовал некто Летаев, которого Драгуновский называет «заведующим политбюро»

и который в действительности был, говоря современным языком, секретарем райкома партии. Вот как Яков Драгуновский описал это:

«— Ты почему не подписываешь протокол? — закричал Летаев, свирепо сверкнув глазами. По его лицу было видно, что он мастер своего дела. Только глазами может испугать человека, а если исказит рот, в котором в верхней челюсти спереди нет двух зубов, тогда он становится совсем неприятен и даже страшен.

— Я не согласен с обвинением в агитации, — ответил я... — От моего твердого категорического ответа в нем проснулся дикий зверь. Он удар за ударом стал бить меня со всего размаха сапогом, попадая между ног. Мне стало невыносимо больно... Я чувствую, что вот еще удар и — смерть. Чувствуя сильную боль и боязнь близкой смерти, у меня из глаз потекли слезы... Я стал умолять его:

— Брат, образумься! Брат, прости!

Но ни мои мольбы, ни кровь, ни слезы не тронули его, он продолжал бить до тех пор, пока не устал, и только тогда остановился.

— Теперь подпишешь протокол? — крикнул Летаев.

— Нет, не подпишу...»

Еще более страшные минуты пережил Яков Драгуновский, когда в соседней комнате начали избивать его брата.

«Долго молчал брат под ударами, но не выдержал и закричал: «Братцы! Пристрелите меня лучше!..» Но и после этого его продолжали бить, бить... Но вот все затихло; проходит несколько томительных мертвых минут. Опять представляю себе, что брата уже убили, вот здесь рядом, в эту минуту...»

Так поочередно избивали всех арестованных толстовцев, добиваясь от них признания в антисоветской агитации. Наконец, в полночь, притомившись от своей деятельности, партийцы приказали милиционерам бросить избитых крестьян в подвал. Драгуновский пишет:

«Когда мы выходили, то один из работников политбюро Шуруев освещал лампой коридор и всматривался в наши

лица. ”Что, сердиты? — спрашивал он тех, кто не смотрел в его сторону. — А еще толстовцами считаетесь! Толстовцы ведь не должны сердиться».

То, что произошло с двенадцатью толстовцами из деревни Драгуны, происходило в то время повсеместно. В декабре 1920 года Якову Драгуновскому удалось передать из тюремной камеры Смоленской тюрьмы письмо к супругам Чертковым. «Милые старички! Владимир Григорьевич и Анна Константиновна! — писал он. — Не могу и описать вам, какой кошмар совершается здесь на наших глазах... Вечером 7 декабря ведут пять человек из трибунала, только что приговоренных к смертной казни за какое-то дезертирство. Их было сначала шесть человек приговоренных, один из них не мог перенести 18 часов ожидания смерти, а как только вышел из суда, сказал конвоирам, что он хочет бежать, и просил стреляющих целить ему в голову. Его сейчас же и убили. Пять человек сидели двое суток на втором этаже тюрьмы... Девятого числа вечером их не стало... 11-го числа трибунал приговорил к расстрелу еще одиннадцать человек. Один за бандитизм, а десять человек наших друзей, отказавшихся от оружия и от войны... Одному из наших друзей удалось им подать булку хлеба, и в этот момент они успели написать ему только фамилии и указать, что их судили как дезертиров, а религиозные убеждения не брали во внимание. Вечером 12-го мы услышали от тюремных сторожей, что десять приговоренных написали заявление на имя Ленина с просьбой заменить им военную службу работой, полезною для людей... Очень мы обрадовались такому известию. Дай Бог всего хорошего».

Едва Владимир Григорьевич Чертков получил в своей московской квартире письмо Якова Драгуновского, как почта доставила следующее послание:

«Милые друзья! Только что успел кончить писать последние слова в первом письме, как увидел через окно на тюремном дворе отряд вооруженных людей. Часть отряда вошла на второй этаж тюрьмы с веревками. Мы по-

лагали, что поведут в трибунал связанных опасных преступников. Но каков был наш ужас, когда смотревшие в окно увидали, что повели связанных одиннадцать человек, приговоренных к расстрелу. Что делать? Куда деваться от такого ужаса?.. Вот их имена: Митрофан Филимонов, Иван Терехов, Василий Терехов, Елисей Терехов, Василий Павловский, Василий Петров, Варфоломей Федоров, Иван Ветитнев, Глеб Ветитнев, Дмитрий Володченков. Дело их было в нарсуде, были пришедши из Москвы заключения от Совета (Объединенный совет религиозных общин и групп — *М.П.*) об искренности их убеждений, а Елисей даже был уже присужден нарсудом к какому-то сроку, а их все равно осудили как дезертиров и расстреляли... Писать больше не могу, если останусь в живых, напишу подробно»*.

Яков Драгуновский выжил. Суд в Смоленске приговорил его и его друзей, отказавшихся от оружия, к пяти годам концентрационных лагерей (так они в 1920-м году и назывались). Значительно менее долговечным оказался декрет Совнаркома от 4 января 1919 года. Уже 14 декабря 1920 года Ленин подписал «поправку» к этому декрету. Новый документ отстранял Объединенный совет и В.Г.Черткова от роли арбитра между верующими и властью. Позднее советские авторы-антирелигиозники пытались обелить этот вероломный акт правительства Ленина, придумав версию о «злоупотреблениях» Черткова. Называли несуразные цифры освобожденных от службы в армии якобы по ходатайству Объединенного совета. Современный советский автор-антирелигиозник даже утверждает, что через Объединенный совет религиозных общин и групп за время Гражданской войны прошло сорок тысяч отказов от военной службы. Эти передержки необходимы советским пропагандистам только для того, чтобы доказать: Объединенный совет, возглавляемый толстовцем Чертковым, «злобно и бессо-

---

* Цитирую по рукописи Ивана Драгуновского (сына) «Биография Якова Дементьевича Драгуновского». 1974. Машинопись. 437 стр.

вестно обманул доверие, оказанное ему как экспертной организации, тем самым он сделал все, чтобы быть отстраненным от функций, возложенных на него декретом»*.

Между тем, все было значительно проще. В Гражданскую войну, как справедливо заметил историк-большевик М.Н.Покровский, «в массе своей крестьянская молодежь вовсе не хотела сражаться»**. По неполным официальным данным, в первый же год Гражданской войны из Красной армии бежало 917250 человек. С февраля 1919 года по июль 1920 через трибунал прошло еще 3 миллиона дезертиров***. Только жестокие меры, включающие массовые расстрелы крестьян, остановили полный развал Красной армии.

О религиозных крестьянах, которым взять в руки оружие запрещала их вера и которых тем не менее судили как дезертиров и расстреливали, невзирая на ленинский декрет, позднейшая советская пропаганда создала целую легенду. Оказывается, дезертирство из Красной армии во время Гражданской войны было инспирировано... толстовцами. «Дезертирские и толстовские настроения имели много общих корней, — писал в 1928 году «специалист по сектантам» Федор Путинцев. — И нам пора на основе опыта Гражданской войны сделать вывод о толстовской секте как о наиболее вредной секте. Нельзя смотреть на толстовцев как на юродствующих чудаков, никчемных, озлобленных деклассированных дворян и интеллигентов (?). Кроме дворян и старой интеллигенции, толстовские группы имеют в своем составе таких лиц, которые близки к рабочему классу... Удельный вес толстовских групп нельзя измерять только количеством членов групп. Влияние толстовцев

---

* А.И.Клибанов. Религиозное сектантство и современность. АН СССР. М., 1969, стр. 203.

** М.Н.Покровский. Внешняя политика России в XX веке. 1926, стр. 85.

*** Данные из книги Оликова «Дезертирство в Красной армии и борьба с ним». Цит. по ст. Ф.Путинцева «О толстовствующих». Журнал «Антирелигиозник» №7 (июль), 1928.

и Толстого неизмеримо больше, нежели можно было бы предположить по количественному росту и составу толстовщины. Толстовцы во время войны сумели объединить разрозненные секты на одной общей платформе — платформе отказа от обязательной военной службы... Для толстовцев... все сводится к уничтожению власти. Поскольку в СССР власть советская, постольку платформа толстовцев является антисоветской»*. Так вместо реальных толстовцев — деревенских мужиков, готовых на смерть, только бы не убивать других, советская пропаганда создала фальшивый образ толстовца-подрывника, классового врага, врага советской власти.

Созданный в 20-х годах фальшивый образ продолжает гулять по страницам советских исторических трудов и поныне. Цель этой версии — доказать, что никаких крестьян-толстовцев не было. Не было и крестьянской религиозной оппозиции братоубийственной Гражданской войне. Старые книги вроде цитированных выше произведений Покровского и Оликова давно списаны, их можно найти разве что в «спецхране» Библиотеки им. Ленина. От новых поколений советских людей тщательно скрывается кровавая эпопея Гражданской войны, с ее массовым дезертирством и массовыми расстрелами правых и виноватых. Скрывается тщательно и то обстоятельство, что декрет 4 января 1919 года был лишь временной хитрой уступкой, которую большевики сделали не желающей воевать русской деревне в трудный для себя момент. И то, что уступку эту у народа отняли тотчас же, как большевики почувствовали себя в военном и политическом отношении «на коне».

Кончина декрета была разыграна безо всякого упоминания в печати, тихо, незаметно. «Поправка» 14 декабря 1920 года потребовала от всякого, кто отказывался служить в Красной армии, чтобы он доказал свое право в с у д е. Давать свидетельские показания по этому поводу должны были

---

* Ф.Путинцев. О толстовствующих. «Антирелигиозник» №7, 1928.

только *местные* люди. Такой порядок делал местных администраторов полными хозяевами положения. «Своих» толстовцев, зависящих от райсовета, легко было прижать и нетрудно было заставить давать любые удобные для *местного* суда показания. Декрет 4 января 1919 года был таким образом торпедирован. На жалобы В.Г.Черткова и Объединенного совета по поводу местных беззаконий никто не обращал больше никакого внимания. Еще три года спустя, окончательно укрепившись, власти и вовсе лишили свой собственный декрет какой бы то ни было силы. Циркуляр Народного комиссариата юстиции от 5 ноября 1923 года вычеркнул толстовцев из списка тех религиозных групп, которые вообще имеют право по своим убеждениям претендовать на освобождение от военной службы. Ленинское предсказание сбылось: выпущенный «по случаю» декрет от 4 января 1919 года мирно скончался. Еще раньше, в 1922 году, власти объявили распущенным Объединенный совет религиозных общин и групп. Толстовская молодежь, по религиозным причинам не желавшая брать в руки оружие, оказалась полностью беззащитной.

Глава IV

«ЗОЛОТОЙ ВЕК»

(Продолжение)

Толстовцы-крестьяне в 20-х годах

Но сколько бы ни арестовывали и ни расстреливали большевики русских мужиков, в конце концов только от крестьян могли они ожидать продуктов, необходимых для прокормления армии, хлеба для городов и для международной торговли. Революция и Гражданская война, бесконечные реквизиции и поборы разорили деревню. В начале 20-х годов в Советской России голодали уже целые губернии. Призрак всеобщего голода нависал над страной. Надо было как-то выбираться из голодного тупика. Новая власть начала с организации с о в е т с к и х х о з я й с т в. В опустевших и разоренных помещичьих имениях приказано было создавать имения государственные, совхозы. Но как тогда, так и спустя 30, 40, 50 лет, этот тип хозяйства оказался нерентабельным. В официальном документе Народного комиссариата земледелия РСФСР за 1921 год читаем: «Советские хозяйства во многих случаях развивались за истекшие тяжелые годы нашей жизни недостаточно хорошо»*. Причина, по которой, несмотря на полное их соответ-

* Обращение Наркомзема РСФСР «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей» 5 октября 1921 года.

ствие идеалам марксизма-ленинизма, совхозы работали в 1921 году так же плохо — как и в 1981-м одна: как тогда, так и теперь крестьяне не считают работу на чужой земле своей работой и относятся к «государственному предприятию» спустя рукава.

В конце четвертого года своего правления большевики увидели, что экономика страны, и в том числе экономика сельского хозяйства, находится на краю полного развала. Пришлось прибегнуть к мерам героическим. Была объявлена Новая Экономическая Политика (НЭП). В сельском хозяйстве НЭП выразился, в частности, в том, что власти обратились за помощью к наиболее религиозной части крестьян, к сектантам. Сектанты, все эти малеванцы, молокане, духоборы, баптисты, а также старообрядцы, — были известны с давних пор как очень хорошие хозяева, знатоки земледелия. Сектанты еще до революции охотно сбивались в коммуны, общины, согласия, демонстрируя при этом трудолюбие, трезвость и подлинную заботу о земле и урожае. Более миллиона таких отличных хлеборобов рассеяно было по стране. Особенно много их было в южных районах. Несколько десятков тысяч других (те, что покинули Россию при царе в ответ на религиозные гонения), также были настроены вернуться домой из Аргентины, Уругвая, Канады и Соединенных Штатов Америки. Все эти верующие мужички были в тот момент особенно необходимы атеисту Ленину, с их помощью он надеялся поправить хозяйственные дела своего принципиально безбожного режима.

Документы показывают, насколько серьезно Председатель Совета народных комиссаров относился к своему проекту. «Правда ли, что Вы взяли д у х о б о р о в (разрядка Ленина — *М.П.*) в совхоз и очень довольны ими? Как обстоит дело с перевозкой духоборов из а) Канады, б) с Кавказа в Россию?» — писал он 2 августа 1921 года управляющему делами Совнаркома Бонч-Бруевичу*. В обычной

* Ленинский сборник XXXVI. М., 1959, стр. 300.

своей заговорщицкой манере глава первого советского правительства приписал в том же документе: «Все эти вопросы носят **частный** характер и поэтому прошу **никому** на мое письмо не ссылаться». В том же месяце, узнав, что канадские духоборы обратились к правительству РСФСР с просьбой вернуть их обратно на родину, Ленин наложил резолюцию: «30 августа 1921. Спешно. Очень спешно. Помуправделами СТО (Совет труда и обороны — *М.П.*). Я вполне «за». Мой взгляд: тотчас разрешить и ответить архилюбезно...»*

Пятого октября 1921 года «в качестве одной из мер проводимой новой экономической политики» (НЭП) Народный комиссариат земледелия РСФСР создал специальную комиссию «по заселению совхозов, свободных земель и бывших имений сектантами и старообрядцами». Комиссия, сокращенно именовавшая себя Оргкомитет, развернула пропаганду по всей стране. Чтобы заставить сектантов поверить в добрые намерения правительства, было выпущено обращение, в котором авторы прибегли даже к Евангельским текстам.

«Сектанты и старообрядцы России, принадлежащие большей частью к крестьянскому населению, имеют за собой нередко многовековой опыт общинной жизни. Мы знаем, что в России имеется много сект, приверженцы которых, согласно их учению, издавна стремятся к общинной, коммунистической жизни. Обыкновенно кладут они в основу этого своего стремления слова, взятые из «Деяний апостолов»: «И никто ничего из имения своего не называл своим, все у них было общее».

...Все правительства, все власти, все законы во всем мире, во все времена всегда шли против такой жизни... И вот теперь настало время, когда все сектанты... могут себя спокойно обнаружить и твердо знать, что за их учение никто никогда никого не будет преследовать. Рабоче-крестьян-

* Ленинский сборник XXV. М., 1945, стр. 274.

ская Советская власть обнародовала действительную свободу совести и совершенно не вмешивается в дела религиозного мировоззрения, предоставляя каждому полную свободу веры и неверия»*.

Мы имеем много свидетельств о том, что огромное число крестьян-сектантов поверили этому «архилюбезному» документу. В частности, зажегся новой идеей Яков Драгуновский. Продержав его вместе с другими толстовцами год в тюрьме и в концентрационном лагере, власти в конце концов, по настоянию В.Г.Черткова, выпустили его на свободу. И этот смоленский крестьянин, только что перенесший столько страданий и унижений за свое толстовство, снова готов был довериться заверениям властей. Желая навести справки о возможности создать коммуну, Драгуновский выехал в Москву, в Комиссию по переселению в свободные земли и совхозы сектантов и старообрядцев. Там встретил он многих своих единомышленников, съехавшихся со всей России. Все они были настроены радостно. Трудовые люди, люди земли, они действительно уверовали, что для них наступает «золотой век». Из рук в руки крестьяне-толстовцы передавали обращение Наркомзема, в котором им обещали, если они объединятся в коммуны и поедут в совхозы, всевозможные льготы. Обращение заканчивалось призывом выполнить свой «долг перед родиной», ответить на заботу партии «примерным трудолюбием, постановкой образцовых хозяйств, поднятием уровня сельскохозяйственного производства на должную большую высоту»**. Эти ныне затертые, никого не способные воодушевить лозунги 60 лет назад воспринимались крестьянами с энтузиазмом. Толстовцы и

---

* Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), фонд 2077, дело 11, лист 2-2 (оборотн.). «РСФСР. Наркомзем. Главсовколхоз. Комиссия по заселению пустых земель и бывших имений сектантами и старообрядцами.». Москва 5 октября 1921 года. «К СЕКТАНТАМ И СТАРООБРЯДЦАМ, ЖИВУЩИМ В РОССИИ И ЗА ГРАНИЦЕЙ».

** Там же.

другие внецерковные религиозные группы тут же, не откладывая, принялись организовываться в коммуны. Когда в марте 1921 в Москве с разрешения властей собрался Всероссийский съезд сектантских сельскохозяйственных и производственных артелей*, то на него съехались делегаты из тридцати четырех губерний. Они представляли несколько сот коммун. Год спустя число сектантских коммун удвоилось. Не менее ста коммун было организовано толстовцами.

Сохранилось несколько писем, в которых толстовцы начала 20-х годов пытались взглянуть на свои новые коммуны с точки зрения Учителя. Они задумываются над тем, что бы сказал Лев Толстой в данной ситуации. Наиболее содержательно в этом отношении письмо толстовца-горожанина Виктора Короткевича, человека близкого к В.Г. Черткову (одно время он даже вел официальную переписку от имени Общества Истинной Свободы), к крестьянину Якову Драгуновскому в декабре 1921 года:

«...Жить общиной, колонией конечно нужно, если это складывается и хочется. Лично у меня лежит душа к такой жизни, но у нее есть свои дурные как и хорошие стороны. Лев Николаевич (Толстой — *М.П.*) писал: «Я думаю, что члены общины, чтобы сохранить подобие святости, должны совершать много новых грехов». Затем он говорит, что соединяться в общину — грех, ошибка. «Нельзя очиститься одному или одним».

Когда общины распадались (имеются в виду общины 80-х — 90-х годов — *М.П.*), Лев Николаевич писал: «Как ни хороши поселения, отдельные, они хороши пока нужны, — всякие формы, как формы, непременно переходные, как волны. Если общины распались, то только потому, что люди, жившие в них, выросли из своей оболочки и разорвали ее. И этому можно только радоваться». И дальше: «...Общины не обманывали себя, что они свободны от собственности, если они владеют сообща, а видели, что они

* Председателем съезда был избран толстовец В.Г.Чертков.

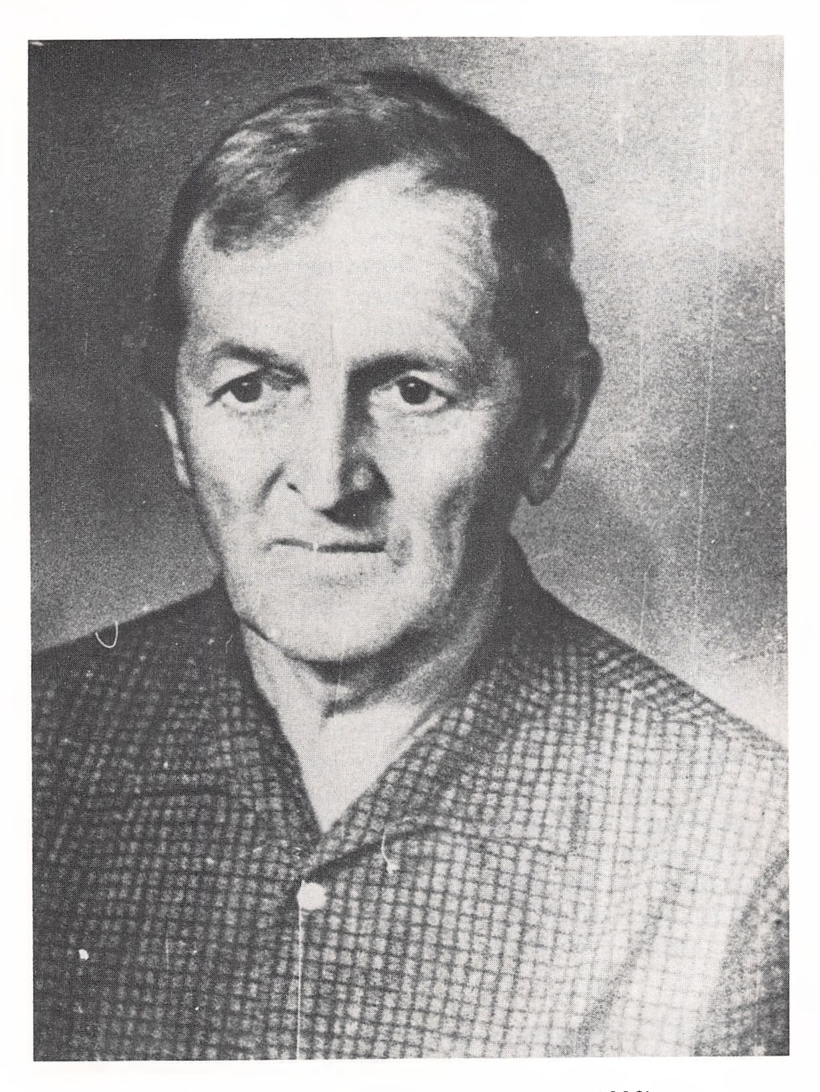
удерживали собственность вместе так же, как и прежде удерживали порознь. Окружавшие тащили, а им надо было держать. И держать нельзя было, потому что у живших вместе людей та степень, дальше которой человек не может дальше уступить, была не одна и та же. От того разлад. Оказалось, что жить надо в той перетасовке черного и белого и тех теней, в которых мы все находимся, а не выделяться одним более или менее светлым... Жить можно только перемешанными со всякими людьми. Жить же святыми вместе нельзя. Они все помрут. Жить нельзя одним святым. И для Божьего дела невыгодно...»

Приведя эту цитату из Толстого, Виктор Короткевич повторил своему деревенскому другу, что «если есть желание соединиться в колонию, то это хорошо», хотя со временем, надо полагать, любая колония распадется. По мнению толстовца-горожанина, Толстой не стал бы крестьян отговаривать от организации коммун и даже одобрил бы, «предупредив о слабых местах»*.

В эту-то пору великих крестьянских надежд, неподалеку от Москвы, примерно там, где теперь находится станция метро Беляево, возникла коммуна «Жизнь и Труд». В отличие от десятков других толстовских сельскохозяйственных объединений тех лет, от которых и след простыл, история этой подмосковной коммуны была подробно описана ее организатором и многолетним руководителем Борисом Мазуриным. Рукопись дает богатый материал о хозяйственных и моральных проблемах, которые приходилось решать толстовцам-коммунарам, о их настроениях, спорах и надеждах тех лет. По словам своего летописца, коммуна «Жизнь и Труд» родилась под самый новый 1921 год, 31 декабря. Среди других стал членом коммуны и крестьянин Орловской губернии Дмитрий Моргачев, чье заявление о реабилитации приведено во вступительной главе этой книги. Начиная повествование о долгом и нелегком пути содружест-

---

* Мне не удалось установить, из какого именно письма Л.Толстого взята цитата.



Борис Васильевич Мазурин (род. в 1902).
Первый председатель правления коммуны
толстовцев «Жизнь и Труд». Ныне живет
в поселке Тальжино в Западной Сибири.

ва толстовцев-хлеборобов, историк коммуны Борис Мазурин записал: «Уезд был Московским, волость — Царицынская, сельсовет Тропарёвский, год революции — пятый»*.

О первых коммунарах знаем мы не слишком много. Молодые люди, взявши сообща в аренду бывшее помещичье имение Шестаковка — 50 гектаров пашни, луга, сада и кустарника, — познакомились между собой в столовой Московского Вегетарианского Общества им. Л.Толстого**. Общество располагалось в центре столицы, в бывшем Газетном переулке. Почти ежедневно происходили там в начале 20-х годов собрания, доклады, беседы. В тесный зал Вегетарианки сходились люди, стремившиеся осуществить завет Толстого о трудовой жизни на земле. Много тут было горожан, ничего не понимавших в сельском хозяйстве, но добирались до Газетного и природные крестьяне, начитавшиеся Толстого и преследуемые при царе за отказ служить в армии. В столовой сходились и сближались люди самого разного толка. Нередко здесь определялись жизненные пути, скрещивались судьбы. Вот лишь несколько примеров.

Сын институтского преподавателя, москвич Борис Мазурин (родился в 1902 году) во время Гражданской войны, еще будучи школьником, идейно был близок к большевикам. Его отец, наоборот, с довоенных лет был увлечен идеями Толстого. (Мазурин-отец трижды посещал великого моралиста в Москве и в Ясной Поляне). Старший Мазурин пытался и сына сделать своим нравственным союзником. Но, увлеченный идеей мировой революции, Борис все такие разговоры пресекал в корне. Позднее младший Мазурин писал: «Когда отец произносил слово «любовь», меня едва

---

* Борис Васильевич Мазурин. «Рассказ и раздумья об одной толстовской коммуне «Жизнь и Труд». Часть 1 «Под Москвой»; часть 2 «Сибирь». Закончено в поселке Тальжино (Западная Сибирь) 9 ноября 1967 года. Машинопись, 281 стр.

** Так в 20-х годах стало называться Общество Истинной Свободы в память Льва Толстого.

не тошнило. «Какая там любовь, когда на нас кругом лезут враги!» — кричал я.

Борис поступил в Горную академию, его привлекала профессия геологоразведчика. Мерещились экспедиции в неведомые края, поиски руд для социалистической идустрии. Но неожиданно жизнь пошла по другому руслу. В те сравнительно либеральные времена, в Академии бурлила богатая красками и оттенками общественная жизнь. Были среди студентов и эсэры, и меньшевики, студенты-анархисты открыто устраивали вечера в память отца русского анархизма Петра Кропоткина, студенты-толстовцы, также не таясь, читали стихи и доклады, призывающие на землю. Борис слушал и тех и других и третьих. «Покиньте удушливый город, друзья... Идите туда на широкий простор, где нивы без вас все травой заросла, а луга заливные — осокой», — декламировал студент-толстовец. Борис слушал, размышлял. О том, что труд земледельца самый нужный, самый честный и благородный, что он делает человека свободным, независимым, писали Толстой, Кропоткин. Большевистские идеи в душе студента Мазурина начали блекнуть, вянуть, линять. Заодно ослабела тяга к геологии. Возникла мысль о том, что стыдно сидеть на шее народа, надо собственными руками растить хлеб, который ешь. Борис прослышал о собраниях в Вегетарианском обществе, поехал в Газетный переулок и... там встретил своего отца. Сын самостоятельно дошел до тех идей, которыми жил отец. Борис Мазурин покинул Академию и стал крестьянином, членом коммуны «Жизнь и Труд», а позднее ее историком. В книге его мы находим описание нескольких судеб тех, кто стали основателями коммуны.

Сергея Троицкого, царского офицера из интеллигентной семьи, привели в коммуну совсем другие обстоятельства. Провоевав с четырнадцатого по семнадцатый год на Германском фронте, он примкнул к большевикам. Окончил красную военную академию и, не желая сидеть в тылу, попросился на передовую. Во время войны с поляками

дошел со своим полком до Варшавы. Случалось ему как военному командиру отдавать рапорт самому Наркомвоенмору Л.Д.Троцкому. Воевал он честно, свято уверовал в большевистские идеалы. Его ценили, награждали. Но внезапно пробудилась в Сергее Троицком совсем было уснувшая память о беседах с братом-толстовцем. В юности пошли они с братом вроде бы разными путями. Но вдруг сделал боевой красный командир полный поворот кругом. Случилось это так.

В части у него служили два молодых парня, чуваши, мобилизованные насильно. Вырванные из тихой трудовой жизни и брошенные в кровавый ад войны, парни решили любым способом освободиться от армии. Парни отстрелили друг другу указательные пальцы, чтобы их уволили из части, но были разоблачены, судимы и приговорены к расстрелу. Сергей Троицкий несколько раз рассказывал потом Борису Мазурину, как выглядела эта врезавшаяся ему в память картина. Осенний вечер; войска, выстроенные на просторной луговине в виде незавершенного с востока каре; огромный багровый шар солнца, уходящий за несжатые ржаные поля; двое в нижнем белье, освещенные со спины алыми потоками света. Залп. Пули раздробили парням черепа, но они, мертвые, привалившись один к другому, как-то очень долго не падали...

На следующий день комиссар Троицкий пришел в штаб полка и сдал личное оружие. Он не желал больше служить. Ему грозил военный суд, расстрел. Но тут ударили поляки, Красная армия покатилась назад. Все смешалось... Несколько месяцев спустя серьезный немногословный командир оказался на собрании Вегетарианского общества, а потом и в коммуне. Он пришел сюда по убеждению, выстраданному нелегким собственным опытом, но один раз все-таки сказал Борису Мазурину: «Если капиталисты нападут на нас, я пойду защищать родину». — «Ну, что ж, — ответил недавнему большевику толстовец, — это твое дело...»

Был среди самых первых коммунаров и анархист Ефим Сержанов. Человек, влюбленный в технику и изобретательство, он вместе со своим единомышленником Швильпе считал себя обязанным совершенствовать все, чем жив человек. Эти двое, называвшие себя всеизобретателями, пытались преображать и язык и машины и даже людей. Они считали, например, что человек спит слишком много, попусту растрачивая драгоценное время. Надо привыкать к короткому сну. Проработав день в поле, Сержанов и Швильпе, не раздеваясь, заваливались на дрова за печку и через два-три часа вставали, чтобы бодро взяться за очередное дело. Столь же несовершенными представлялись им и другие физиологические функции человека, например, еда, пищеварение. Человек, утверждали они, много ест и, переваривая, изнашивается. Надо изобрести концентрированные пилюли — «пиктоны» — чтобы питание было ценным для организма и безвыделительным. Они даже опыты соответствующие ставили по научному питанию. В результате этих экспериментов молодой коммунар, доверившийся их творческой фантазии, чуть не отдал Богу душу. Льва Толстого Сержанов считал великим изобретателем в области морали и высоко чтил его. Всеизобретатели не ограничивались фантастическими проектами. Разыскав в соседних разрушенных хозяйствах (таких после революции осталось немало) нужные детали, они собирали для коммуны косилки, жнейки, сделали сеялку и ручную молотилку. Сержанову же принадлежало и название коммуны — «Жизнь и Труд».

А рядом с неисправимыми мечтателями, с интеллигентами, которых раздирали нравственные проблемы, жили и работали две немудрящие, но добрые и трудолюбивые крестьянские девушки Алёна и Анисья. Из родного рязанского села привели их в толстовскую коммуну голод и малоземелье. Толстовство приняли они, никогда не читая книг Льва Толстого. Тут же росли и набирались ума два подростка из детского дома — эстонец Федя Сепп и чуваш Антоша Краснов. Как-то удивительно все эти столь разные люди договорились между собой о том, чтобы ра-

ботать вместе, жить в общем коммунальном доме, не допуская в своем обиходе табака, водки, сквернословия и разврата. Они столковались между собой также о том, чтобы не владеть личным имуществом, питаться только вегетарианской пищей и не иметь над собой никаких начальников.

«Все дела обсуждались сообща за столом в обед, завтрак или ужин, — вспоминает Мазурин. — Никто не был официальным руководителем. Мы стремились, чтобы все члены коммуны были в курсе всех дел и решили, что все по очереди, сменяясь каждый день, будут руководить текущими работами — дежурить... Расходы на административные, управленческие и канцелярские нужды сводились таким образом к нулю»*.

Свою хозяйственную деятельность коммуна толстовцев начинала буквально на голом месте. В старом липовом парке стояли три деревянных, изрядно запущенных дома. Кроме домов, Московский земельный комитет передал новым хозяевам корову Маруську и двух лошадей семнадцати лет от роду каждая — кожа да кости. Была еще военная двуколка с отваливающимся колесом. Совместное имущество включало также яму с силосом из картофельной ботвы, семьдесят пудов сушеных веников на корм скоту и пятьсот пудов мороженой картошки. Перед весной 1922 года с трудом удалось также добыть семь пудов овса на посев. Средств не было. Разобрали один дом в парке, распилили бревна на чурки и на своих полудохлых лошадях возили дрова в Москву. Топливо меняли на хлеб, сухари, фасоль, пшено. Тем первую зиму и кормились.

Убогая эта жизнь не испугала толстовцев. Никто из коммуны не ушел. Наоборот, по рекомендациям Черткова через Вегетарианское общество приходили в Шестаковку все новые и новые люди. Стрелочник Ганусевич пришел с женой и

---

* Позднее, когда коммуна разрослась, пришлось создать Совет коммуны. Борис Мазурин долгие годы был председателем этого Совета.

и детишками, с сестрой и дочерью сестры: большая дружная эта семья искренне полюбила коммуну. Следом приехали тамбовские крестьяне Миша и Даша Поповы, молодой владимирский плотник, убежденный последователь Толстого Алексей Демидов, человек не слишком грамотный, но хорошо разбирающийся в жизни.

Через Газетный переулок попал в коммуну и Александр Васильевич Арбузов. В памяти знавших его сохранился он как человек быстрый, ловкий в работе, востроносенький, в очках. Шутками и прибаутками — «девоньки, бабоньки, пошли, пошли!» — он весело увлекал людей на труд, приятным тенором пел русские народные песни. Но за веселостью этой угадывался душевный надрыв. В коммуне никто ни к кому в душу не лез, анкет, отдела кадров тут тоже не было. Но, помягчев среди добрых и отзывчивых людей, всяк рано или поздно рассказывал свою историю. Рассказал и Арбузов. Был он в прошлой своей жизни следователем ЧК, но, насмотревшись на тот поток злодеяний, которые вершила эта самая Чрезвычайная Комиссия, следователь решил отказаться от своей хорошо оплачиваемой службы. Чертков помог ему: следователь принял заветы Льва Толстого и стал санитаром в госпитале, а потом крестьянином.

Не все, однако, выдерживали тяжелый крестьянский труд. «У нас выработался неписаный обычай, — пишет Борис Мазурин, — приходи кто угодно, будь гостем, садись за общий стол, гуляй, смотри три дня, а на четвертый принимай участие в труде наравне со всеми». Порядок этот существовал долгие годы, никому в гостеприимстве отказа не было. Пришла как-то из Москвы девушка-горожанка: голодная, печальная, замкнутая. Два дня она молчала, присматриваясь, а на третий попросила дать ей работу. Ее послали на скотный двор. Неумело, но прилежно выгребала она навоз, прибрала стойла, почистила коров скребком. Познав радость труда, вздохнула: «Как чисто». Работала еще два дня. Но потом, когда Мазурин зашел в коровник, девушка спросила его: «И это так каж-

дый день?» — «Каждый». — «Как скучно», — ответила девушка и ушла из коммуны. Ее никто не остановил, никто не спросил, куда она идет. Коммунары выше всего ценили свободу, никто никого не пытался перевоспитывать, переиначивать на свой лад.

Коммуна между тем крепла. Работали толстовцы истово и урожаи получали по тем временам неплохие: картофеля по 2000 пудов (320 центнеров) с гектара, ржи по 120-150 пудов (20-24 ц/га), корнеплодов по 3000 пудов (480 ц/га). Коммунары хорошо поставили молочное дело, молоко продавали в московские больницы и детские сады. В кассе коммуны появились деньги. «В 1925 году мы уже жили вполне обеспеченно, — пишет Мазурин. — Питание было общее, бесплатное, так же как жилище, освещение и отопление, а на одежду и обувь выдавали каждому рабочему ежемесячно 25 рублей... По вечерам иногда пели песни народные, русские, иногда плясали до отрыва каблуков. И хотя была чрезмерная нагруженность тяжелым трудом, но это не угнетало нас...»

Тогдашнее самочувствие свое и своих товарищей Борис Мазурин попытался выразить в стихах:

С косогора зеленого,
Гладко сбритого косой,
Прогремим на телеге подмазанной
На широкий луг большой.
Жарко! Лыска рыженький
Озорной в скачки бежит,
Мы с телеги ноги свесили,
Сердце радостно дрожит.
Босоногие, беззаботные,
В этот день голубой
Мы с природой лучезарною
Прозвеним одной струной.
Вилы длиннозубые
В копны рыхлые душистые
С силой вонзим,

И, напружинившись, вёдру радуясь,
Воз высокий нагрузим.
Стог широкий в основании
Только к ночи завершим
И усталые, но веселые
Шумно к пруду побежим.
В сумраке длинной аллеи
К дому идем не спеша —
Бодро усталое тело,
Жизнью трепещет душа.
Вспыхнул день и угас,
Как под утро гаснет звезда,
И мечтою он будет для нас,
Разукрашенный песней труда.

Нет смысла говорить о художественной ценности этого и других крестьянских-толстовских стихотворений. Но историческая ценность их несомненна. Они очень точно передают атмосферу трудовой, полной жизнелюбия и человеколюбия обстановки, царившей в начале 20-х годов в толстовских коммунах. Чтобы понять гордость и бодрость тогдашних коммунаров, можно напомнить, что местные, коренные жители вокруг Шестаковки были еще беднее, собирали с гектара не 20 центнеров зерна, а 7-8, но при всем том держались церковных праздников, гуляя, случалось, по два-три дня в самую горячую посевную или уборочную пору. На полях соседнего села Тропарева, рядом с землями коммуны, хлеба осенью стояли низкие, изреженные, их нельзя было и сравнить с «толстовскими». Глядя на жизнь коммуны, процветающей без водки, без гулянок и поножовщины, соседние крестьяне в первые годы раздражались, а молодые парни даже угрожали коммунарам расправой. Но с годами отношения наладились. Соседи поняли, что от коммуны им больше проку, чем зла: там, в Шестаковке, могут научить полезному агрономическому приему, там можно приобрести породистую тёлочку, да и книжку хорошую можно достать.

Толстовский дух, память о принципах жизни по Льву Толстому неизменно присутствовали в мыслях и чувствах коммунаров 20-х годов. Вот эпизод, описанный историком маленького поселения. Задолго до рассвета в дождь, слякоть, в буран и метель, в охоту и без охоты очередной коммунар-толстовец должен был везти бидоны с молоком в Москву, во Вторую градскую больницу. Дорога была пустынная, на пути встречались два глубоких оврага. Бывало, в тех местах и грабили, и убивали. В коммуне, однако, доставка молока почиталась долгом не только хозяйственным, но в какой-то степени и моральным. Ехал обычно один возчик, но в тот день, о котором пойдет рассказ, в повозке оказалось трое. Незадолго перед тем в коммуну забрела семья татар, бежавших от голода из Поволжья. Один татарский мальчик заболел тифом, надо было везти его в больницу. С больным поехал старший брат, умевший говорить по-русски. Татары, накрывшись, лежали на дне возка, а очередной возчик (им в этот день оказался Мазурин), сидя на бидонах, погонял лошадей. Ночь была тихая, темная. И вдруг позади — грохот тяжелой кованой подводы, догоняющей возок. С подводы спрыгнул кто-то, и коммунар увидел мужика в поддевке и высокой черной шапке. Мужик схватился за ручку стоящего впереди бидона и остро глянул в лицо возницы: видимо, примерялся, кто кого. Но в эту минуту с громкими ругательствами вскочил один из татар, за ним поднялся второй. Мужик метнулся назад, колеса его подводы загремели, удаляясь...

Назавтра Мазурину снова пришлось ехать с молоком. И на этот раз в одиночку. На пустынной дороге его охватил страх. Он вырубил увесистую дубину и положил ее рядом. Тревожно вглядываясь в темноту, проехал он одну деревню, вторую, добрался до того места, где вчера настиг его мужик на подводе. И в голову пришла мысль: «Вот так толстовец! Во что ты веруешь? В дубину? Нет, со мной не может произойти ничего дурного, если я сам не буду делать плохого». Этой мысли было достаточно, чтобы мо-



Толстовская коммуна возле Туапсе на реке Змейка (Кавказ). Конец 20-х годов.

лодой коммунар далеко в темноту забросил свое «оружие». Дальше поехал он безо всякого страха. Не сопротивляться насилию, не браться за оружие — в этом жители маленькой Шестаковки были едины.

Возникли, однако, вопросы, в которых крестьяне-толстовцы не находили единой точки зрения. После того, как люди приобрели самое насущное, когда миновал страх голода, начались разговоры о сути, о предназначении коммуны. Некоторые полагали, что коммуны и вовсе не нужны. Такого мнения придерживался даже видный деятель толстовства, издатель Льва Толстого К.С.Шохор-Троцкий (1892-1937). На это убежденные коммунары отвечали, что никакого кумира они себе из слова «коммуна» не воздвигают. Коммуна для них прежде всего — люди, отношения между людьми. Можно ли быть против того, что люди чувствуют доверие и близость друг к другу, стремятся к единению, к общему, всем необходимому земледельческому труду?

Другие говорили, что в коммуну надо итти только ради духовных целей, ради духовного единения; что в коллективе единомышленников, где отпадают собственнические инстинкты, создаются лучшие условия для духовного совершенствования. Историк коммуны «Жизнь и Труд» Борис Мазурин, человек ума реалистического и вполне земного, отвечал, что соединяться со всеми людьми в хорошем толстовцы должны всегда и везде, а не только в коммуне. Сама по себе коммуна никаких особых условий для совершенствования личности не дает, ибо и здесь сохраняется собственность, хотя и в общественном, так сказать, пользовании. Человек и в коммуне сохраняет присущие ему человеческие слабости. В коммуну люди собрались не ради духовных, а ради земных целей: они собрались вокруг земли, вокруг труда, вокруг хлеба. Собрались, чтобы не быть паразитами общества, чтобы не мыкаться у чужих дверей с протянутой рукой и злобой в сердце.

Возражая своим товарищам с их слишком абстрактным представлением о толстовстве, Борис Мазурин писал в своей книге, посвященной коммуне: «Мы считаем, что

нести каждому человеку свою долю физического, но необходимого человеческого труда, постройки жилищ, добычи топлива и одежды — есть естественный закон жизни. Исполнение его — легко и радостно и в то же время дает человеку огромные преимущества, делая его физически здоровым, живущим в общении с природой, не допускает изнеженные, превратные, извращенные представления о жизни, способствует правильному воспитанию детей, делает людей независимыми и равными членами общества».

Некоторые, однако, резонно замечали, что крестьянский тяжелый труд не оставляет места для духовных радостей, для братской жизни. Что-де в коммуне «Жизнь и Труд» труд есть, а жизни маловато. Энтузиасты коммуны возражали на это, что без труда и правильной жизни быть не может. Надо поднимать хозяйство. Когда наладим хозяйственный механизм, рабочее колесо станет вращаться более плавно, люди станут заниматься тяжелым трудом меньше. «Работай не с ожесточением, а с любовью и желанием, это и сегодня ослабит тяжесть твоего труда», — убеждали рационалисты максималистов. В чем-то эти практики оказались правы: к концу 20-х годов, когда коммуна разрослась, обзавелась машинами, построила новый дом с водяным отоплением и общим залом для дискуссий и общего отдыха, жить стало действительно веселее, интереснее и легче. Но споры не прекратились и позже, они продолжались все годы, пока существовала коммуна.

Причина расхождений между толстовцами-крестьянами таится, как мне кажется, в личности самого Льва Толстого. Хотя жители маленькой Шестаковки никогда не видели Учителя, каждый из них в соответствии с особенностями своего характера принял ту или иную сторону учения. Одним, как Мазурину, близок был толстовский рационализм, роевое, ульевое житьё простых трудовых людей. Другие, опять-таки по следам того же Толстого, наследовали его высокую духовность, стремление к подлинному очищению от скверны в государственной и личной жизни. То, что разрывало натуру самого Учителя, позднее разры-

вало и коммуны, организованные в его память. Впрочем, 20-е годы — пора еще довольно спокойная. Потолковав и поспоривши между собой вечерком за ужином, мужички спозаранок бодро и весело брались за работу в поле, на скотном дворе. В одном они все сходились: крестьянский труд делает человека независимым и равным членом общества. Откуда им было знать, что власть, которая позволила им объединиться в коммуну, вскоре именно крестьянина сделает самым бесправным и самым зависимым человеком во всем советском обществе?..

Но поначалу хозяйство крепло, коммунары работали много и охотно. Крепли и внутренние дружеские связи между ними. В первые три-четыре года после своего возникновения коммуна никакого внешнего давления не испытывала. Толстовцев не донимали ни налогами, ни приказами исполнять какой-либо устав или инструкцию вышестоящих инстанций. В ту пору сельскохозяйственная политика Кремля состояла в том, чтобы укреплять деревню, обогащать крестьянина как главного кормильца страны. Перед этой хозяйственной задачей идеологические цели меркли и отступали. Коммунистам на местах втолковывали, что надо «особенно внимательно относиться к таким сектантским группировкам... среди которых, особенно в настоящее время, замечается усиленное стремление создавать коллективные формы ведения общественного хозяйства. Там, где деятельность этих групп не носит враждебного советской власти характера, «надо всячески воздерживаться от какого бы то ни было стеснения их хозяйственной деятельности»*.

Тринадцатый съезд партии (май 1924 года) в резолюции «О работе в деревне» рекомендовал терпимость к тем «культурно-хозяйственным элементам из сектантских коммун, чья работа на земле приносит стране пользу»**. Серьезную

---

* Справочник партийного работника. М., 1922, вып.2, стр.93-94.

** КПСС в резолюциях и решениях. Изд. 7-е, часть 1. М., 1953, стр. 858.

ставку делали власти по-прежнему на реэмигрантов из Канады, США и Аргентины — духоборов и молокан. Советский агент Д.Павлов доносил 17 ноября 1924 года из Канады: «Опыт русских крестьян-духоборов нам предстоит заимствовать... Духоборческий коллектив в пять семейств... собирает ежегодно 14-17 тысяч пудов зерна. Следовательно, на одного члена коллектива ежегодно вырабатывается около 550-650 пудов зерна. У нас же ежегодная выработка на одного сельского жителя не превышает 40-50 пудов. Таким образом, крестьяне-духоборы в Канаде при машинном (и при коллективном — *М.П.*) труде увеличили свою производительность в 10-12 раз»*.

Этот «экономический» (крайне недолгий) период советской власти вовсе не означал, что в ЦК согласились оставить землю мужику, как это прокламировалось во время революции. Коллективизация и социализация крестьянина всегда оставались конечными целями большевиков в селе. Только одна часть тогдашних вождей полагала, что сделать это надо поскорей, а вторая, более разумная и осторожная, опасалась, что массовая коллективизация оставит страну без хлеба. Что же касается коммун толстовцев и других сектантов (толстовцы с самого начала советской власти официально рассматривались как религиозная секта), то власти полагали, что как только возникнет нужда, им ничего не будет стоить превратить эти сообщества единомышленников в хозяйственные организации — колхозы. Планы эти в тот момент, естественно, не выбалтывались, но борьба за власть, особенно усилившаяся ближе к 1927 году, вскоре втянула в свою орбиту и ничего не подозревающих мужиков.

Разгромив руками Зиновьева и Бухарина троцкистскую оппозицию и изгнав Троцкого из страны, Сталин тут же принялся подкапываться под Бухарина и Рыкова. Дальней-

---

* Центральный архив Октябрьской революции СССР, фонд 2077, опись 8, дело 41, лист 6.

ший путь русской деревни был той козырной картой, за которую хватались, которой пытались овладеть обе стороны. Бухарин играл на повышение: настаивал на дальнейшем поощрении мужика, на укреплении его хозяйственных возможностей. Сталин же, опять-таки ради политических расчетов (он боялся не только своих прямых противников в борьбе за власть, но и богатого, сильного и оттого независимого крестьянина), твердил о нарастании классовой борьбы в деревне. Его требование уничтожить кулака означало по сути стремление разорить деревню в целом, поставить мужика на колени перед большевиками. Сталинская победа над так называемой «правой оппозицией» приблизила конец недолгого процветания русского и вообще российского села. В конце 1927 года советские и партийные чиновники среднего и низшего звена уже хорошо знали свою новую задачу: разрушить все здоровое и крепкое в деревне, и в том числе разорить «сектантские» коммуны.

Атака на коммуну «Жизнь и Труд» началась с серии «обследований», «комиссий», с вороха Бог весть откуда взявшихся бумажных предписаний. Чиновники из районного центра стали приказывать природным крестьянам, как им сеять, как держать коров, как распоряжаться заработанными деньгами. Не сразу (далеко не сразу!) поняли коммунары, что настают новые, недобрые времена. Так же как в 1918-м один из смоленских крестьян-толстовцев был страшно удивлен тем, что в милиции его ударил вдруг в лицо человек, которого он никогда прежде не видел и которого не обижал, так десять лет спустя толстовцы дивились потоку обследователей и водопаду распоряжений сверху. Им при этом и в голову не приходило, что чиновники покушаются на самое существование уже достаточно крупного и вполне рентабельного хозяйства.

Однако всякий раз, как их пытались столкнуть с их пути, они проявляли твердость. Однажды Мазурина как председателя Совета коммуны вызвали для отчета в Кунцево, к председателю райисполкома. Там выслушали доклад об успехах толстовцев и предложили Борису оставить ком-

муну, чтобы заняться коллективизацией всего района. Мазурин отказался. «Почему же? — удивились районные аппаратчики. — Ведь ты же за коллективный труд!» — «Да, за коллективный, но за добровольно коллективный, по сознанию. А они (крестьяне окрестных деревень — *М.П.*) идут в колхозы против своего желания...»

Вскоре после этой встречи райисполком вынес решение о роспуске толстовской коммуны. Согласно этой бумаге, имущество толстовцев переходило в собственность группы крестьян-единоличников из соседнего села. Мазурин описывает этот роковой для коммунаров момент следующим образом:

«Раз я возвращался из Москвы в коммуну. Подошел к нашей конюшне. Ворота открыты, там ходила какая-то незнакомая баба. Напротив конюшни у нас стояло аккуратно сложенное между четырех высоких столбов сено с подъемной крышей. Сено было сброшено, и на нем стояла с ногами незнакомая лошаденка и ела его. «Чья лошадь?» — спросил я. — «Наша», — ответила женщина. — «А что вы тут делаете?» — «Мы теперь тут будем жить, нам отдали все».

Я подошел к дому. Едва открыл дверь в столовую, как в нос ударил запах махры, по комнате ходили едкие клубы сизого дыма. За столом сидело человек двенадцать мужиков, знакомых и незнакомых, они оживленно разговаривали, и когда я вошел, замолчали и оглянулись на меня. Я тоже стоял молча среди комнаты. Внутри меня все было напряжено до предела. В голове бегали мысли: «Зачем здесь эти люди? Чего им надо? Они люди, но ведь и мы люди! Как же они могут так делать?..» Я обернулсы к мужикам и сказал, не очень громко, только одно слово: «Вон!» Безмолвно поднялись они один за другим и цепочкой вышли на улицу. В открытую дверь потянулись за ними клубы табачного дыма».

Коммунары решили отстаивать свой дом, свои права. Мазурин пошел на прием в президиум ВЦИК, его принял заместитель М.И.Калинина П.Г.Смидович, ведавший в выс-

шем исполнительном органе страны вопросами религии и церкви. До революции Смидовичу приходилось бывать вместе с толстовцами в эмиграции, он хорошо знал Черткова и других видных деятелей толстовского движения. Он дал соответствующее распоряжение, и приказ местных районных чиновников был отменен. Однако, когда Мазурин принес распоряжение высшей власти в райисполком, его арестовали. Против пяти наиболее активных коммунаров было организовано судебное дело. Обвинять было не за что, но местный суд приговорил их к двум годам условно по какой-то очень расплывчатой статье. Важен был в этой истории не суд и не приговор (в Советской России приговор — два года тюрьмы — относится к весьма мягким). Главное же, что коммунарам дали понять: «золотой век» для них кончился, спокойно жить им на старом месте не дадут.

Надо было что-то решать? Но что?

Глава V

ТОЛСТОВСКИЙ КОРАБЛЬ ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ (1928-1931)

Уже с середины 1928 года отовсюду шли вести о жестокостях коллективизации, о конфликтах, которые повсеместно возникали у толстовцев-единоличников и членов коммун с местными властями. Тех, кто просились в колхоз, — не принимали как толстовцев («вражеский элемент»), кто не хотел итти в колхоз — тащили насильно. Толстовцы-колхозники с первых же дней пребывания в артели сталкивались с условиями, которые по их убеждениям были неприемлемыми: их заставляли забивать скот на мясо, сторожить колхозное добро с ружьем. Коммуны же чисто толстовские закрывались одна за другой. На Волге около Сталинграда выгнали из домов и отняли имущество у семей, составляющих сельскохозяйственную общину «Всемирное братство». В той же Самарской губернии ликвидирована была толстовская коммуна «Объединение». В Брянской губернии толстовцы ушли в леса и около Малой Песочни основали поселок единомышленников в десять дворов. Но и брянские глухие леса их не спасли... Зимой 1928 года под Москвой были ликвидированы Тайнинская сельскохозяйственная артель в Перловке, коммуна имени Льва Толстого возле поселка Новый Иерусалим (председатель Совета коммуны Василий Шершенев), а также артель «Березы». Доходили слухи о разгроме толстовской общины в селе Высоком на Украине, в селе Мальвино Буйского уезда Костромской губернии и в других местах.

Поводы для уничтожения толстовских сельскохозяйственных объединений годились любые. Тайнинскую сельскохозяйственную артель ликвидировали якобы за слабое хозяйство. Новоиерусалимской коммуне имени Толстого ставили в вину то, что она не брала государственных кредитов — «финансовая замкнутость», а когда пытались разогнать коммуну «Жизнь и Труд», ей ставили в вину взятые на покупку коров кредиты.

Сохранились дневники и рукописи Елены Федоровны Шершеневой о Новоиерусалимской коммуне*. Коммуну эту в 1923 году основала группа интеллигентной молодежи. Среди коммунаров были художники, литераторы, медики, люди, увлеченные философией, теософией. Это не помешало им быстро освоить земледелие, сделать свое хозяйство продуктивным. Окрестное население полюбило трудовую молодежь. Крестьяне брали в коммуне отборные семена, получали хозяйственные советы, пользовались молочным сливным пунктом коммуны. Толстовцев в районе ставили в пример другим селам, но вместе с тем идеология молодых коммунаров раздражала местное начальство. В 1928 году толстовцам приказали принимать в свое хозяйство крестьян из окрестных сел. Они отказались. «Стройность уклада нашей жизни сохранялась у нас благодаря общности убеждений большинства, доверию и уважению друг к другу, — пишет Е.Ф.Шершенева. — Мы поняли, что сохранить ее свободный и миролюбивый дух нам не удастся, если вольются в нашу коммуну люди, не только не

---

* Елена Федоровна Шершенева (род. 1905 г.), педагог-дефектолог, дочь близкого к Толстому философа Ф.А.Страхова. Прожила тяжелую жизнь, так как муж ее Василий Васильевич Шершенев, секретарь В.Г.Черткова, знаток рукописей Л.Н.Толстого (см. предисловие к 20 тому Юбилейного собрания соч. Л.Н.Толстого), был неоднократно репрессирован, провел много лет в тюрьмах и лагерях. Одно время В.В.Шершенев был председателем Совета толстовской сельскохозяйственной коммуны возле Нового Иерусалима под Москвой. В моем распоряжении несколько глав обширных воспоминаний Е.Ф.Шершеневой о жизни толстовцев и судьбе ее мужа.



Толстовцы отмечают 100 лет со дня рождения Л.Н.Толстого. Июль 1928 года. Киев. Слева направо: Б.Песков, Е.Горбунова-Посадова, Ю.Неаполитанский, два английских пастора (гости), И.Баутин, В.Чернов, И.Сурин, Е.Щенникова, Тамара (?). Сидит А.Григорьев.

разделяющие наших убеждений, но посягающие всячески им препятствовать».

В конце концов власти заявили, что, хотят этого толстовцы или не хотят, их коммуна будет слита с другим хозяйством и будет создан колхоз «Красный Октябрь» с уставом, который толстовцы обязаны принять. Коммуна начала быстро распадаться. Одни толстовцы уехали, другие перебрались в коммуну «Жизнь и Труд». Назначен был день и час окончательного разрушения коммуны им. Толстого. Но, как говорят, пришла беда — отворяй ворота. Вслед за первой бедой пришла вторая: в одном из зданий коммуны вспыхнул пожар. Что испытали при этом коммунары, мы узнаём из рукописи Елены Федоровны. Свои записи сделала она летом 1929 года, обращая их к своему тогда еще двухлетнему сыну Феде.

«Около двух часов дня, — пишет Е.Ф., — у нас вспыхнул пожар. В этот день ликвидационная комиссия должна была принять наше хозяйство... Лошади были заняты перевозкой вещей коммунаров, и воды привезти было не на чем... Горел дом, в котором жили мы, Рутковские, Ваня Зуев и Дуня Трифонова. Ты спал в одной рубашечке и проснулся от шума на лестнице. Вася* тут же крикнул мне: «Одевай скорее Федю, у нас пожар!» Потом все завертелось, замелькало, забегало, загудело. Я никак не могла всунуть твои ноги в штанишки, одежда твоя куда-то пропала. Потом я отдала тебя на руки Марте Толкач, а сама бросилась спасать вещи. Я вбегала и выбегала из дома, а потом сообразила, что ты можешь перепугаться. Поэтому, напустив на себя спокойствие, подошла к тебе и сказала: «Ты на что смотришь? На огонек? Хороший, большой огонек, правда?» Я не могла представить, что меня кто-то слушает, что за мной следят, что мои слова... дают повод заподозрить нас в поджоге. Между мечущимися коммунарами с вещами и ведрами появились люди с красными ободка-

* Василий Васильевич Шершенев, председатель Совета коммуны.

ми на форменных фуражках... Я искала глазами твоего отца и видела его то разбрасывающим крышу соседнего сарая, который тоже начал гореть, то дающим какие-то распоряжения, то с ведрами воды в руках. Потом, когда с большим опозданием приехала из Воскресенска пожарная команда, он бессменно качал воду из пруда. Забежав ко мне на минуту, он сказал: «Меня наверно сейчас арестуют». — «Почему?» — «Будут обвинять в поджоге»...

Дом догорал. Отца твоего, Ваню Зуева и Ваню Рутковского поочередно вызывали на допрос... Ты плакал... Кормить тебя было нечем, ты целый день ничего не ел. Но мне не пришлось заняться тобой. «Собери мои вещи, белье и еще что-нибудь. Найди документы, я их кому-то передам», — сказал отец... Кое-что я отыскала, что просил папа, сварила тебе что-то, но только начала кормить, меня вызвали на допрос...

— Вы толстовка?

— Я разделяю взгляды Толстого.

— Не с детства, не по убеждению, а так, случайно?

— Нет, сознательно.

— А зачем же просите дать вам прочесть протокол, прежде чем подписаться? Толстовцы должны верить людям...

Твой папа подошел ко мне, чтобы попрощаться, но я с гордостью объявила ему, что иду вместе с ним. «И тебя тоже?» — «Да, вместе». — «На кого же оставим Федю?..» — «Я останусь с ним, не тревожьтесь», — сказала Дуня Трофимова. Ей можно было поручить мальчика. «Трофимова, вы тоже собирайтесь», — сказал все тот же конвойный. «Не оставим Федю, будьте спокойны», — сказал Коля... Мы вышли на крыльцо и погрузились в тьму, в снег, в весеннюю слякость и воду».

. . . .

Далее Елена Федоровна Шершенева пишет: «Вся наша пятерка была объединена сознанием нашей невиновности, внутренней свободы и готовности начать новую форму жизни бодро, хоть и трудно было постичь, как все это

вдруг свалилось на наши плечи... В милицию мы пришли в 11 часов 30 минут ночи. «Странные люди, — сказал кто-то, — пять человек пришли одни, без конвоя». Нас с вооруженной охраной провели через двор в Воскресенский домзак*, устроенный в бывшем Иерусалимском монастыре. Когда вели, Вася говорил: «Все это не случайно! В этом есть какой-то смысл!» Я тоже верила, что ничто в жизни не случайно.

Тогда было много расстрелов. То и дело в газетах писали: «Расстрелян за поджог в колхозе». Докажем ли, что все мы не поджигатели? Останется ли Вася живым? Хотелось все, все пережить вместе!.. Наконец был назначен суд. Московская пожарная экспертная комиссия, приезжавшая на сгоревший участок нашей коммуны, дала заключение, что в уцелевшей после пожара кирпичной трубе была трещина, через которую вполне могла проникнуть искра на сухую дранку крыши. Тем более, что, как было установлено, печь в сгоревшем доме топилась почти без перерыва; в день пожара в ней дважды выпекали хлебы. Вася как председатель коммуны обвинялся в халатности по отношению к государственному имуществу. Ему присудили отработать несколько месяцев с выплатой зарплаты государству. Это было лучшее из того, что могло быть с нами...»

Так мать описала этот эпизод для малолетнего сына. Но в официальной советской печати пожар в коммуне Л.Н.Толстого описан был совсем по-другому. Оказывается, что члены Новоиерусалимской коммуны «как истые толстовцы, не хотели признавать распоряжений советской власти и всячески старались среди окружающего населения показать «насильнический» характер советской власти... Московский губисполком, приняв во внимание антисоветский состав и характер деятельности членов сельскохозяйственной коммуны имени Л.Толстого, постановил ликвидировать эту коммуну как не отвечающую и противодействующую

---

* Домзак — дом предварительного заключения, тюрьма.

целям и задачам партии в деле коллективизации сельского хозяйства. В ответ на это постановление 30 апреля 1929 года кто-то поджег здания и постройки коммуны. Никто из собравшихся уходить толстовцев не хотел тушить пожара. Все эти факты говорят о том, что в лице сектантских колхозов мы... имеем очень часто кулацкие контрреволюционные гнезда, кулацкие опорные пункты»*.

Толстовцы-крестьяне не были единственными гонимыми в те годы. В конце 20-х годов Сталин начал настоящую истребительную войну против независимых земледельцев («единоличников»), против ненавистной и пугающей большевиков крестьянской свободы. Подробности этой войны, которая обошлась крестьянам России в миллионы жертв и принесла разорение советскому сельскому хозяйству, стали известны в подробностях лишь недавно, после появления книг Александра Солженицына и Василия Гроссмана («Все течет...»). В разное время на Запад проникали вести об отдельных вызванных коллективизацией бунтах. Но совсем мало известно о той нравственной обороне в духе Льва Толстого, которую много лет держали в СССР не только толстовцы, но и десятки, сотни тысяч религиозных крестьян-сектантов. Наиболее активными в своей борьбе за независимость против колхозов, оказались украинские малеванцы, а также духоборы и молокане, то есть как раз те секты, которые еще до революции испытали глубокое влияние толстовцев и которые сохранили наиболее прочные, опять-таки толстовские по своей сути убеждения**.

Из бумаг Черткова видно, что уже осенью 1929 года 10000 крестьян-духоборов и 5000 крестьян-молокан обратились во ВЦИК СССР с просьбой разрешить им эмигрировать из Советского Союза. Подобные же заявления крестьяне-сектанты подавали в Москву в марте 1930 года, в

---

* Ф.Путинцев. Кабальное братство сектантов. М., 1931, стр.116.

** Документы об этой драматической многолетней борьбе сохранил в своем архиве В.Г.Чертков. Архив его ныне находится в библиотеке им. Ленина в Москве.

январе 1931. На все свои заявления получали они категорические отказы. Выпустить за границу такую массу свидетелей «советского образа жизни» Сталин конечно не хотел.

Между тем, у молокан и духоборов, населявших главным образом Сальский округ Северо-Кавказского края, было достаточно резонов, чтобы покинуть страну. При образовании очередного совхоза «Гигант» у единоличников-сектантов отрезали половину земли, на которой они вели свое животноводческое и зерновое хозяйство. Но главная причина была даже не в этом, а в том, что крестьяне-сектанты не желали итти в колхозы. «Так как мы... живем общиной-коммуной и все имущество у нас — общее, то, значит, у нас уже есть колхоз, — резонно писали крестьяне-духоборы и добавляли: — Но в предлагаемый нам колхоз мы не можем войти потому, что мы люди религиозные и любим трудиться с мыслью о Боге и молитвой на устах...»* Молокане повторяли в своих заявлениях то же самое, но с маленькой оговоркой: «Мы не можем пойти в предлагаемые нам г о с у д а р с т в е н н ы е колхозы и совхозы»**. В этом словечке и таилась главная разница между коммунами, в которых жили крестьяне толстовцы, духоборы и молокане со своими единомышленниками и с в о и м собственным укладом и колхозами, единственное назначение которых в том и состояло, чтобы кормить государство и подчиняться государственному чиновнику. Вместо единения людей, близких духовно, большевики требовали создания хозяйственных организаций, построенных не на личных отношениях сочленов, а на строгом подчинении младших старшим. Колхозы должны были повторить в своей структуре (и повторили!) советскую государственную пирамиду, где секретарь районного комитета партии бесконтрольно командовал через председателей колхозов тысячами рядовых тружеников, награждая по личному усмотрению и наказывая по усмотре-

* Заявление от 18 марта 1931 года. Архив В.Г.Черткова.

** Заявление от 22 февраля 1931 года. Там же.

нию же. Такая система «обязательной несвободы» была в корне чужда вольным коммунарам-сектантам. Неудивительно, что между ними и властями, загонявшими их в колхозное ярмо, начались конфликты.

В заявлении от 20 октября 1930 года молокане писали в ЦИК, что «местные власти жестоко нас наказывают за наше вероучение и веру в Бога. Всевозможными средствами клевещут на нас... приговаривают нас к ужасным последствиям, а именно, непосильным налогам, как хлебом, скотом и деньгами, и в довершение всего раскулачиванием и ссылкой в далекую Сибирь». Об этом же писали в высший орган государственной власти и духоборы, пытавшиеся объяснить своим гонителям простую, как им казалось, истину: «Среди нас нет кулаков, мы живем общей коммунальной жизнью».

Русские и украинские мужики, стремившиеся в 1929-1931 годах покинуть страну, вовсе не рассматривали свою акцию как политический жест. Они не оспаривали целей и методов советской власти и только умоляли отпустить их с миром. «Правы мы или заблуждаемся, — писали они, — но во всяком случае мы стараемся всю нашу жизнь, в том числе и хозяйственную, строить на том религиозном духоборческом мировоззрении, которое слагалось и закалялось почти 200 лет. И, насколько мы понимаем, такие люди, как мы, хотя бы из-за одного нашего непризнания военной службы и всякого насилия, — мешают вам в осуществлении ваших планов, и потому вам было бы полезнее удалить нас от себя и разрешить нам уехать в Америку»*.

В Канаде в это время духоборы (потомки тех, что с помощью Льва Толстого выехали в конце XIX века из России из-за преследования царского правительства) уже купили для своих братьев участок земли и готовы были оплатить их проезд на пароходе от Новороссийска в Америку. О выезде из страны в 1929-30 годах просила также

---

* Заявление духоборов от 25 января 1931 года.

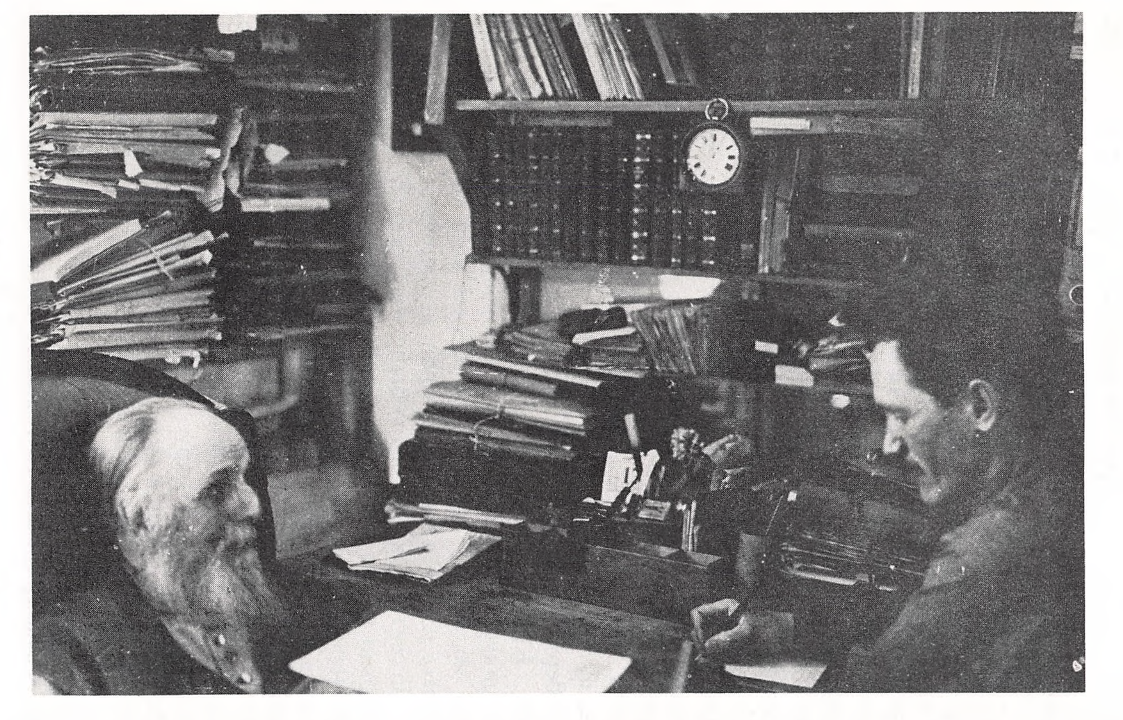
секта менонитов и 10000 украинских крестьян-малеванцев. В фонде В.Г.Черткова сохранился анонимный очерк об этих крестьянах:

«Малеванцы — это люди крепкие, закаленные в лишениях и прямых мучениях, которые им приходится переносить... Это уже настоящие солдаты духовной войны, отрекающиеся совершенно почти от мирной обыденной жизни... — «Сколько раз ты сидел в тюрьме?» — спрашиваю я одного малеванца. — «Да разов пять». Затем следует долгая хохлацкая пауза, и он добавляет: «Это месяцев по одиннадцати, по пяти, а так по неделе, по две, и не знаю сколько. Наверно, разов тридцать». Эта удивительная, совершенно неискусственная скромность, вытекающая из действительного забвения своих мучений, а также полная беззлобность к своим мучителям есть присущая всему малеванскому движению в целом характерная его черта. Внешние проявления их убеждений по отношению к государству — это отказ от военной службы, отказ от различного рода принудительных повинностей, отказ от уплаты продналога, отказ входить в колхозы и «массивы», отказ посылать детей в государственные школы и др...»

И дальше. «Держатся малеванцы хорошо. Не жалуются и не ругают власти, но говорят, что сейчас идет «великая война за поруганную правду», и хотят держаться в этой войне до конца, не дорожа ни имуществом, ни жизнью... Многие из них, по словам приезжающих малеванцев, готовы умереть с голоду, "но не отступаться от правды"...»*

В ответ на мирные просьбы этих мирных людей власти принялись отнимать у них хлеб и скот, арестовывать кормильцев семей. Аресты, высылки и угрозы стали настолько обычным делом в районах, населенных сектантами, что авторы очередного письма — молокане — обратившиеся во ВЦИК от имени 10000 своих единомышленников, вынужде-

* Архив В.Г.Черткова в библиотеке им. Ленина. Фонд 435 (не разобран с 1961 года).



В.Г. Чертков (слева) в своем кабинете. Справа его секретарь толстовец В.В.Шершенев. Москва. Начало 30-х годов.

ны были заявить: «Мы дошли до такого состояния, что вынуждены будем тронуться гужевым транспортом за границу... пусть стреляют в нас среди пути... Мы готовы помереть за веру и любовь к Богу»*.

Вместо разрешения на выезд сектантов в Сальский округ была послана правительственная комиссия во главе со старым большевиком А.Д.Шотманом. Комиссия подтвердила, что местные власти совершают по отношению к крестьянам массовые беззакония, «имеет место ряд перегибов и искривлений в связи с проведением коллективизации». Ограбление крестьян, бессудные ссылки и аресты превратились таким образом всего лишь в «искривление» вполне правильной линии партии. Правительственная комиссия дала команду на местах построить новые красные уголки, усилить политико-массовую работу с населением, а ограбленным мужикам одолжить некоторое количество коров взамен отнятых. Крестьяне отвергли эти, как они писали, «милости». «Вы хотите дать нам скот в долг, — писали они, — но мы не уверены в том, что его у нас не заберут опять даром, и опять мы будем без коров и в долгу. Кроме того, мы знаем, что те коровы, которых нам дадут, отнимутся у кого-нибудь, а мы таких коров взять не можем, так как не хотим пользоваться чужим трудом». Этот ответ духоборов поддержали и молокане.

На сектантов обрушены были новые кары. В частности, арестован и расстрелян был выбранный миром общественный Переселенческий комитет, занимавшийся выездом духоборов и молокан в Америку. Заодно разорили и перестреляли несколько сот и так называемых «рядовых» сектантов. Аресты и раскулачивания продолжались до тех пор, пока нѐкому уже было писать писем во ВЦИК и нѐкому выезжать. Сальский округ Северо-Кавказского края, один из богатейших районов страны, был превращен в пустыню, в 1931-32 гг. там начался массовый голод с тысячами жертв.

---

* Заявление от 20 октября 1930 года. Архив Черткова.

Толстовцы-горожане, особенно В.Г.Чертков и М.М. Трегубов, были теми людьми, к которым по старой памяти обращались за помощью крестьяне-сектанты в своей безнадежной тяжбе с советской властью. Но если до 1928 года Чертков еще что-то мог для них сделать, то после начала массовой коллективизации толстовцы были бессильны защитить своих ограбляемых и раскулачиваемых друзей. О взглядах самого Черткова на колхозы мы узнаем из дневниковой записи его, помеченной 8 ноября 1930 года. «Коллективизация (коммуна и прочее) тогда хороша, когда она начинается внутри. Не «бытие определяет сознание», а «сознание определяет бытие». Результат, к которому стремятся, очень хорош, но берутся не с того конца». Для Владимира Григорьевича, как и для Толстого, главное состояло в том, чтобы личное сознание каждого человека перерастало в сознание христианское. Христианское сознание побуждает к христианским формам жизни, и в том числе к общинам и коммунам, в которых соединяются единомышленники. Без внутренней потребности жить колхозом или коммуной коллективизация превращается для крестьян в террор, в бойню.

Несмотря на угрозу его свободе и жизни, Чертков продолжает писать крестьянам, толстовцам и нетолстовцам, правду о том, что он думает о переживаемой ими трагедии. Он удерживает наиболее нетерпеливых, подбадривает упавших духом. Он живет так, как будто нет в стране ОГПУ, будто не хватают ежедневно тысячи людей прямо на улицах и в собственных домах, чтобы тут же в течение нескольких часов отправить их без одежды и пищи на далекий Север. Чертков — противник всякого рода «комитетов» и других общественных организаций, ибо знает, что в советских условиях существование организаций ведет только к арестам и расстрелам. Поэтому он призывает духоборов и молокан, отказавшись от массовых действий, «руководствоваться всегда и во всем тем голосом совести и любви ко всем людям без исключения, который каждый из нас может услышать внутри себя».

Пытались крестьяне-сектанты найти также поддержку или хотя бы совет у друга Ленина В.Д.Бонч-Бруевича, когда-то очень их обхаживавшего. Уж он-то, хорошо знавший об их незлобивой вере, наверно сможет объяснить, за что так гневается на мирных трудовых людей эта странная советская власть. В частности, писал Бончу о притеснениях толстовец Дудченко. Но Бонч-Бруевич в начале 30-х больше всего боялся, чтобы о нем не подумали как о друге толстовцев или сектантов. Его ответы крестьянам дышат страхом и злобой:

«Сектантство имеет интернациональную связь с международным капитализмом, как например, баптисты, адвентисты, меннониты, и потому делается еще более опасным и зловредным, являясь у нас, в СССР, прямым агентом международного капитализма и его буржуазно-фашистских правительств». Это звучало как прямой донос, но Бонч-Бруевичу мало, он хочет, чтобы его письмо к толстовцу-крестьянину, буде оно попадет в руки огепеушников, служило ему алиби. Поэтому старый большевик совсем уже в духе своего друга Владимира Ильича переходит на прокурорский тон: «Мне нет никакого дела, какие молитвы кто из них бормочет, мне нет никакого дела, какие обряды они совершают..., но мне есть огромное дело до того, как, каким образом все эти баптисты, духоборы, меннониты, скопцы, толстовцы и все другие относятся к современной деятельности, помогают ли они строить социализм или мешают нашей стране... что они ворчат, агитируют против или за?..» А закончил он и вовсе по-сталински: «И вам, и вашим друзьям сектантам представляется выбор: или с нами, или против нас; другого выбора нет. Всякий сидящий между двух стульев... будет презрен в жизни и будет отброшен от нее, а, может быть, и раздавлен как последний червяк»*.

---

* В.Д.Бонч-Бруевич. Избр. соч., т.I. М., 1959. Из письма к М.С. Дудченко (Бонч-Бруевич спутал инициалы старого толстовца, с которым охотно переписывался в 90-е годы Л.Толстой). Стр.378-379.

Письмо Бонч-Бруевича звучит вполне в духе времени. Разговаривать с толстовцами и с сектантами, как с недобитыми врагами, впервые начали в 1928 году, в юбилейный толстовский год. Именно со столетнего юбилея Льва Толстого стало принято поносить толстовцев в газетах и журналах. В том году опубликовано было не менее дюжины «разоблачительных» книг о Толстом и толстовцах. Власти распорядились переиздать статью Ленина против Толстого, антитолстовские статьи Г.В.Плеханова, выпустить своеобразную антитолстовскую хрестоматию с претенциозным названием «Лев Толстой как столп и утверждение поповщины». Газеты «Правда» и «Известия», не говоря уже о провинциальной прессе, припомнили толстовцам и об их отказе служить в Красной армии, и об их вредоносном влиянии на других сектантов, и о нежелании толстовцев превращать свои коммуны в колхозы. В общем, хотя и с некоторым опозданием, большевики сполна рассчитались со своим давним противником. Единомышленники Толстого всем скопом объявлены были политически неблагонадежными. Юбилейный год стал, таким образом, для толстовцев годом метки*.

«Ярлык» сочиняли и клеили партийные деятели, официальные философы, литераторы-коммунисты. «Толстовство не для широких масс, даже верующих, даже религиозных, — заклинал Емельян Ярославский, руководитель государственного антирелигиозного аппарата. — Толстовство является учением узких интеллигентских кружков, среди которых вы найдете немало бывших людей —

---

* На 20 лет раньше, в дни 80-летия Льва Толстого, министр внутренних дел Российской империи разослал губернаторам циркуляр, в котором требовал «прекращения всяких попыток со стороны неблагонадежных элементов населения использования настоящего юбилея в целях противоправительственной агитации, каковые попытки тем более возможны, что проповедуемые графом Толстым идеи представляют для подобной агитации самый широкий простор...» (Сборник «Толстой и о Толстом» I, М., 1924, стр. 81-83).

бывших помещиков, бывших офицеров царской армии, кающихся дворян, озлобленных против советской власти интеллигентов»*.

Итак, вопреки реальному положению вещей, в то время когда толстовство стало идеологией сугубо крестьянской, Ярославский продолжал повторять то, что когда-то в совсем иных условиях говорил Ленин: толстовство чуждо простому народу, толстовство — религия «бывших». Философ-коммунист А.Мартынов в том же году принялся развивать тему дальше. «Толстовство, — писал он, — может у нас стать знаменем реакции. В Советском Союзе есть много элементов, не принявших революцию... И это находит себе, между прочим, идеологическое выражение в очень сильном распространении евангелизма, баптизма, родственных толстовству»**.

Ну, а если толстовцы могут стать врагами республики, то почему бы их не считать врагами уже сейчас. Скорее всего, они давно уже запасли оружие на чердаках... В 1928 году философ Мартынов к такому выводу и пришел. Еще не была затвержена формула относительно врага, который не сдается и которого поэтому уничтожают. Но над толстовцами этот топор уже был занесен. «Социалистический пролетариат объявляет войну не на жизнь, а на смерть всем и всяким формам толстовщины... Культурная революция начинает наступать развернутым фронтом. Она не может победить, не написав на своих знаменах: смерть остаткам толстовщины, ее идеологии в быту, на работе»***.

---

* Е.Ярославский. О Л.Н.Толстом и «толстовствующих». М., 1928, стр. 21.

** Журнал «Коммунистическая революция» №6, 1928, стр. 78.

*** М.Гельфанд. Толстой и толстовщина в свете марксистской критики. Саратов, 1928, стр. 74. М.Гельфанд объясняет в своей книге, почему надо так жестоко расправляться с толстовцами: «Толстой критиковал и отрицал не только буржуазно-помещичью государственность, но и всякую государственность вообще, не только каторжно-эксплоататорскую дисциплину капиталистической фабрики, но и всякую организованность, (см. след. стр.)

В 1928-29 годах вступать в дискуссии с партийными крикунами было уже опасно. Хотя еще делалась оговорка: «толстовщину изничтожать следует в идеологии и быту», но все видели: это только ширма. Вскоре от оговорки отказались; началось уничтожение толстовцев в самом прямом, биологическом смысле слова. И тем не менее, нашлось несколько, не побоимся сказать, героев, которые, глядя прямо в глаза старинным своим супостатам, заявили протест не только по поводу травли толстовства, но и по поводу общей обстановки в стране. Тульский крестьянин Михаил Петрович Новиков, давний приятель Льва Толстого, многократно навещавший Ясную Поляну, отправил советским властям в феврале 1929 года «Открытое письмо крестьянина о поднятии урожайности в крестьянском хозяйстве». По существу, это был настоящий проект, конкретное предложение о том, как в действительности поднять урожайность, а не просто болтать о ней. Дополнения к письму Новикова сделал другой толстовец, Иван Михайлович Трегубов. Свой проект отправили они генеральному секретарю ЦК ВКП(б) Сталину, в Наркомзем, в Колхозцентр, ВСНХ, РКИ, ЦК ВКП(б), в ЦИК СССР и в Совнарком. Надо было иметь немало мужества, чтобы в разгар коллективизации дискутировать с достигшим уже полной силы Сталиным. И не просто дискутировать, а бросать вождю в лицо прямые обвинения в игнорировании крестьянских интересов.

«Я старый крестьянин, живущий в деревне не по нужде, а по убеждению, — писал М.Н.Новиков. — Читаю, слежу по газетам за ходом мировой жизни и за ходом разных кампаний, в ударном и не в ударном порядке проводимых в нашем Союзе. Последняя из них это «борьба за урожайность».

всякую коллективную дисциплину вообще, не только милитаризм империалистический, но и всякую воbруженную, и в том числе революционную борьбу в о о б щ е» (стр. 64).

Боже, Боже! Какая ж вокруг такой простой вещи поднята агитация и пропаганда! Сессии, декреты, съезды земельных работников, земельные совещания, съезды агрономов, постановления губпартконференций, статьи спецов, селькоров и т.п. и т.п. Все наперебой шумят в одном направлении: «Надо раскачаться», «Надо не проспать», «Надо подтянуться», надо, надо, надо! Тысячу раз надо!»

Высмеяв большевистские методы руководства, Новиков напрямик определяет причины неудач колхозного хозяйства. Он против колхозов, против идеи обобществления земли, против социализма. «Ни у кого из правоверных марксистов не хватит совести утверждать, что русский полунищий народ нуждается в социализме. Он нуждается и мечтал только о мелкой земельной собственности... Русский народ не гоняется за журавлем в небе, а потому не может добровольно строить вавилонские башни». Новиков камня на камне не оставляет от идеи коллективизации сельского хозяйства.

«Коллективизация, имеющая на верху горы батраческий коммунизм, есть стремление не вперед, а назад, и может временно удовлетворить лишь забитых нуждой батраков и нищих, или попросту — это рай для батраков-дураков. Свободные люди не могут итти в это рабство, как бы туда не загоняли...» Новиков еще в 1929 году предсказал, что колхозы не прокормят страну. Он призывал вернуться к свободному рынку, к рыночным отношениям, основанным на соревновании и конкуренции, ибо иначе деревню ждет кризис. «Тут не надо быть пророком, чтобы все же видеть те последствия, которые сами собой наступят как результат наших опытов в области социалистического утопизма». Глядя вперед на полвека, крестьянин-толстовец предсказал не только кризис колхозной деревни, но даже будущие закупки хлеба за границей. Он предсказывает «экономический тупик, который уже нельзя будет скрыть от зорких глаз заграницы и которым она не преминет воспользоваться для сведения с нами счетов». (К сожалению, полвека спустя, Запад, снабжающий СССР хлебом, все еще не уразумел той

простой истины, которая уже в 1929-м была абсолютна ясна русскому крестьянину-толстовцу.)

Шестидесятилетний Новиков был схвачен и окончил свои дни в сталинских лагерях*. Другому последователю Льва Толстого — Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову (1864-1940) — повезло больше. Редактор закрытого в советское время издательства «Посредник», он выступил на юбилейном вечере в Политехническом музее с откровенно толстовской речью. Горбунов-Посадов сказал между прочим, что, к сожалению, через десять лет после революции духовное состояние русского народа еще очень далеко от того уровня, о котором мечтал Лев Николаевич, что разговоры о достигнутом якобы прогрессе скрывают падение нравов во всех сферах народной жизни. От дискуссии о состоянии народной этики с Горбуновым-Посадовым власти отказались. Зато в очередном номере газеты «Комсомольская правда» появилась карикатура-метка: толстовцу Горбунову пожимал руку «заклятый враг СССР» лорд Керзон.

Сохранился еще один документ, свидетельствующий о верности толстовству. Речь идет о письме, которое направил в НКВД молодой толстовец Сергей Александрович Алексеев, призванный в армию как раз в юбилейный толстовский год. Алексеев отказался от службы. «Вы можете бросить меня в тюрьму, оторвать от дела, — писал он. — Я и там буду свободен. Свобода не может быть дана человеку человеком, а он может лишь сам освободить себя. И свобода состоит не в том, чтобы делать то, что хочется, а в том, чтобы не делать другим, чего себе не желаешь. И эту свободу духовную... мы ставим выше свободы внеш-

---

* Михаил Петрович Новиков (1871-1939) был тот самый крестьянин деревни Боровково, Крапивенского уезда, Тульской губернии, к которому Л.Н.Толстой по первоначальному плану собирался поехать после ухода из Ясной Поляны. Об этом Толстой писал Новикову 24 сентября 1910 года, прося его найти «в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату» (Юбилейное собр. соч., том 82, письмо №279).

ней». Молодой толстовец Сергей Алексеев, между прочим, происходил из большой многодетной семьи, которая была близка с Надеждой Крупской. Но толстовские идеи взяли в нем верх над личными симпатиями к семье Ленина. «Нельзя, — писал в том же письме Сергей, — бороться против зла насилием, зло может уничтожить только противоположная сила — добро... Уничтожением, грубым внешним способом, убийством людей — носителей зла мы не уничтожаем самого зла. Сколько бы буржуев ни уничтожили, этим не уничтожишь духа буржуазности, стремления к наживе, даже в самих тех, кто борется против них»*.

Мужественную отповедь толстовца Алексеева своим гонителям привел в антирелигиозной книге пропагандист Ф.Путинцев (с литературными методами его мы уже познакомились выше), который следующим образом прокомментировал ее: «Разные Алексеевы и шахтинские вредители (имеется в виду первый организованный ОГПУ процесс против «вредителей» в г.Шахты в 1928 году — *М.П.*) не интересуются социалистическим строительством и хотя поразному, но вредят ему. Таких как Алексеевы — меньшинство. Но на то и существует большинство, чтобы заставить меньшинство подчиняться себе...»

Так он и шел, 1928 юбилейный толстовский год, под знаком начавшейся коллективизации и преследования толстовцев. Их изгоняли с работы, высылали, арестовывали. В Москве были схвачены и сосланы в Соловки пятеро молодых толстовцев, которые собирались вместе, чтобы изучать религиозные и философские взгляды Л.Н.Толстого. Об этих пятерых — Иване Баутине, Иване Сорокине, Алексее Григорьеве, Борисе Пескове и Юрии Неаполитан-

---

* Сергей Алексеев, как и один из его братьев, поплатился за свое толстовство несколькими годами лагеря. Позднее он был членом толстовской коммуны «Жизнь и Труд» и как будто ныне доживает свои дни в поселке Тальжино в Западной Сибири, где когда-то находилась коммуна. Письмо его в НКВД привожу по кн. Ф.Путинцева «Кабальное братство сектантов», М., 1935.



В.В.Шершенев. В 20-е годы основал под Москвой сельскохозяйственную коммуну. В 30-е — был секретарем В.Г.Черткова. Принимал участие в издании Полного собр. соч. Л.Н.Толстого. В 40-х годах отказался взять в руки оружие. Получил по суду 25 лет лагерей за «толстовство».

ском — позднее Борис Мазурин записал: «Попав в Соловки, эти юноши увидели много ужасного, унижающего человеческое достоинство. В знак протеста они отказались от труда, унизительного, подневольного труда. Последовали жестокие репрессии. Холод, голод, болезни свалили их с ног, но не сломили духа. Четверо из них попали в больницу, где поправились, остались до конца срока, помогая больным, признав этот труд для себя приемлемым в лагерях. Но здоровье было подорвано, и незадолго до конца срока Ваня Баутин заболел туберкулезом брюшины и умер»*.

Но и тем друзьям Толстого, кто не был брошен в лагерь, становилось день ото дня труднее. О преследованиях и репрессиях в «Бюллетене Московского Вегетарианского общества», конечно, не писалось, но из заметок тех лет без труда можно понять, как обстояло дело в действительности. Так, в заметке «О фонде помощи единомышленникам, находящимся в тяжелом положении» (октябрь 1928 года, №13) можно прочитать: «Так как число таковых увеличивается, напоминаем друзьям, обещавшим поддержку, об аккуратной присылке членских взносов и вообще просим всех о поддержке». В другом повременном издании толстовцев «Письма друзей Л.Н.Толстого», под редакцией В.Г.Черткова и И.И.Горбунова-Посадова, в номере от 2 мая 1929 года снова читаем про «Фонд помощи единомышленникам, находящимся в очень тяжелом положении». Организаторы фонда обращались ко всем, сочувствующим целям этого фонда, с просьбой не забывать поддерживать его своими по возможности постоянными взносами»**.

Впрочем, и «Бюллетень», и размножаемые на ротаторе «Письма» закончили свое существование в середине 1929 года вместе с Московским Вегетарианским обществом имени Л.Толстого. Властям не пришлось даже запрещать эту организацию. Найден был прием, значительно более простой:

---

* Б.Мазурин. «О Ване Баутине». Рукопись. 21 декабря 1966 г.

** Число членов Московского Вегетарианского общества — членов-горожан — дошло к этому времени до 150 человек.

Обществу отказались продлить аренду на помещение, которое оно занимало много лет. Никакого другого помещения толстовцы найти не могли, по этому поводу было дано секретное распоряжение московской милиции. Так сугубо «хозяйственный» вопрос об аренде положил конец встречам, беседам и дискуссиям единомышленников. Во вторник 19 февраля 1929 года в 8 часов вечера состоялась последняя беседа за чайным столом. И всё. На родине Льва Толстого никаких общественных организаций в память его никогда больше не возникало.

Глава VI

В ПОИСКАХ ТИХОЙ ПРИСТАНИ (1930-1933)

Но вернемся в маленькую Шестаковку, в подмосковную деревушку, где обосновалась толстовская коммуна «Жизнь и Труд». Мы оставили членов коммуны в тяжелых раздумьях: местные власти ясно дали понять друзьям Толстого, что жить им спокойно в этих местах не дадут. Надо было куда-то уезжать. Но куда? Между тем, начиная с 1928 года в Шестаковку съезжалось все больше и больше крестьян из других разоренных коммун и общин. Их принимали без разговоров: все они, как и шестаковцы, хотели работать на земле, хотели мирной и спокойной жизни в кругу единомышленников. Новые и старые коммунары снова и снова обсуждали положение своего сообщества. Сходились на том, что надо искать какие-нибудь необжитые, далекие от столицы земли и перебираться туда.

Это была старая идея сектантов и старообрядцев — с миром уйти от обижающей и оскорбляющей власти, уйти туда, где не смогут достать руки хозяев страны и их опричников. Идея эта не раз уже за триста лет вызволяла русских людей: казаки, сектанты и старообрядцы создали на окраинах империи целые вольные провинции. Но то было при царях. У новой власти оказался иной нрав и иные обычаи. При большевиках в России не стало «тихих уголков», не стало и прибежища для свободного и независимого. Но в 1930-м истина эта еще не проявилась так явственно, как

несколько лет спустя. Толстовцам мерещилось, что где-то на Алтае, в Сибири они еще смогут жить своей независимой трудовой жизнью, никому не мешая и не касаясь чуждой им советской действительности.

Похоже, что даже Чертков еще сохранял эту иллюзию. Он посоветовал руководителям коммуны «Жизнь и Труд» обратиться к властям с просьбой выделить землю где-нибудь подальше на Востоке страны. Он даже подал об этом заявление во ВЦИК. Его авторитет помог делу: двадцать восьмого февраля 1930 года Президиум ВЦИК обсудил вопрос о переселении толстовских коммун и артелей и протоколом номер 41, параграфом пятым акцию эту одобрил*.

Для коммунаров началась пора встреч на высшем уровне. В основном делами переселения занимался П.Г.Смидович, но толстовцам случалось встречаться в эти дни и с В.Д.Бонч-Бруевичем, и с М.И.Калининым. Тридцать пять лет спустя Борис Мазурин, председатель совета коммуны «Жизнь и Труд», записал об этих встречах: «Всюду мы встречали хорошее к нам отношение». В 1930 формальный глава государства Калинин, бывший крестьянин, мало причастный к борьбе за власть, еще мог себе позволить хорошо относиться к мужикам, которые ничего другого не хотели, кроме как найти тихую пристань для спокойной крестьянской работы. Ведавший в ЦИК делами религиозных культов старый большевик Смидович также стоял в стороне от драчки за власть. Да и дни этого старого ленинца были сочтены, он относился к тем старым кадрам партии, кото-

* То же самое советовал В.Г.Чертков сделать и сектантам духоборам и молоканам. Он рекомендовал духоборам внести в их заявление Советскому правительству след. абзац: «И если нельзя нам поехать к нашим братьям за границу, то дайте нам возможность жить коллективно на тех хозяйственных началах, которые согласны с нашими убеждениями. Если нельзя это сделать на месте нашего настоящего жительства, то облегчите нам переезд в какую-нибудь другую часть СССР, где бы мы могли жить, не нарушая нашей веры». Архив В.Г.Черткова, Библиотека им.Ленина, рукописный отдел, фонд №435.

рых Сталин спешил убрать со всех постов. Но даже эти сравнительно либеральные чиновники, еще не успевшие потерять голову от страха, как два-три года спустя их продолжатели на тех же должностях, тем не менее оставались вполне советскими администраторами, не желающими уступать «чужим» ни дюйма завоеванной территории.

Одна из просьб, с которой обращались толстовцы во ВЦИК, состояла в том, чтобы орган высшей власти дал переселяющимся членам коммуны какую-то бумагу, которая разъясняла бы местным организациям, что в действиях новых переселенцев нет ничего злонамеренного, что переселяются они в соответствии с решением правительства и являются вполне лояльными, законопослушными гражданами. Толстовцы вполне справедливо полагали, что если на месте не получат такого документа, то новое пристанище коммунаров будет не более спокойно, чем старое. Борис Мазурин даже написал для Смидовича проект такого «защитительного» документа. Бумага гласила:

«...Ввиду того, что вышеозначенные переселенцы имеют свои определенные религиозные убеждения и вытекающие из них особенности быта и жизни, их необходимо учесть и предусмотреть в инструкции об условиях переселения, для того, чтобы избежать конфликта и недоразумения с представителями местной власти. Необходимо указать, что эти особенности не являются злонамеренными, корыстными или политическими действиями...

1. Переселяющиеся не могут принимать участия ни в каких повинностях, кампаниях, займах, связанных с военными целями, и самое главное, отказываются браться за оружие.

2. Переселяющиеся — вегетарианцы и не могут принимать участия в мясозаготовках и контрактации скота на мясо и вообще в действиях, связанных с убоем скота.

3. Переселяющиеся по своим убеждениям не могут участвовать в органах государственной власти и производить в них выборы представителей.

4. Переселяющиеся коллективы могут входить в систему



Заседание правления толстовской коммуны «Жизнь и Труд». Западная Сибирь. Начало 30-х годов.

кооперативных объединений при условии невмешательства во внутренний распорядок и быт переселившихся.

5. Не следует препятствовать переселившимся самостоятельно организовывать школу для обучения грамоте своих детей.

6. Переселяющиеся считают коллектив жизненным только тогда, когда все члены [держатся — *М.П.*] одних взглядов и поэтому никакое административное укрупнение их с людьми иных взглядов недопустимо, а также недопустимо и административное вмешательство во внутренний уклад жизни [толстовских — *М.П.*] коллективов.

7. Направление и способы ведения хозяйства определяются общим собранием коллектива...»*

По существу, то, что предлагали толстовцы, было уставом своеобразного ордена свободных хлебопашцев. Как же большевики, руководители ВЦИК, восприняли просьбы крестьян-толстовцев? Мазурин вспоминает:

«Смидович сидел за большим столом в кожаном кресле и читал мою записку, читал про себя и только по временам гмыкал и приговаривал потихоньку: «Оружие не брать... будем судить... будем освобождать...» «Мясозаготовки не можем... можно заменить чем-нибудь другим». «В выборах не участвовать... Так значит, у вас советской власти не будет?» — «У нас есть Совет коммуны», — вставил я. — «Школа? Да, школа...», — проговорил он в раздумьи. «Не будете посылать в государственную школу, будем штрафовать родителей...», — заключил он, и мы расстались».

Полученный во ВЦИК уклончивый, а скорее даже неодобрительный ответ не на шутку встревожил коммунаров. Они начали понимать: если даже в Москве им не удается защитить свои интересы, то в сибирской глуши никто и вовсе не станет обращать внимания на их особые прин-

---

* Цит. по книге Б.В.Мазурина: «Рассказ и раздумья об одной толстовской коммуне "Жизнь и Труд"...» 1967 г.

ципы и вкусы. Будущее показало, что беспокойство толстовцев было вполне обосновано. В Сибири их ожидали большие испытания. Предчувствую беду, Борис Мазурин писал одному из единомышленников:

«Мы очень добивались, чтобы нас на новом месте не тревожили, но **мы этого не добились** (подчеркнуто Б.Мазуриным — *М.П.*). Нам сказали устно, что "таких исключений для вас мы делать не можем", но обещали, когда мы переселимся, дать инструкцию местному облисполкому насчет нас, но все это голословные заявления...»*

Из ВЦИК дело толстовцев перекочевало в переселенческую организацию. Для выбора места, где бы могли обосноваться последователи Льва Толстого, крестьяне отрядили трех ходоков. Ходоки Борис Мазурин и Иван Зуев из коммуны «Жизнь и Труд» и Иоанн Добролюбов из разгромленной на Волге общины «Всемирное братство» пустились в путешествие по Узбекистану, Киргизии, Западной Сибири. На поездах, на пароходах, на лошадях проехали они более 15000 километров. Путь их лежал через Ташкент, Аулие-Ата, Фрунзе, Алма-Ату, Семипалатинск, Усть-Каменогорск. Далее по Иртышу проплыли они чуть ли не до озера Зайсан на границе с Монголией. Потом повернули на север, побывали под Новосибирском, в Щегловске (ныне Кемерово), и тут, наконец, в 20 километрах от города Старый Кузнецк вверх по течению реки Томь выбрали себе подходящий участок.

В конце июня 1930 года ходоки вернулись домой в Москву, а в августе на закрепленный за ними участок выехала рабочая дружина. К весне 1931 года плотники должны были выстроить в глухом, пустынном месте деревню для едущих на Восток крестьян переселенцев.

Последнее, чем пришлось заниматься в Москве Борису Мазурину и его товарищам, был висящий над толстовцами приговор районного Кунцевского суда. Так же незаконно, как их приговорили, так же и освободили от наказания.

---

* Б.Мазурин. Письмо к Я.Драгуновскому 29 апреля 1930 г.

П.Г.Смидович поднял телефонную трубку и позвонил прокурору республики: «Там у вас имеется дело таких-то... Они сами уезжают в Сибирь... Полагаю, что дело можно прекратить...». И прекратили.

Двадцать второго марта 1931 года коммунары погрузились с семьями в вагоны поезда, следующего из Москвы через Вятку, Пермь, Свердловск, Омск, Новосибирск, Болотную, Новокузнецк. Позади оставалась опустевшая Шестаковка, земля, на которой в труде и мире прожили они десять лет.

...В разговорах между собой место, куда они ехали, толстовцы-крестьяне называли Алтаем. В стихах, посвященных переселенцам, И.И.Горбунов-Посадов также упоминает Алтай:

На светлых предгорьях Алтая,
Где плещется Томи волна,
Семья собиралась большая
Одним устремленьем полна...

Географически, однако, это не совсем точно. Толстовская колония возникла в том краю, где бескрайняя Западно-Сибирская равнина только лишь начинает морщиться и укладываться в мощные холмы-гряды. Рядом, за рекой Томью, — Горная Шория, но все это предгорья не Алтая, а другой горной страны — Кузнецкого Алатау, отделяющей бассейн Оби от бассейна Енисея. Места тут живописные: Томь с чистой голубой холодной водой, поросшие буйной травой склоны холмов, березовые и осиновые перелески, ручьи. В хорошую погоду, стоя на высоком месте, можно видеть вдали покрытые снегами хребты горного Алатау. Толстовский поселок возник как бы на краю цивилизации: на западе по вечерам полыхала огнями новостройка — там возводился город-завод Новокузнецк (будущий Сталинск), а на востоке и на юге — глушь и тьма. Там на сотни километров простиралась непроходимая тайга.

К приезду коммунаров посланная с осени рабочая дружина успела построить четыре бревенчатых дома. Но вслед за подмосковными коммунарами на берег Томи стали прибывать толстовцы со всей страны, так что жилья не хватило. А единомышленники все ехали и ехали: из-под Сталинграда перебралась в Сибирь община «Всемирное братство», из Барабинской степи и из-под Бийска приехали толстовцы-сибиряки. Многие ехали семьями и группами, но часть крестьян добиралась до «обетованной земли» в одиночку.

Вслед за толстовцами стали приезжать сюда представители и других внецерковных религиозных групп: сектанты-украинцы «малеванцы», члены секты субботников, сектанты с берегов Волги добролюбовцы. О вере и убеждениях никто никого не спрашивал. Как-то само собой предполагалось: тот, кто приехал в дальний край для совместной трудовой жизни на земле, разделяет основные принципы толстовства — не берет в руки оружия, отрицает церковную веру с ее обрядностью и таинствами, придерживается вегетарианства, не курит, не употребляет спиртного, не сквернословит. За всю историю коммуны в Сибири не было ни одного случая, когда бы коммунарам пришлось обсуждать кого-либо из своих единомышленников за серьезное нарушение этих неписаных заповедей. Таких, кого привлекала водка, разврат, драки, оказалось всего несколько человек, они покинули толстовский коллектив без принуждения.

Короткая сибирская весна торопила переселенцев скорее браться за пахоту и посев. Но едва закончилась посевная, возник не менее важный вопрос: на каких организационных началах строить общую жизнь. Ответить на это могла лишь высшая власть — общее собрание переселенцев. В один из теплых майских дней на поросшем свежей травой пригорке собрался народ. Предстояло обсудить один вопрос: «Как будем жить?»

Борис Мазурин в своей рукописи вспоминает: «Было внесено предложение — всем составить одно целое, с общим хозяйством, с общим имуществом. Однако, поразмыслив,

пришли к другому решению — не надо стеснять друг друга... Лучше объединиться не в одну, а в несколько организаций, объединяющихся по своим склонностям (коммуна, артель)... Было решено: уральцы составят сельскохозяйственную артель «Мирный пахарь» и поселятся по Осиновой Щели с землями к западу от ручья Осиновка. Сталинградцы составят коммуну «Всемирное братство» и поселятся по щели (оврагу) Каменушка с землями к востоку от ручья Каменушка. И, наконец, подмосковная коммуна «Жизнь и Труд» останется коммуной с поселком по реке Томи и с землями в центре всего переселенческого участка».

Летом 1931 года коммуна «Жизнь и Труд» состояла из 500 душ, артель «Мирный пахарь» — из 200 душ, община «Всемирное братство» насчитывала 300 душ. Кто были эти люди? Народный комиссариат земледелия, которому Президиум ВЦИК поручил практически обеспечить переселение «толстовских коммун и артелей», давал указание местным органам, чтобы переселенческие документы вручали только беднякам и середнякам. Таким образом, с государственной точки зрения, по социальному составу переселенцы были трудовыми крестьянами, а по убеждениям — толстовцами. Но термин «толстовец» мало что объяснял о людях, съехавшихся на берег Томи: разве что давал некоторое представление о привычках, вкусах и бытовых особенностях приезжих.

Среди переселенцев были люди многих национальностей, разных оттенков христианской религии. Кроме исконных крестьян, были тут и рабочие-оружейники из Тулы, не пожелавшие более ковать смертоносное оружие, были члены экстремистских партий — эсеры и анархисты — отвергшие политическую борьбу не по политическим, а по нравственным мотивам. Среди коммунаров оказались бывший красный партизан, бывший следователь ЧК, под влиянием идей Толстого бросивший военную деятельность, старый публицист, сотрудник толстовского издательства «Посредник», и учительница казенной школы, отказавшаяся штамповать детские души по заказу государства.

Да и крестьяне тут собрались не совсем обычные. Немало было среди них правдоискателей, которых гнали власти прошлые и нынешние. Толстовство свое видели они прежде всего в том, чтобы жить сообща и не иметь личного имущества, ибо в имуществе, в материальном неравенстве, в корысти и зависти виделось им главное зло крестьянской жизни. Могло показаться, что их устремления совпадали с коллективизаторскими задачами советской власти. Но сходство это было лишь внешнее. Насилие всеобщей обязательной коллективизации отталкивало этих людей. К 1931 году они уже получили представление о жизни в колхозе, поняли суть тех политических маневров, с помощью которых их, внуков крепостных, снова пытались сделать крепостными. Вот как толстовец-крестьянин, уроженец Елицкого уезда, Орловской губернии, описывает события 1929-30 годов, события, которые вынудили его уехать с родной Орловщины в Западную Сибирь.

«В конце 1929 года началась без согласия народа коллективизация. Стали собирать на общие дворы лошадей, коров, нетелей, овец. Стали отбирать плуги, бороны, повозки, корма из сараев у крестьян, и вдруг в январе или феврале (1930 года — *М.П.*) появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». На следующий день народ с радостью побежал на общие дворы за своим скотом и инвентарем. Но актив был очень недоволен... говорили: недолго будете торжествовать, осенью намажем некоторым задницу купоросом, запрыгаете по-другому, сами побежите в колхоз без оглядки. Так говорил председатель райисполкома Ульшин Александр Алексеевич.

В 1930 году все работали индивидуально, а в августе некоторых обложили хлебопоставкой по 500-600 пудов, заведомо невыполнимой. Этих людей в сентябре-октябре судили и дали по 3-8 лет лагерей с конфискацией имущества. Попал и мой брат Михаил Егорович на три года, и Волков Тимофей Семенович на 6 лет... Его послали в Караганду, где он сложил свои косточки, а брат Михаил выжил, но

больше не вернулся к сельскому хозяйству, остался на производстве.

Зимой 1930 года опять началась коллективизация и здесь уже не было головокружения, все шло как по маслу, без скрипа. Человек 15-20 были осуждены. А остальные, более зажиточные середняки, первыми пошли в колхоз. Некоторые из бедноты еще сомневались, колебались, а некоторые из них ушли на производство навсегда, забрав свои семьи»*.

Автора этих строк крестьянина Д.Е.Моргачева в коммуну привели эксцессы коллективизации, гонения на лучшую трудовую часть деревни. Смоленский крестьянин Яков Дементьевич Драгуновский, о котором подробно рассказано выше**, переехал вместе со своими единомышленниками-толстовцами на берега сибирской реки по другой причине. Еще в 1924 году, покинув Смоленщину, перебрался он в Ставропольский край на Северном Кавказе и там организовал колхоз. Он мечтал создать коллектив единомышленников, но не сумел. Жизнь среди людей, лишенных духовных интересов, его не удовлетворяла. В 1929 году председатель колхоза Драгуновский покинул свое хозяйство. В письме к В.Г.Черткову он так объяснял создавшуюся ситуацию:

«Моему уходу из мною же созданного колхоза причин много... страх перед военизацией всех колхозов. Я ужаснулся, когда прочитал весь номер журнала «Коллективист» за февраль 1929 года... Весь номер напичкан военщиной, не нужной в колхозе. Советуют устраивать в каждом колхозе военные уголки, приучать всех колхозников к меткой стрельбе, даже женщин приучать к военному делу... В заключении журнала говорится: "Колхозы все как один должны встать на защиту Советского Союза в случае нападения врагов".

---

* Д.Е.Моргачев. «Моя жизнь». Рукопись. 1973 год. См. также главу 8-ю: «Дмитрий Егорович рассказывает».

** См. главу «Золотой век. Большевики и толстовцы во время Гражданской войны».

Если я не признаю никаких врагов, если я раньше отказался от военной службы и всякого участия в насилии и военщине, за что и в тюрьме сидел, тем не менее, находясь в колхозе, я должен чувствовать себя военнообязанным, и в случае, если власти скажут: «вот это враг, убей его, задуши, перегрызи ему горло», я, как активный колхозник, должен буду выполнять все эти приказания... Я ясно понял, что с моими убеждениями надо искать спасение вне колхоза, и потому... подхвативши остаток моих пожитков, давай Бог ноги бежать из колхоза... Чувствую себя бодро: я не мобилизован в палачи... Я хочу и могу быть полезным столяром и плотником при строительстве помещений на новом месте, а потому не откажите мне в приеме в члены коммуны «Жизнь и Труд...»*

Принципы, на которых толстовская коммуна начинала свою вторую жизнь в Сибири, меньше всего напоминали принципы колхоза. «Мы считали, — пишет историк коммуны, — что, живя в коммуне, мы выполняем и 1) закон телесной жизни — удовлетворяя свои телесные потребности необходимым трудом; 2) нравственное требование — не ложиться грузом на других людей, а каждому нести свою долю тяжелого труда, и, наконец, 3) свою общественную обязанность строить взаимоотношения с людьми не на насильственной, а на разумной основе»**. Надо ли говорить, что после колхозных передряг коммуна единомышленников-толстовцев показалась многим крестьянам единственным приемлемым местом для жизни и работы. Они готовы были ехать за ней не только что в Западную Сибирь, но и до самого Тихого океана.

С чего начиналась жизнь переселенцев на новом месте? Преодолев тысячеверстное пространство по железной

---

* Письмо Я.Д.Драгуновского к В.Г.Черткову цитирую по рукописи «Биография Якова Драгуновского». Автор И.Я.Драгуновский. 1974 г.

** Б.В.Мазурин. Рукопись «Рассказ и раздумья об одной толстовской коммуне ”Жизнь и Труд”». Стр.281. Окончена 9.11.1967.

дороге, с трудом переправившись через бушующую весеннюю Томь, приезжий являлся к председателю Совета коммуны. Некоторые привозили с собой кое-какое крестьянское имущество: повозку, плуг, корову, лошадь, ульи. Но большинство ехало налегке, хорошо еще если привозили с собой немного денег и квитанцию Заготзерна на сданный на местах хлеб. Впрочем, имущественное неравенство при вступлении в коммуну значения не имело: толстовцы-коммунары принимали всех желающих. Прием не был обставлен формальностями и не выглядел сколько-нибудь торжественным. Разговор с председателем длился недолго: Чей? Откуда? Где семья? Имущество есть? Хлеб? Деньги? Зайди к счетоводу, запиши все: деньги — ему, хлеб — в кладовую. Размещайся пока на квартире. Питание? Общее. «Никаких лишних слов, — вспоминает первый председатель Совета коммуны. — Крепкое рукопожатие, открытый, приветливый взгляд друг другу в глаза. И — всё. С этим человек вливался в общую жизнь»*.

Едва отсеялись, пришлось срочно заняться строительством жилья. Люди в коммуне тесно заселили дома, многие жили в сенях, другие под навесами, в сараях. Надо было срочно строиться. На общем собрании обсудили несколько проектов. Украинцы, как и у себя дома, собирались лепить глиняные мазанки. Но сибиряки предупредили: здешние морозы не чета украинским, в глиняной избушке от них не укроешься. Уральцы предложили особым конным резаком резать вековечный пласт местной целины и строить дома из земляных кирпичей. Однако для большинства коммунаров, выходцев из средней России с ее лесами, более привычной оказалась бревенчатая рубленая изба. Правда, поблизости от коммуны не было строевого леса, а возить бревна издалека — не хватило бы лошадей. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Коллективизация гнала мужика из деревни. В соседних селах дома

---

* Б.В.Мазурин. Рукопись «Рассказ и раздумья об одной толстовской коммуне "Жизнь и Труд"». Стр.281. Окончена 9.11.1967.

продавались за бесценок. Коммунары отправились вверх по течению Томи, купили в нескольких деревнях дома, амбары, разобрали их, переметив предварительно, а затем подвозили бревна к реке и здесь делали из них плот. После этого оставалось лишь плыть вниз по матушке по Томи к себе домой, в коммуну. К зиме 1931-32 года в коммунарском поселке выросло два ряда добротных бревенчатых домов. К морозам все переселенцы оказались под крышей.

Жилье построили, но с хлебом дело оказалось скверным. В первый сибирский год из-за засухи урожай получился более чем слабым. Озимых не сеяли вовсе, яровые не удались. Коммунары собрали всего лишь 300 пудов зерна и ссыпали его в амбар на семена. Была картошка, были овощи, но нужен был хлеб. Где его взять? Коммунары ни на чью помощь не надеялись. Собрали как обычно собрание и общими усилиями нашли выход: всем взрослым, трудоспособным мужчинам итти на заработки, как в прошлом хаживали мужики на отхожие промыслы.

В это время в результате коллективизации продуктов везде не хватало. В стране была введена карточная система: хлеб, крупы, масло, выдавались по специальным талонам: рабочим больше, служащим меньше, а иждивенцам еще меньше. Между тем, рабочей силы на стройках заводов, фабрик, на всякого рода производствах и предприятиях не хватало. Чтобы привлечь рабочих, предприятия выдавали продовольственные карточки не только на самого рабочего, но и на его семью. Этим порядком и решили воспользоваться коммунары. Общее собрание решило: мужчины, уходящие в город и на строительство, будут тратить на себя только самое необходимое, а свой заработок, а главное хлеб, получаемый по карточкам, станут они сдавать в кладовую коммуны, для прокорма женщин и детей, а также тех, кому не по силам тяжелая физическая работа. Более шестидесяти коммунаров ушли работать на галечный карьер — вручную грузить гальку в вагоны. Другая артель толстовцев — плотники — нанялась строить в тайге бараки для переселенцев, которых ожидали в леспромхозе. Следом за мужиками-

кормильцами коммуна каждую субботу высылала подводу, на которой для детей, женщин и стариков привозили печеный хлеб. Целый год так жила коммуна. Только по воскресеньям на один день возвращались работники в свои семьи. В поселке делалось тогда людно, весело, оживленно. А по будням коммуна пустела. Нелегким был тот год. Но в то время, как по всей России от бескормицы мерли миллионы, в толстовской коммуне никто не голодал. Люди надеялись на себя, на своих друзей и единомышленников и не ошиблись, выстояли!

Глава VII

КОМПРОМИСС С ГОСУДАРСТВОМ ИЛИ ХРИСТИАНСКИЙ АНАРХИЗМ?

На производстве коммунары работали так же быстро, добротно и безотказно, как и у себя дома. За это их ценили. Но очень скоро обнаружилось, что эти добрые, трудолюбивые люди ведут себя в каждодневной действительности как-то странно, если не сказать больше. Они как будто не слышали и не видели тех предостерегающих сигналов, которые посылала эпоха, улыбались там, где надлежало глубокомысленно хмуриться, и мрачнели тогда, когда следовало кричать «ура». Неслиянность с внешним советским миром обнаруживалась у них на каждом шагу.

В шорском селе Абашево коммунарам-плотникам приказали разбирать дома. Толстовцы-плотники отправились в село и обнаружили, что в предназначенных на слом избах живут люди. Для коммунаров то были *люди*, а для местного начальства — кулаки. Семьи раскулаченных, уже ограбленные, обреченные, не хотели выходить из-под родной крыши. Эту последнюю их крепость и надлежало разрушать. «Разбирайте крышу!» — кричал маленький чиновник. «Как же разбирать, ведь там *люди*!» — не понимали толстовцы. «Не ваше дело, — орал чиновник, — разбирайте и всё!» Может быть, кто-нибудь другой и смог бы ломать крышу над головами женщин и детей, но только не коммунары-толстовцы. Они постояли перед домом злосчастных шорцев, поглядели на испуганные детские лица в окнах и

пошли прочь. Начальство этого им не простило, коммунаров взяли на заметку.

А вскоре другой случай подоспел в том же роде: в округе объявили о подписке на «государственный заем укрепления обороны». Толстовцы заем отвергли, как отвергали они любое военное начинание. Деньги из зарплаты на заем у них, само собой разумеется, вычли, а пачку облигаций принесли в барак и оставили на столе. Не препираясь, не скандаля, толстовцы облигации запечатали в конверт и по почте отправили обратно. Партийные чиновники на этот раз еще серьезнее взглянули на факт непослушания*. В обоих этих эпизодах, как и во многих других подобных действиях толстовцев, власти видели протест против того, что они называли государственными интересами. Такой протест квалифицируется обычно в СССР как «вражеский выпад» и карается как серьезное преступление. Между тем, действия крестьян-толстовцев всегда носили чисто э т и ч е с к и й характер. Но отличать этический протест от политического советская власть не умела и не желала. С каждым новым эпизодом тучи над головами коммунаров сгущались. Неслиянности с общепринятыми нормами жизни советская держава никому не прощала, а сами нормы эти год от года все больше ужесточались.

В 1932 году в Новокузнецке, будущем Сталинске, начали строить десять больших кирпичных домов. Год спустя первый, самый большой дом (его так и прозвали в народе Первый Дом) заняло городское управление НКВД. Можно не сомневаться, что папки с описанием погрешностей толстовцев-коммунаров заняли одно из первых мест на просторных полках этого Дома. Но самих толстовцев государственные приготовления к массовому террору интересовали

---

* В 1928 году в тогда еще не разогнанной Новоиерусалимской коммуне им.Л.Толстого за отказ подписаться на военный заем был осужден крестьянин-толстовец Фаддей Иванович Заблоцкий. Десять лет спустя Заблоцкий погиб в лагерях, отказавшись участвовать в выборах в Верховный Совет СССР. (Из воспоминаний толстовки Е.Ф.Шершеневой).

мало. Их в те годы волновали другие проблемы. Как, например, сплотить съехавшихся со всей страны земледельцев с их различным опытом, разными трудовыми навыками. Земледельческий труд очень косен, приемы его вырабатываются и наследуются веками. Как сделать так, чтобы люди не ссорились, не спорили, а дополняли друг друга в крестьянской работе? Приказы тут не годятся, да и некому было приказывать в коммуне. Между тем, в первые месяцы можно было нередко услышать среди коммунаров: «А у нас так не делают...» Уроженец Смоленской губернии с улыбкой превосходства смотрел, как житель Средней Азии длинным ремнем крепит косу к откосью. «Да разве так крепят?.. А у нас вот как: кольцо и клин — быстро и крепко. Начиналась проверка в поле. Оказывалось, что в умелых руках и так хорошо, и так неплохо.

Много спорили и о том, что сеять. Каждый привез в мешочках, в узелках заветные семена. Хотелось доказать другим преимущество родных, дедовских еще сортов. Южане предлагали сеять мак: «Пятьдесят процентов масла! Да какое масло». Но от мака пришлось отказаться: слишком трудоемок. Подмосковная озимая пшеница тоже в Сибири не пошла, хотя коммунары три года пытались ее «приучить» к сибирским морозам. Пришлось принять на поле местный посевной материал: сибирские пшеницы, овсы, ячменя.

Но постепенно умолкли хозяйственные споры. Вместо того чтобы доказывать, что «наше лучше вашего», каждый стал искать возможность направить свое умение на общую пользу. В коммуне, где не было ни директора, ни прораба, ни банковских счетов, смет, перечислений, где не существовало проблемы кадров, норм выработки, взвода бухгалтеров и экономистов, всего того громадного, скрипучего бюрократического аппарата, который доныне убивает в СССР любую творческую инициативу, как-то само собой сложился дух активного созидания, изобретательности, выдумки. Возникла, к примеру, у коммунаров нужда в мельнице. Собралось совещание умельцев. Каждый предлагал свое. Некото-

рые проекты звучали фантастично, а большинство — наивно. Но ведь кто были эти изобретатели — крестьяне 30-х годов, заброшенные в сибирскую глухомань, без книг, без специального инструмента. Но мысль, живая, ничем не стесненная, билась, искала, работала!

Технические диалоги тех лет отличались незатейливостью. «Томь бы запрячь. Вот сила!» — «А как ее запряжешь?» — «Давайте плот закрепим на якорях, а колеса чтобы течение крутило...» Предложение обсуждается, но потом его отвергают. Возникает новый цикл идей. «Движок бы!..» — «А где его возьмешь?» — «Помогите мне только найти шарик стальной, и через неделю будет мельница», — предлагает Михаил Полбин. «Давай!» Крестьянин Полбин с двухклассным образованием действительно соорудил вскоре небольшую мельницу с вертикальным валом, использующую силу воды в ручье Осиновка.

А потом появились у коммунаров маслобойка и крупорушка, возник собственный водопровод. Идею водопровода подал Евгений Иванович Попов (1864-1938), педагог и переводчик, в прошлом сотрудник толстовского издательства «Посредник», один из лично близких ко Льву Толстому людей. Был он уже стар, но его берегли, и он как мог старался помочь коммуне. Однажды, гуляя, наткнулся Попов в овраге, расположенном выше поселка, на хороший родник. Подал мысль соорудить водопровод, чтобы вода шла в поселок самотеком. Идея понравилась, трубы нашли на какой-то свалке металлолома. В поселке появилась колонка с чистой вкусной водой.

Между прочим, от Евгения Ивановича Попова, собирателя и хранителя народных мелодий, коммунары переняли также своеобразный песенный репертуар. Петь в коммуне любили. Особенно хорошо пели уральцы и сибиряки, пришедшие в коммуну из Барабинской степи. Собираясь по воскресеньям или вечерами, пели песни на слова Анны Чертковой, жены В.Г.Черткова, «Слушай слово...» и «День свободы наступает», сочиненные еще до революции. Пользовались успехом песни и другого старого толстовца

Ивана Горбунова-Посадова: «Учитель он был во французском селе», «Счастлив тот, кто любит все живое...», а также «Мирную Марсельезу» другого толстовца А.М.Хирьякова. Но в коммуне можно было услышать в те годы не только толстовские песни, но и индийский гимн Вивекананды, излюбленную песню народовольцев «Медленно движется время...». Терпимость к различным вкусам и взглядам сказывалась и в этом. Молокане затягивали свои псалмы, мормоны исполняли свои духовные стихи, малеванцы — свое, украинское.

Общественная жизнь коммунаров после переезда в Сибирь стала более разнообразной и сложной, чем прежде, под Москвой.

Мазурин вспоминает: «Народ у нас был хотя и не очень ученый, но мыслящий. По понедельникам бывали производственные совещания, на которые приходили все желающие... Эти собрания часто превращались в живую, интересную и нужную беседу. По вторникам пели, разучивали песни. По средам собирался философский кружок, по четвергам — родительское собрание, где обсуждали не только учебные вопросы, но и проблемы воспитания детей. По воскресеньям — большое общее собрание... Зачитывали письма от друзей-единомышленников, приходящие со всей страны, и иногда даже из-за рубежа. На одном из таких собраний возникла мысль делиться фактами из своей биографии, и некоторые охотно рассказывали о своей жизни. Эти рассказы еще больше нас сближали».

Тема сплоченности, единения живо волновала толстовцев. Уже в те годы было ясно: жизнь ставит редкостный эксперимент, не имевший себе подобного,— толстовцы должны были показать советской системе, что они совсем не случайно съехались для совместной жизни, что они едины в самом глубоком смысле слова. От этого единства, от прочности внутренних связей зависела не только судьба нескольких сот семей, но и сама идея существования толстовства в лоне советской системы, судьба толстовства на русской почве. Борису Мазурину и Дмитрию Моргачеву,

которым чаще чем другим приходилось иметь дело с советскими чиновниками, единство коммуны, единение ее членов представлялось основным козырем в разговоре с начальством. Они лелеяли это единство и верили в него. Конечно, люди жизненно опытные, они понимали, что полного единения в свободном сообществе быть не может, будет отсев, кто-то из коммуны уйдет. Но это их не пугало: отсев рассматривали они как еще одно средство укрепить коммуну, сделать ее членов более солидарными. Этот оптимизм и через сорок лет слышится в их мемуарах:

«В коммуне безо всякого сговора между отдельными лицами, но из искренних, честных, правдивых людей создался костяк, не костяк, а гранит, не гранит, а алмаз, — писал Д.Е.Моргачев. — А раз был алмаз, то был и песчаник... Колебавшиеся были, они уезжали. Но иногда, уехав, возвращались и просились вновь, да еще как просились!»*

Об алмазно-гранитной прочности вспоминает и Борис Мазурин. В письме к другу, заключенному в Соловках, он, в частности, заметил: «Беспокойна, трудна наша жизнь, но захватывающе интересна и полна... Особенно дорого единство, которое наблюдается во всех важных случаях, несмотря на многочисленные трения в мелочах»**. Воспоминания других толстовцев показывают, однако, что трения и всякого рода конфликты между членами коммуны не всегда носили только мелочный характер. Часть толстовцев из соображений принципиального порядка в Сибирь вообще не поехала. Активный деятель толстовского движения смоленский крестьянин А.И.Пыриков писал, что в дружный коллектив, в монолит единомышленников не верит, что люди, съехавшиеся из разных мест, с различными вкусами и взглядами в конце концов непременно перессорятся, ибо сама

* Д.Е.Моргачев. «Моя жизнь». Рукопись. 1973 г.

** Б.В.Мазурин Ивану Баутину в Соловки в 1931 г. Баутин (1902-1933) — секретарь Московского вегетарианского общества. Вместе с пятью другими членами молодежного толстовского кружка арестован в 1929 году. Умер от туберкулеза в Соловках (на островах в Белом море).



Крестьянин-толстовец Д.Е.Моргачев (1892-1978), член толстовской коммуны «Жизнь и Труд», с женой Марьяной.

форма коммуны, со строгой обязательностью функций каждого неизбежно убивает «всяческие зачатки разумной жизни». Уже в 1932 году Пыриков предсказывал, что коммуна распадется на несколько хозяйственных групп, члены которых окажутся более единомышленны между собой, чем члены большой исходной коммуны. Такой распад Пыриков считал благодетельным, так как, по его словам, «получился бы свободный труд отдельных группировок и личностей». Не будучи в принципе против коллективного труда на земле, Пыриков, тем не менее, считал, что успех возможен только тогда, когда для совместной жизни сбиваются люди, которые друг с другом «пуд соли съели»*.

Он оказался провидцем, этот старый крестьянин Елизар Иванович Пыриков, перенесший три войны, две революции и не раз сидевший в царской и советской тюрьмах. В сибирской коммуне нашлось у него немало сторонников. В противовес людям практической и прагматической складки (Мазурин, Моргачев, Зуев, Гурин), которые пытались совместить требования властей с требованиями собственной совести, толстовцы-радикалы требовали полной личной свободы и разрыва с государством. Они заявляли на собраниях, что жизнь в коммуне делает их рабами, что, постоянно стараясь произвести как можно больше продуктов, коммунары духовно скудеют, что в коммуне умирает первоначальная идея — духовного сообщества единомыслящих, единоверящих. Протестанты покидали хозяйство, уезжали на Украину, в Узбекистан, в Киргизию, селились в лесных хозяйствах, на пасеках, безуспешно несколько раз искали места для того, чтобы основать другую коммуну. Им мерещилось трудовое сообщество, где все будут единомысленны и где не будет никакого влияния государственной власти. Но в начале 30-х годов эти мечты уже были лишены реального смысла. Те, кто покидали коммуну, продолжали писать

* В.И.Пыриков из Москвы — Я.Д.Драгуновскому в сибирскую коммуну 13 мая 1933 г.

оставшимся письма, в которых критиковали их прежде всего за отсутствие личной свободы:

«...Мы всяк сам по себе, с своей тропой, своим крестом, с своими планами, думками, грехами и праведностью, — писал из Киргизии бывший коммунар крестьянин Ф.И.Карпов. — Никто из нас, особенно вышедших из коммуны, не похож на другого, у каждого видна резкая определенная личность, чему я очень рад и очень ценю, личность не в смысле приспособления и борьбы за похлебку, а в смысле проявления своей способности, свободной и творческой. Поэтому не будем себя ставить в зависимость друг от друга, ни в устройстве жизни внешней, ни в росте и созревании внутреннем, а будем стараться быть (каждый — *М.П.*) самодовлеющей личностью»*.

Надо полагать, что среди своих единомышленников крестьянин Карпов был настроен наиболее анархически и индивидуалистично. Он отрицал даже саму форму общей жизни в обществе. В ответ на рассказ своих товарищей из сибирской коммуны о трудностях борьбы с природой и властями, он писал в начале 1935 года:

«Изо дня в день, с утра до вечера, жизнь в коммуне, в колхозе, на фабрике держит человека в кандалах несвободы и зависимости, как тела, так и духа... Рабство, трусость, неверие в свои духовные силы, боязнь одиночества, материальных недостатков, внутренняя пустота, неверие в Жизнь Вечную, боязнь страдания — загоняет людей в общественную форму, как рыбу в вершу; уткнутся в тупик носом, ни взад ни вперед без посторонней помощи. Личность теряется, а на ее место рождается что-то рахитичное, жиденькое, безвольное»**.

В конце 1935 года, когда хозяйство коммуны несколько окрепло и сибиряки написали Карпову об этих своих успехах, он ответил в обычной своей мизантропической манере: «То,

---

* Ф.И.Карпов из Джелал-Абада Я.Д.Драгуновскому.

** Ф.И.Карпов из Джелал-Абада в коммуну Я.Д.Драгуновскому. 20 февраля 1935 г.

о чем мы мечтали в коммуне, когда выезжали (из европейской части страны — *М.П.*), есть общий самообман и заблуждение. Нашему брату нет места на земле для устройства особого рая, а для устройства скотных дворов нас принимают всюду, как желанных надежных работников... Вас вот радуют полные подвалы картофеля и капусты, а меня это печалит, потому, что чтобы добраться до Вашей души, теперь надо еще перелезать через капусту и картошку, и чем Вы будете богаче, тем труднее говорить нам, душа с душой»*.

Карпов с его христианским анархизмом находил немало сторонников среди коммунаров. В частности, его горячо поддерживал неоднократно упоминаемый в нашей книге Яков Дементьевич Драгуновский. Этот беспокойный искатель крестьянско-толстовского идеала был решительным противником «хозяйственного» направления коммуны. На собраниях он развивал мысль о том, что материальное обогащение неизбежно ведет к духовному обнищанию. Что физическая работа в поле не цель, а только средство к плотскому существованию, главное же для толстовца — работа над своим сознанием, борьба со своим душевным несовершенством. Надо улучшать себя и помогать улучшаться другим. На одном из коммунарских собраний Яков Дементьевич заявил, что недостаточно собираться в столовой «только для того, чтобы пообедать, поговорить о хозяйстве и попеть одни и те же нравственные песни... Нам необходимо кроме песен иметь свободный обмен мыслями, беседы, окрыляющие душу и двигающие ее к совершенству, беседы, не дающие застаиваться в болоте сектантства и "толстовства", против которых восставал сам Толстой»**.

Кроме проблемы духовного роста и организации жизни, острые споры среди толстовцев вызывал вопрос о государст-

---

* Ф.И.Карпов из Джелал-Абада (Киргизия) в коммуну С.С.Шипилову. Ноябрь 1935.

** Цит. по рукописи И.Я.Драгуновского (сына) «Биография Якова Дементьевича Драгуновского». 1974.

ственных налогах: платить или не платить? Ведь государство пользуется налогами для строительства армии, накопления вооружения, для своих милитаристских планов. Сохранились краткие записи дискуссий, которые вели в ту пору коммунары. Позиция «умеренных» сводилась к тому, что «налог есть закон, а с законом ничего не поделаешь, не станешь платить — попадешь в тюрьму». Да и как не платить, подхватывали другие, если наше имущество (крестьяне говорили «наши сундучки») находится под охраной государства, а возит нас государственная железная дорога.

Высказывалась и другая мысль: пострадать за правду можно, но является ли вопрос о налоге тем главным вопросом бытия, за который не жаль положить жизнь? Спорами в столовой дело не заканчивалось. Как и предсказал Елизар Пыриков, сообщество толстовцев претерпело несколько расколов. К 1935 году существовало уже пять хозяйственных коллективов с различной организационной структурой и принципами распределения конечного продукта. Особую группу составляли ручники — крестьяне, отказавшиеся экуплуатировать домашних животных. Свои участки ручники вскапывали и боронили вручную.

Историку, полвека спустя изучающему споры советских крестьян-толстовцев, нет смысла становиться на чью бы то ни было сторону. Обе стороны были искренни, у каждой были свои резоны и обе заплатили дорогую цену за право отстаивать свою точку зрения. И сторонники компромисса с государством, и поборники христианского анархизма пошли в свой черед в лагеря и тюрьмы, в ссылки и под пули расстрельных команд. Общность судьбы их не должна удивлять: большевистские власти не видели и не хотели видеть разницы между теми и другими. Все толстовцы, невзирая на их разногласия между собой, должны были исчезнуть, сгинуть, раствориться. Такова была партийно-государственная установка в середине 30-х годов. И к этому все шло.

Поначалу никто из коммунаров не хотел в это верить. Возрастающие день ото дня придирки и гонения рассматривали они как недоразумения или результат административ-

ного азарта того или иного чиновника. Но не в отдельных тут было дело... Переселенческая организация, под эгидой которой толстовцы переезжали в Сибирь, вскоре прекратила свое существование. Коммунары попали в ведение районных советов. Эти местные власти не желали ничего слышать о льготах и каких бы то ни было привилегиях, которые по закону на три года предоставляются переселенцам. На только что возникшую коммуну взвалили непосильные налоги, поставки, трудовые повинности. Борис Мазурин подробно описывает нравы тех лет:

«Еще в первую зиму 1931-1932 года с нас потребовали сена. Мы ответили, что мы плановые переселенцы и нам даны льготы на три года, и сено не повезли. Один раз у нас было воскресное собрание. В столовой собралось много народа, все взрослые. Вбежал взволнованный Андрей Самойленко: «Там приехал целый обоз из города и накладывают наше сено!» Все были очень взволнованы: не дать! Но все же, несмотря на возмущение, было принято решение, — никому не выходить, продолжать собрание. «Это их дело, наше дело не раздувать зла». И когда мимо окон столовой проехали один за другим воза, нагруженные нашим зеленым, трудовым сеном, с особенным воодушевлением зазвучали в зале слова песни:

Буря грозная настанет,
То предвестие зари,
Пред властями и царями
Не склоняйте головы!

Мощно звучали голоса, и по спине бегали мурашки от наплыва чувств. Ни страха, ни жалости об отнятом; не озлобление, а спокойная твердая решимость — быть на своем, не становиться на путь взаимной злобы...»

Безнаказанно отобрали сено, потом стали так же безнаказанно забирать другие продукты труда коммунаров. Толстовцы ездили жаловаться в краевые организации — их не желали слушать. Писали в Наркомзем — чиновники Народ-

ного комиссариата земледелия отсылали жалобы во ВЦИК: «там вашими делами ведают». ВЦИК до поры до времени наиболее дикие беззакония местных властей пресекал, но лишь до поры до времени. Там тоже менялись люди, менялись нравы. Да и невозможно было по каждому поводу (а поводов таких было множество) обращаться в высшую администрацию страны.

Однажды Мазурину пришлось отправиться в Москву, в Генеральную прокуратуру СССР. Случилось это после ареста группы членов Совета коммуны. Дело было совершенно беззаконное. Каждую зиму от коммуны требовали отправлять лошадей на лесозаготовки. Лошадей в коммуне не хватало: на них возили из лесу дрова, сено. Весной с лесозаготовок кони возвращались вконец вымотанными. Не успевали они набраться сил, как начиналась посевная страда. Приняв все это в расчет, общее собрание коммуны решило лошадей на государственные лесозаготовки не отдавать. Тем более, что переселенческие льготы включали освобождение коммуны на три года от лесозаготовок. Кончилась эта история трагически: районные власти увели лошадей силой, а нескольких членов Совета коммуны предали суду. То был один из бесчисленных случаев, когда советская власть попросту отказывалась исполнять свои собственные законы.

Добравшись до Москвы, посланец коммунаров попытался попасть на прием к знаменитому Аарону Сольцу, старому большевику, члену партии с 1898 года, который в те годы был членом Верховного суда и работал в Прокуратуре СССР. Про Сольца шла слава, как про человека справедливого и внимательного к народным нуждам. После долгих и безуспешных попыток Борис Мазурин до Сольца все же добрался. Тот прочитал заявление крестьян, поставил на нем свою резолюцию и направил ходока в какой-то кабинет. «Я пошел было, — вспоминает Б.В.Мазурин, — но что-то меня удержало. Я отошел к окну и прочитал резолюцию. Точно ее не помню, но смысл был такой: «им

мало дали, надо дело пересмотреть и увеличить срок». Я сунул бумагу в карман и уехал в Сибирь».

Осенью 1931 года местные партийные власти решили с коммуной толстовцев покончить. Кузнецкий райисполком постановил «Жизнь и Труд» ликвидировать. Председатель райисполкома, явившись в коммуну, стучал кулаком по столу, требовал, чтобы ему отдали печать и устав. Печать ему не отдали. Для коммунаров снова началась пора борьбы. Посылали ходоков в Москву, писали письма и заявления в высокие учреждения. К весне 1932 года ВЦИК, наконец, принял спасительное для коммунаров решение.

Вот эта бумага:

Кому: т.Смидовичу П.Г., Западно-Сибирскому Крайисполкому, Кузнецкому райисполкому, Наркомзему РСФСР.

Выписка из протокола №38.

Заседание от 2 марта 1932 года Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета Советов.

СЛУШАЛИ: Постановление Кузнецкого райисполкома Западно-Сибирского края от 23 ноября 1931 года о роспуске толстовской коммуны «Жизнь и Труд» (внесено бюро фракции ВКП(б) ВЦИК Д. № Ц.П. 07(2-01).

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Обратить внимание Западно-Сибирского крайисполкома на нарушение Кузнецким райисполкомом постановления Президиума ВЦИК от 20 июня 1931 года о переселении толстовских коммун и сельскохозяйственных артелей в Кузнецком районе Западно-Сибирского края.

2. Предложить Западно-Сибирскому крайкому: а) немедленно отменить решение Кузнецкого райисполкома от 23 ноября 1931 года о роспуске коммуны «Жизнь и Труд», б) рассмотреть хозяйственные вопросы, связанные с восстановлением и укреплением коммуны «Жизнь и Труд» и принять необходимые меры.

3. Предоставить коммуне «Жизнь и Труд» на общих основаниях установленные законом льготы для переселенцев.

Секретарь ВЦИК: Киселев
Верно: Делопроизводитель Секретариата
ПредВЦИК Паролова
Печать: Секретариат Председателя ЦИК СССР

Документ дошел до адресатов. Решение о роспуске толстовской коммуны отменили. Но беззакония продолжались.

«Мы хотели одного, мирно жить, заниматься любимым трудом, нужным обществу, и поступать в нашей личной и общественной жизни так, как подсказывал нам наш разум и наша совесть, что так сильно выражено в учении Льва Толстого», — писал позднее Борис Мазурин. Но в обстановке сталинского режима эта скромная мечта маленькой колонии сибирских земледельцев оказалась совершенно невыполнимой. Коммуна толстовцев была обречена…

Глава VIII

ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ РАССКАЗЫВАЕТ...

«Толстовская коммуна была обречена...» В 1932-33 годах Борис Мазурин и его товарищи ни за что не согласились бы с таким предсказанием. Хотя за время советской власти они пережили немало потрясений, казалось совершенно недостоверным, чтобы идущее к коммунизму государство рабочих и крестьян (в том, что послеоктябрьская Россия представляет собой именно такое государство, толстовцы не сомневались) стало разорять коммуну, где, не обогащая себя, люди трудятся на коммунистической основе для общего блага. Такое предположение казалось абсурдным еще и потому, что с каждым годом коммуна давала все больше овощей, картофеля и хлеба на стройки соседнего города Сталинска (бывшего Новокузнецка). Разорить такую житницу? Зачем? Кто это позволит?!

Коммунар Дмитрий Егорович Моргачев, чье имя нам уже не раз встречалось в этой книге, был одним из тех, кто особенно страстно исповедовал идею коммуны, верил в прекрасное будущее страны и своего родного хозяйства. Этот рослый, широкий в кости крестьянин с бритой наголо головой и пушистыми «запорожскими» усами умел не только пахать и сеять, гонять плоты по бурной реке и укрощать непокорных коней, но и знал толк в серьезной книге, любил поспорить на религиозные и социальные темы, а главное имел несокрушимые нравственные принципы.

По существу это был крестьянин-интеллигент, искатель истины, человек той формации, которая в различных вариантах была широко представлена в коммуне «Жизнь и Труд». Дмитрий Моргачев оставил интересное описание своей жизни. «Моя жизнь» Моргачева — жизнь стремящегося к культуре и правде земледельца, кормильца страны, которого под корень вырубали в СССР с самого начала сталинского режима. Читая Моргачева, узнаешь и прошлое этих людей и то, каким путем они пришли к Толстому, какие идеалы сберегли и как соотносили себя с окружающим их миром. Вот некоторые выдержки из этой рукописи, которая, как мне кажется, станет со временем одним из основных источников по истории русского крестьянства. На моем машинописном экземпляре, посланном из города Пржевальска (Киргизия) в Москву, стоит «1974 год». Это значит, что Дмитрий Егорович закончил свое жизнеописание в возрасте 82 лет за четыре года до своей кончины. Итак, Дмитрий Егорович рассказывает...

*

«Я родился в октябре 1892 года в семье крестьянина села Бурдина, Тербуновской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии (ныне Липецкая область, Тербуновский район)... По отцовской линии дедовское родство было бедное, ходившее на моей памяти на отхожие заработки: в Донбасс, на шахты и в Ростовскую область на пароходы. По материнской линии родные были богатые крестьяне соседнего села Тербуны — они имели купленную землю и жили безбедно. Дедушка, будучи старшиной, купил себе 18 десятин. Во-вторых, он был авторитетным человеком и посватал к сыну своему Егору невесту из богатой крестьянской семьи. Приданого дали за ней 6 десятин земли. Женился мой отец примерно в 1885 году.

...Когда умер отец, а умер он молодым, 22-23 годов, мне было 2 года, а брату Михаилу 2 месяца. Через шесть месяцев умерла бабушка, а через год и дедушка, поэтому

я никого не помню... Осталась одна мать с двумя ребятами. Дом был хороший, кирпичный, изба, через сени горница, все с полом, что было редкостью в нашей местности... Сельским сходом мать была избрана опекуншей сиротского имущества нас двух маленьких братьев. Все имущество и скот были переписаны сельским старостой, по предписанию волостного старшины и сдано моей матери под расписку... Ежегодно мать отчитывалась перед сельским сходом в присутствии волостного старшины».

Мать Моргачева умерла от чахотки. Дети остались сиротами. Опекуном назначен был отчим Дмитрия, пьяница. Дмитрий Егорович вспоминает:

«Мне уже стало 11-12, я уже пахал сохой... А ведь сохой труднее пахать, чем плугом. У сохи две ручки, а за эти ручки все время держишься, управляешь сохой, заносишь на поворотах. Нелегко это было. В школу я ходил около трех лет. Легко мне давалась математика и Закон Божий. Священник любил меня... Священник был старый, он хотел устроить меня в город учиться как сироту и способного к ученью, но мои родственники по матери не соглашались со священником — у них есть земля, пусть работает на ней.

В это время наш отчим стал больше пить... Собрали сельский сход — обсудить вопрос о сиротах Моргачевых. На сходе старики подтвердили, что отчим пьет, и сход постановил немедленно нашему неродному отцу выбраться из нашего дома со своей семьей. Весь наш скот продать, а деньги вырученные отдать в сиротскую сберегательную кассу, до нашего совершеннолетия... Мы с братом пошли батрачить к нашим родственникам... Работали бесплатно, работы было много, сеяли хлеба десятин по 30-40, было много лошадей, с которыми я возился днем и ночью... Мы с братом Михаилом перешли осенью 1909 года в свой дом жить; в работниках прожили мы более четырех лет. Последний год я уже получал 30 рублей».

Молодому одинокому крестьянину нужна была жена — работница и хозяйка. Женился Дмитрий Моргачев по осо-

бому разрешению архиерея: жениху исполнилось лишь 17 с половиной лет. Моргачев пишет:

«В первых числах мая 1910 года состоялась наша свадьба с девушкой Марьяной, с которой живу доныне. Мы поженились, не зная и не думая ни о какой любви, даже не зная друг друга до свадьбы. Так делали все. Нужна была женщина в доме, работать, стирать, варить. Конечно знал я и она, что будем спать вместе и будут у нас дети, которых надо растить и воспитывать. Всего родилось у нас 10 детей, из которых 6 выросли...

Осенью староста в 1910 году собирает сельский сход, десятские оповещают народ итти на сход, что будет какой-то агроном. Что такое агроном, никто не знал, но хотелось узнать, сходка собралась большая. Пошел и я. Агроном, представительный человек лет тридцати, докладывает собравшимся: «Елецкое земство ставит вопрос о поднятии сельского хозяйства. Оно дает вам быка симментальской породы бесплатно, хряка йоркширской породы бесплатно, барана шерстистого, который дает за один настриг 12 фунтов. Кроме того, предлагает открыть здесь прокатный пункт сельскохозяйственных машин и орудий. На первый случай дадут вам бесплатно минеральных удобрений: костяной муки, суперфосфата и томасшлака, чтобы вы убедились на своем собственном поле о выгоде минеральных удобрений, а на приусадебном участке дадим вам бесплатно несколько фунтов семян люцерны, которую можно косить на зеленый корм до 4-х раз в лето, и семян кормовой свеклы, корнеплоды также необходимы для молочного скота. Далее агроном докладывает, что Елецкое земство уездное открывает в Ельце с/хоз. курсы на 50-60 дней, где будет бесплатное питание и квартира... Прошу вас, старички, записываться на курсы, это для вашей же пользы, чтобы у вас был хороший скот, земля давала большие урожаи хлебов и трав.

Но никто не записывался, агроном несколько раз повторял свою просьбу. Я сидел около стола, агроном посмотрел на меня, я улыбаюсь: и хочется ехать и думаю: стоит ли

ехать и деньги тратить на поездку. Он достал бумажник, вынул 3 рубля и подал мне: «Вот тебе на дорогу».

...В назначенное время мы приехали в Елец. Нас поместили в «Доме трудолюбия» на Сенной площади... Все это было поздней осенью 1910 года, в то время умер Лев Толстой, и здесь я в первый раз услыхал в частных беседах о Льве Толстом. Одни говорили, что он безбожник, не признает ни Бога, ни церкви, ни царя, и его проклинают в церквах, как Стеньку Разина-разбойника. Другие говорили, что он хороший человек и писатель, известный всему миру. Но все эти впечатления не затронули меня и никакого впечатления не осталось от Толстого...

В июле 1911 года я приступил к организации потребкооператорского общества, целью которого было снабжение членов товарами и в то же время получался подрыв торговли лавочников. Зимой 1911 года Елецкое уездное земство открыло вторичные курсы, куда был приглашен и я на два месяца. На этот раз обещали нам дать бесплатно десять корней саженцев плодовых деревьев для раздачи крестьянам при условии, что они будут ухаживать за деревьями по инструкции... Прошло уже более пятидесяти лет с того времени и я вспоминаю с благодарностью, какие большие усилия делала русская общественность для развития сельского хозяйства и тем самым для повышения благосостояния крестьянства...

Осенью 1913 года меня вызвали на рекрутский набор в солдаты для жеребьевки... Подошел я к ящику со жребиями, и копался в них, все хотел, чтобы достался дальний номер, в запас, и вытащил номер первый! На следующий день вызвали на врачебно-военную комиссию. Раздевались наголо, хотя и стыдно было, но делать нечего, там уж не свой. На весы — кричат 4 пуда 21 фунт. Подхожу к врачам — посмотрели в рот и в задницу. Еще повернись. Кричат: годен...

Со мной в 4-й роте был один небольшого роста солдат, по фамилии, кажется, Челноков. Он был из Ясной

Поляны. Он лежал рядом, и вот от него-то я и услыхал опять о Льве Толстом. Челноков, бывало, рассказывал: «Добрый был барин, граф, писатель. Он много помогал людям бедным, учил наших сельских детей в своем доме. Он писал и говорил народу о Боге, о царе, о попах и войне. Он говорил, что люди должны жить мирно, не воевать и помогать друг другу и не ходить в солдаты... Детей у него было много, они приходили к нам в село, играли с нашими сельскими детьми и приглашали к себе, но жена его была злая, все хотела нас наказывать за лес, за скот, то есть за порубку и потраву, даже наняла чеченца стражника караулить все от нашей деревни». Но все эти рассказы о Толстом нисколько на меня не действовали, проходили мимо ушей, не задевая ничего в сознании. Я отвечал ему (Челнокову — *М.П.*): "Как же не бить врагов, когда они хотят нас забрать?.."»

Моргачев подробно описывает свои переживания на Первой мировой войне. Он был ранен дважды, второй раз взрывом гранаты (в августе 1915-го) очень тяжело. В груди было 15 осколков, в голове шесть и один в левом глазу. Его доставили в госпиталь, где он пролежал несколько месяцев. Здесь в госпитале и произошла у него третья решающая встреча со Львом Толстым.

«Я попросил почитать Толстого, и мне дали маленькую книжечку. Я ее читал вдумчиво. Прочитал другую, третью, читал только Толстого, и так около двух месяцев. Читал — не помню названия ни одной книги, читал о войне, о вере, о государстве... Я полюбил Толстого и поверил ему, его чистосердечной правде и истине. Много и много открылось мне из книг Толстого. Я не слышал никаких лекций о Толстом, никаких бесед о нем, все это пришло в мой маленький умок — не ум, после долгих переживаний, начиная с детства и кончая войной... Я прошел комиссию и был освобожден начисто... Мы поехали домой... в радостном настроении, хотя я только с одним глазом, другой был погублен войной навсегда.

...В феврале 1917 года пришла революция, как-то сразу все стало поворачиваться по-новому... Начались съезды волостные, уездные, губернские... Меня уполномачивали на все съезды... На одном из съездов в Ельце я резко выступил с критикой новых и старых начальников. Однажды во время перерыва ко мне подходит начальник станции Долгоруково и говорит: «Есть у меня в деревне друг-толстовец, который так же смело говорит, он даже лично был знаком со Львом Толстым». Мне сразу захотелось увидеть его. После съезда я поехал на станцию Долгоруково, а оттуда 8 верст до деревни Грибоедово, и нашел там Гуляева Ивана Васильевича; ему было уже лет пятьдесят. Познакомился с ним как с единомышленником Толстого, ночевал там три ночи. У него было что почитать, а главное — было, что от него послушать. Он много влил в мою душу светлого и чистого. Иван Васильевич хорошо рисовал и писал хорошие стихотворения о жизни. Впоследствии в 1931 году переселился в Сибирь и жил в коммуне «Жизнь и Труд». Вместе нас судили в 1936, и мы отбыли по 10 лет в тюрьмах и лагерях.

...В конце 1918 года более зажиточное население было обложено не обычным налогом, а повышенным, которого раньше не брали с населения. Некоторые отказывались платить, говоря, что нечем. В декабре таких стали сажать раздетых в холодные амбары на ночь при 20 градусах мороза в нашем селе Бурдино. На сельском сходе я выступил с критикой и порицанием таких действий сельсовета и представителей из города Ельца. Через день был волостной съезд, такие случаи были и в других селах, и на этом съезде нас выступало уже несколько человек против такого бесчеловечного отношения к людям. Говорили «Только от одних деспотов царизма избавились, а здесь появились другие не лучше». 24 декабря нас арестовали пять человек и отправили в Елец в чрезвычайку*.

* Чрезвычайка — ЧК — Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Организована в 1918 г.

Большой хороший дом занимала чрезвычайка. На стене у входа вывеска прибита вертикально и на ней надпись: «Чрезвычайка», и от каждой буквы вправо и влево — отросток: змея с разинутой пастью. Одна вывеска пугала людей. Нас загнали в подвал, в полную темноту... Нас обвинили как анархистов-толстовцев, тормозящих сбор налогов для государства. Потом отправили в тюрьму... В тюрьме у меня было одно свидание с Марьяной. Обстановка свидания точно такая, как описано Толстым в «Воскресенье», когда Нехлюдов приходит к Катюше Масловой.

В процессе следствия все же выяснилось, что мы были активными работниками правления волостного земства и выступали на собраниях против незаконных и противочеловечных действий лиц, которые грубо обращались с народом во время сбора налогов. Нас освободили в марте 1919 года и мы вернулись домой. В это время происходили выборы в Советы. Я был известен, как человек общественно деятельный, не только в своем селе, но и в волости, и несомненно был бы выбран, но я категорически отказался и выбирать и быть избранным...

Я не один десяток раз бывал в Елецком земстве (до революции — *М.П.*), какой там бывал порядок: все разговаривали вежливо: «Садитесь, я вас слушаю», и тут же дают тебе совет или распоряжение, что тебе нужно. А какая же бестолковщина и суматоха во всех учреждениях после революции! Даже за столом ругаются и тут же смеются своей пошлости и глупости. А то все кричат: "К стенке его поставить!.."

Летом 1920 года мы, друзья, все же решили окончательно сойтись в коммуну*... В июле после уборки ржи приступили к переселению. Моя жена Марьяна Илларионовна не хотела итти в коммуну, детей у нас уже было трое. Я ей дал время — трое суток — думать, и если она не пожелает итти в коммуну, я ей оставляю все хо-

---

* Друзьями Дмитрий Егорович называет крестьян — единомышленников Толстого.

зяйство, а сам все же уйду в коммуну. И действительно бросил бы ее в то время, но она сказала: «Делай как хочешь, а я буду с тобой»...

Как известно, 1921 год был очень голодный, особенно в Поволжье, где в 1920-м году хлеб был весь вывезен... Пришла осень. Сельсовет потребовал сдачи хлеба для голодного Поволжья. Мы заявили, что голодает там население по вине государства, которое отобрало хлеб от населения, а в Поволжье периодически бывают недороды хлеба. Мы согласны взять детей из Поволжья, как невинных существ, человек 10-12, и кормить их до нового урожая, но хлеб сдавать не будем. В начале 1922 года мы были арестованы и отправлены в Елецкую тюрьму — я уже в третий раз. Началось следствие. Мы так и заявляем следователю, что виновато в голоде государство, отобравшее хлеб у крестьян... Мы и на суде говорили то же, что и на следствии, и просили дать нам нескольких детей из голодающих для прокормления, так как дети невинные существа. Народ шептал: «Эти отжились, — так говорят о государстве»... Суд задавал много вопросов. Совещание судей трибунала продолжалось более 2-х часов. Уже был вечер, когда судьи зачитали приговор: ввиду искренности подсудимых и их убеждений, суд решил: обвиняемых освободить, а хлеб у них взять в порядке конфискации, сколько такового найдется, бесплатно...

В коммуне нам пришлось (после суда и конфискации зерна — *М.П.*) установить крайне ничтожный паек: по 100 грамм хлеба на душу, но все же у нас был хлеб зерновой, а другие пекли хлеб почти из мякины и дубовой коры, а у кого была лебеда, то говорили: «Это не беда, что в хлебе лебеда, а хуже нет беды, когда ни хлеба, ни лебеды». Многие говорили, что дети не понимают, что нет хлеба и просят и просят и плачут: «дай хлеба». Это неправда. Дети все понимают, во время нашей голодовки хлеб всем давался на руки, а дети посмотрят на свой кусочек, лизнут его и опять приберегут...

Осенью 1923 года построили небольшой домик для школы, так как детей надо было учить... Они и жили вместе с учительницей, там и варили. Детей мы отделили потому, чтобы дети наши воспитывались без семейных дрязг, а в служении и помощи друг другу, чтобы они не знали личной собственности, а признавали бы общественную и пользовались ею сообща.

Мы порвали полностью с церковью, никогда туда не ходили. Детей не крестили, даже в сельсовете детей не регистрировали. «Но какая же у них вера» — многие думали, гадали и наконец кто-то придумал, что мы католики, а сокращенно стали звать нас «котлы»... В деревне Языково ночевал прохожий и что-то у них украл, и они перестали пускать на ночлег, а отсылали к нам:

— Вон там живут «котлы», они никому в ночлеге не отказывают.

И действительно мы никому не отказывали, даже дверей не запирали на крючки и засовы. Также не замыкались и амбары с хлебом».

Далее Дмитрий Егорович рассказывает, что толстовская коммуна просуществовала в деревне недолго: из-за споров между женщинами коммунарам пришлось согласиться на превращение коммуны в артель с разделом общего имущества. Это произошло в 1924-м. Тогда же Моргачев побывал в Москве, в Вегетарианском обществе, где по просьбе Владимира Григорьевича Черткова он выступил перед столичными толстовцами с рассказом о своей жизни и о своем понимании заветов Толстого.

«Наступил 1929 год. Началась коллективизация в районе, где наш колхоз был единственный. Все начальство района вело агитацию за коллективизацию, а их упрекали и даже смеялись: «Нас хотите собрать в колхоз, а сами не идете». Тогда они из разных селений подали заявления в наш колхоз, чтобы им легче было вести агитацию за коллективизацию. Нам не понравилась такая подделка, и мы на общем собрании артели отказали в приеме в члены начальству райисполкома. Это, конечно, их очень обидело и восста-

новило против меня... Районное начальство разделалось со мной: вычистили из колхоза как «сектанта-толстовца» и раскулачили меня, взяли корову и барахлишко, лошадь же моя находилась в колхозе...

Я продолжал работать председателем колхоза, весь колхоз состоял из наших друзей (толстовцев — *М.П.*), и они не соглашались с районным начальством переизбрать меня. А я шел напролом. Бывали такие случаи: в моем отсутствии добьются у актива бедноты какого-либо решения против меня, а в моем присутствии ни один не поднимает руку против меня. Какой-нибудь уполномоченный с ума сходит, что беднота на моей стороне. Так прошел весь 1929 год. Во время молотьбы прокурор района приехал меня арестовывать, а я был на стогу соломы, которая подавалась лошадью. И так они постояли, поговорили со мной и не взяли...

В январе (1930 года — *М.П.*) я выехал в Москву... Приехал к Черткову В.Г., он меня принял радушно, как знакомого. Рассказал о готовящемся переселении. Я сказал ему, что я тоже хочу переселяться к друзьям-единомышленникам Толстого. Чертков направил меня в подмосковную коммуну "Жизнь и Труд"...»

В Сибири Дмитрий Егорович, как и все коммунары, занимался строительством, овощеводством и садоводством, кроме того, заботился в качестве завхоза о толстовской школе, реализовывал на рынке выращенные коммунарами овощи. По работе приходилось ему иметь дело с общественными деньгами, с немалыми подчас суммами. Он чувствует себя хозяином жизни, человеком, наделенным большими полномочиями, высокой ответственностью. В этой связи появляются в его автобиографической книге отступления, посвященные чести крестьянина, роли нравственности в жизни коммунаров.

«Вся наша жизнь в коммуне, — пишет он, — строилась на честности и полном доверии друг к другу. Со всеми столовыми (куда толстовцы поставляли овощи — *М.П.*) расчет производился через банк перечислением, а деньги,

вырученные на базаре, передавались мне, а я их передавал в коммуну или сдавал на текущий счет в госбанк. Я уже сказал, что все было основано на честности, на совести. Я уже знал, например, сколько должно быть получено за воз огурцов, и когда продававший сдавал деньги мне, то я видел, что полностью, но были и такие случаи: чувствуешь, что деньги сданы не все, но я никому не говорил об этом, даже не делал замечания этому человеку лично, а пишу только теперь через 35 лет. Да, совесть — великое дело, тем более, когда тебе доверяют, и вот этот человек чувствует сам за собой грех присвоения, всегда стыдился, ине только меня, но и других. Ему казалось, что все знают об этом, что он нарушил доверие, оказанное ему».

Когда читаешь рукописи толстовцев — Моргачева, Янова, Мазурина, Анны Малород — видишь, что проблема нравственности не была для них абстракцией. Политическая обстановка начала 30-х годов каждый день каждого из них ставила перед выбором: остаться ли верным своим принципам и подвергнуть себя и свою семью смертельной опасности или предать друзей и сохранить жизнь, свободу, благополучие. То был роковой выбор и выбирать приходилось постоянно. Дмитрий Егорович рассказывает:

«В коммуне решили построить водопровод. Мне поручили достать водопроводных труб. На Верхней колонии был утильцех, где было много труб: и новых, и забракованных, и погнутых, но вполне для нас пригодных. Договорились с заведующим утильцеха, я взял рабочих, отобрал трубы, погрузил на трех- и четырехпарные брички, написали фактуру. Я уплатил деньги. Переправились через реку и поехали по дороге в коммуну. В селе Феськи меня встретил уполномоченный ОГПУ Попов, приказал свалить трубы в Феськах, а меня арестовали и привезли в Первый дом... Попов меня штурмовал, добивался, чего ему надо. Предлагал мне материальную помощь: мы знаем, что ты из бедных, имеешь много детей, мы будем тебе помогать, но ты должен с нами разговаривать и чтобы

никто из членом коммуны об этом не знал. Я заявил ему, что нужды ни в чем не имею, всем я и семья обеспечены, разговаривать я с ним готов, но открыто, и чтобы все о разговоре было известно всем коммунарам. А где есть тайна, там для меня есть ложь и подлость. Попов начинает сердиться и с криком говорит мне: «Ты сгниешь здесь в этих стенах!» Я отвечаю ему: "Все равно где-нибудь гнить, и вам тоже придется — сгниете".»

В тот раз Дмитрий Егорович просидел в тюрьме ОГПУ два месяца.

«...Однажды следователь Попов вызвал меня ночью на допрос, хотя это было обычное дело, и задает мне вопрос: «Признаешь ли ты советскую власть?» Вопрос колкий. Я задумался, что ответить следователю, а мысли в голове бегут одна за другой, а я молчу. Следователь несколько раз требует ответа и говорит: «Что у тебя языка нет или не действует?» А я сосредоточенно думаю и наконец пришел к выводу: если я стал на этот путь, то чего же мне бояться, скажу откровенно.

— Я не признаю никакой власти насильственной.

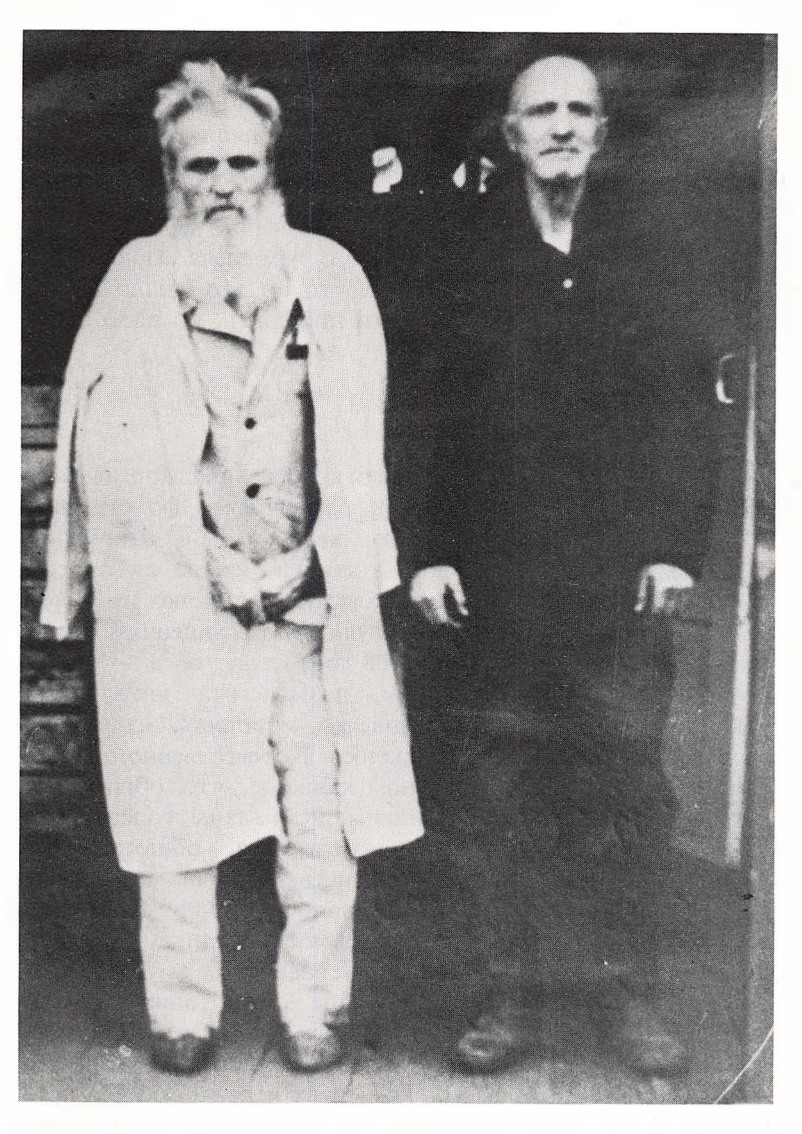
Попов громче: — А советской?

Я отвечаю: — Никакой!

Наконец Попов крикнул, сколько у него было силы: «А советской?» — и вскочил и так сильно ударил по столу кулаком, что стол подпрыгнул и все, что на столе: папки и чернила и все упало на пол. Я сижу и не шелохнусь, гляжу на следователя и тут же решил, что не буду больше с ним разговаривать. Он посидел немного, поднялся и стал собирать с полу все, что упало со стола. Наконец, начинает спрашивать у меня про другое. Я молчу. Так он несколько раз обращался ко мне, что не отвечаешь? Я сказал, что не желаю разговаривать с ним... Он вызвал охрану и сказал:

— Возьмите эту сволочь и дайте ему так, чтобы он с третьего этажа до низу по лестнице полз...

Прошло около двух месяцев со дня моего ареста. Вызывает следователь и говорит: «Мы вас отпускаем, выясни-



Бывшие члены коммуны «Жизнь и Труд» крестьяне-толстовцы В.Янов и Литвинов. Дер. Машуковка Красноярского края. 14.05.1971.

ли, что трубы были куплены правильно, но ты дашь нам подпискую что ты никому не расскажешь, о чем здесь говорили». Подписки я никакой не дал. «Ну, смотри, запомни и молчи». Я понял, что трубы были только предлог, а просто им надо было найти человека, который давал бы им тайно сведения о коммуне.

Пришел я в коммуну вечером и вечером же состоялось общее собрание, где я доложил, о чем меня спрашивали и что мне обещали... Я сказал, что об этом надо всегда помнить, еще многие могут там побывать, но надо вести себя честно перед друзьями».

*

Читая бесхитростные записки крестьянина Моргачева (к его судьбе мы еще вернемся), разглядывая фотографию этого богатырски сложенного, красивого, с открытым взглядом человека, вспомнил я статьи Ленина о Толстом и даже не сами статьи, а то хлесткое словечко из одной статьи, которое пошло потом гулять по сочинениям советских авторов. Для Ленина (1908 год) «толстовец — истасканный, истеричный хлюпик, называемый интеллигентом...» И ничего более. Словечко «хлюпик», «хлипкий» несчетно раз потом варьировалось в отечественной прессе и так укоренилось в газетном обиходе, что обывателю начало казаться, что не хлипким, не жалким толстовец и быть не может. В представлениях советского общества произошла подмена реальных толстовцев выдуманными, газетными, каких никогда не существовало в природе. Подменой этой много лет занималась советская пропаганда.

Ленин в 1908 году воевал с ненавистной ему демократической интеллигенцией. В начале 30-х Сталин добивал свободное крестьянство. К этому времени подавляющее число еще сохранившихся в России толстовцев уже пахало землю, причем пахали ее в коммунах и колхозах. Но пропагандистов тридцатых годов не интересовали факты, они продолжали повторять затверженные ленинские анафемы.

Никакой «хлипкости», кстати сказать, не проявили в советские годы и последние толстовцы-горожане. Высокое гражданское достоинство, строгую ответственность за свои личные и общественные поступки проявили друзья Толстого: Чертков, Бирюков, Горбунов-Посадов. Но твердость духа проявили в обстановке сталинского террора и рядовые толстовцы. Ныне здравствующий толстовец журналист Илья Петрович Ярков в своей автобиографической рукописи вспоминает, как в 1928 году в Самаре следователь ОГПУ Подольский пытался завербовать его в сексоты. Когда после многочасовых «бесед» Ярков все-таки отказался шпионить за своими единомышленниками, раздосадованный следователь заорал: «Ишь, какой х л ю п о̀ к выискался!» За сим последовала площадная брань и угрозы сгноить в Сибири*. Завершая этот столь типичный для советской действительности эпизод, Ярков, который за свои убеждения провел в тюрьмах и ссылках многие годы, пишет: «Я не только никогда не грустил об утраченной возможности выйти на свободу... но, напротив, всегда был искренно рад, что совесть или что другое не позволило мне купить освобождение ценою оказания ОГПУ "кое-каких" услуг**. О "хлипкости" этого толстовца-горожанина говорить, как видим, не приходится. О "хлипкости" Дмитрия Моргачева, Бориса Мазурина и их единомышленников-коммунаров читатель, очевидно, также сложил себе определенное мнение.

И тем не менее, болтовня о "хлипкости" толстовцев продолжалась и продолжается доныне.

Книжка пропагандиста-антирелигиозника Федора Путинцева, озаглавленная «Политическая роль и тактика сект», снова вопреки всякой реальности твердит: «Последователи религиозного учения Л.Н.Толстого называются толстовцы. Их немного. В большинстве своем это хлюпкие интеллигенты, занимающиеся нравственным самоусовершенствова-

* И.П.Ярков. «Моя жизнь». Часть V, глава 1. Самара (1928-1929). Авторский экземпляр.

** Там же.

нием и опрощением в целях приближения к "народу"»* В том самом 1935 году, когда в Москве вышла эта полная мифов книжка, реальные толстовцы из сибирской коммуны «Жизнь и Труд» напрягали свои силы, чтобы спасти от государственного террора очередной клочок своей свободы. На этот раз речь шла о школе для детей коммунаров.

Жертвой властей стала учительница Анна Степановна Малород.

---

* Ф.Путинцев. «Политическая роль и тактика сект». Государственное Антирелигиозное издательство, М., 1935.

Глава IX

ШКОЛА АННЫ МАЛОРОД

Она умерла семидесяти шести лет, 31 августа 1971 года. Умерла там же, где прожила последние сорок лет, — в сибирской деревушке Тальжино, неподалеку от места, где когда-то была толстовская коммуна, где стояла срубленная из мощных сосновых бревен её школа. Вместе с письмом о кончине Анны Степановны Малород друзья прислали мне несколько старых любительских фотографий, две школьных тетради с ее стихами и самодельную книжечку — послевоенные ее дневники (1948-1969). Она вела их почти до конца своих дней, записывая не столько обстоятельства жизни, сколько главные заветные мысли. Иногда то были полюбившиеся строки из Льва Толстого или Амиеля*, но чаще, оставаясь наедине с собой, она размышляла над несовершенством своих поступков, своего поведения. Весь век эта школьная учительница преподавала себе смирение, чистую совесть, чуткость к людям. Откровенно говоря, дневник ее показался мне поначалу однообразным. Но перечитывая густо исписанные страницы, я понял причину этой внешней однотонности: разве не однообразны наши прегрешения и не монотонны ли человеческие соблазны?

* Анри-Фредерик Амиель (1821-1881) — швейцарский философ и поэт. Толстой высоко ценил книгу Амиеля «Journal intime». Книга вышла на русском языке в переводе Марии Львовны Толстой с предисловием Л.Н.Толстого (1901 г.).

В старости она осталась одинокой и нищей. У нее не было даже того, что имеют самые бедные люди — своего угла, жить приходилось хоть и у хороших, но у чужих людей. Единственные источники существования — огород да пенсия в 28 рублей в месяц. В возрасте 65 и 75 лет она ведрами носила воду из колодца, лопатой вскапывала огород, таскала охапками дрова для печи. Но по-прежнему оставалась строга к себе. Писала: «Если не буду трудиться — по своей силе — и себя обслуживая и еще какую-нибудь маленькую пользу принося людям, — то лучше умереть...» (10 июня 1960 года).

Ее мучили сильные боли в суставах, давал знать полученный в лагере костный туберкулез. Рос горб. Она страдала от грубой пищи, от одиночества, от душевной глухоты окружающих. А в дневнике писала: «Сначала меня смутила моя большая пенсия... но потом я подумала: вокруг меня много нуждающихся, буду им выделять из своей пенсии: Тамаре, Рае Стрижовой, Поле слепой, Баран Марусе. Зачем копить...» (17 ноября 1957 года). И еще: «Улыбка, улыбка всегда! Ведь улыбка так мало нам стоит, так много нам счастья дает...» (11 января 1953 года).

С давних фотографий смотрит миловидная, невысокого роста женщина в беретике на бок, как носили в начале тридцатых. Состарившись, она сохранила живой взгляд доброго и неравнодушного человека. Какой ветер занес жительницу большого южного города в сибирскую глухомань? Почему, пианистка, художница и поэтесса, отправилась она с мужем на далекий Север, туда, где на голом месте начала строиться коммуна толстовцев?* Анна Степановна не любила говорить об этом. И только дневнику доверила: «20 ноября 1960 года. Сегодня 50 лет со дня

* В Бюллетене Московского Вегетарианского общества (№13, октябрь 1928 г.) сообщалось, что на вечере 16 сентября 1928 г., посвященном заветам Толстого, где выступали старые друзья Льва Николаевича, «читала свои симпатичные стихи поэтесса Анна Малород». 13 сентября А.Малород принимала участие в другом толстовском вечере как пианистка.

смерти Л.Н.Толстого, моего дорогого отца и учителя жизни. Он помог мне очистить ученье Христа от нанесенных веками суеверий, он помог мне найти дорогих друзей, семью некровную, но духовную, которая и лучше, и крепче, и истиннее. Благодаря Толстому я перешла из города в деревню, в среду тружеников земли и сама стала заниматься и полюбила труд ручной на огороде и в саду. Толстой помог мне найти истинное благо в жизни. Он указал истинный путь и всему человечеству, в мире, любви, единении. Указал те недостатки, которые разъединяют людей, а подчас и губят человеческую жизнь вконец. Великий, неоцененный еще Толстой!..»

По сохранившимся письмам и воспоминаниям видно, что в коммуне Анну Малород любили. «В первый раз я встретил ее в доме Черткова в Москве, кажется, в 1931 году, — вспоминает бывший член коммуны «Жизнь и Труд» крестьянин-еврей Юлий Минаевич Егудин. — Я сразу почувствовал в ней необыкновенного человека. В ее глазах отражалось доброе сердце... Много лет моя семья жила в одном бараке по соседству с ней, наша дружба продолжалась более 40 лет... Анна Степановна была очень добра, уступчива, старалась чем могла быть полезной всем людям... В первые годы нашей совместной жизни в коммуне мы, тогда молодежь, часто собирались в маленьком домике А.Малород. Пели песни народного и духовного содержания... Она руководила и общим пением в столовой коммуны. Анна Степановна умела также хорошо рисовать акварели. Рисунки свои раздавала всем, кто просил. Любила детей... Сперва работала заведующей яслями, потом учительницей в школе коммуны, придерживаясь принципов Толстого вплоть до своего ареста»*.

Анна Малород была не только учительницей, но и первым директором первой и единственной в СССР внегосу-

* Машинописная копия письма-воспоминания Ю.М.Егудина (живет в поселке Тальжино, Зап. Сибирь) была разослана единомышленникам Л.Толстого в СССР осенью 1971 года.

дарственной толстовской школы. Личные ее душевные качества во многом определили судьбу этого уникального общественного и педагогического эксперимента. Создание толстовской школы не было случайностью.

«Мы знали, — пишет в своих воспоминаниях о коммуне Борис Мазурин, — что грамота и всякие научные познания могут стать и во вред людям, если нет настоящего воспитания детей, прививающего детям человеческие свойства — разумные и добрые... Тогда и знания в их руках становятся орудием, служащим на благо всех людей. Поэтому мы решили, что учителя в нашей школе должны быть члены нашей коммуны, разделяющие взгляды Л.Толстого».

...Взгляды Толстого на школу и ученье выражены во многих его произведениях. Но наиболее четко изложены они в письме к некоему А.И.Лопатину:

«Думаю, что все правительственные и допускаемые правительством, согласно видам правительства, школы всегда развращающе действуют на нравственность детей. И поэтому... решение вопроса только одно и самое простое: не отдавать детей в правительственные и разрешенные правительством школы... Важно в воспитании нравственно-религиозное образование, а это самое не только отсутствует при правительственном воспитании, но заменяется усиленным внушением самых нелепых и безнравственных учений, от которых редкий человек, входя в разум, бывает в силах освободиться»*.

Слова эти, произнесенные в эпоху церковно-приходских училищ, гимназий и училищ реальных, не только не потеряли со временем своего значения, но сегодня, 70 лет спустя, звучат значительно более злободневно, чем во времена Российской Империи. Перемены, которые произошли в российской школе за минувшие десятилетия, сделали ее еще более уязвимой с точки зрения толстовского (и не только толстовского!) идеала нравственного образования. Про-

---

* Л.Н.Толстой. Полное собр. соч., том 80, стр. 167. Письмо к А.Лопатину, 1909 г.

цесс этот начался сразу же после революции. Восьмой съезд большевистской партии (1919) провозгласил, что новая школа будет «безусловно светской, т.е. свободной от какого бы то ни было религиозного влияния». Вместе с тем, по своему новому назначению она должна готовить «развитых членов коммунистического общества»*. Освободив школьников от уроков Закона Божия, новая власть ввела по существу новый тип религии. Школа была полностью политизирована и стала объектом строгого партийного надзора. Детей стали клеймить партийным клеймом с первого класса до последнего. Октябренок, пионер, комсомолец — это не столько показатели возраста и развития, сколько индикаторы политической и милитаристской готовности человеческого продукта.

Советская школьная система не враз создалась и не всегда действовала безотказно, но можно не сомневаться, что именно такого рода учебные заведения имел в виду Лев Толстой, когда писал о школах, которых «развращающе действуют на нравственность детей».

Толстовцы принялись противоборствовать аморализму советской школы от самых ее истоков. В марте 1921 года в Москве проходил первый и единственный в истории страны Съезд сектантских сельскохозяйственных и производительных артелей. Власти разрешили его только потому, что собирались в это время с помощью наиболее верных земле верующих мужичков — толстовцев, сектантов и старообрядцев — поправить свое разоренное земледелие. Председателем съезда был избрал Владимир Григорьевич Чертков. Влияние толстовцев на этом совещании было явственно ощутимо. В своей резолюции относительно судьбы будущего поколения делегаты свободных христиан заявили: «Съезд устанавливает необходимость полной свободы совести в деле воспитания сектантами свои детей, а потому считает недопустимым вмешательство государственной вла-

* «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Госполитиздат, 1954. Ч.1, стр.419-420.

сти и введение политики в дело воспитания и обучения детей сектантов»*. Сектанты-крестьяне надеялись отделить свои школы от государственных. В ответ на эту попытку к духовной независимости советская власть приняла закон об обязательном обучении детей в советской школе (всеобуч). Закон угрожал жестокими карами каждому, кто не пожелает учить своих детей по большевистской программе. Нарушителю в этом случае грозил не только штраф, но и тюремное заключение.

И если в куда более либеральные времена Лев Толстой рекомендовал всем честным людям не отдавать детей в государственную школу, то в 20—30-е годы его последователям стало совершенно ясно: они обязаны оградить детей от всеобуча и партийной педагогики. О сохранении независимой толстовской школы просил высокопоставленных чиновников ВЦИК толстовец Борис Мазурин в 1930 году, с мыслью о собственной школе ехали толстовцы из-под Москвы в сибирскую глухомань.

Сохранилась «Краткая история школы имени Л.Толстого за 1931-1934 годы», из который видно, как именно пытались крестьяне-толстовцы осуществить свою мечту и что из этого вышло**.

«Мы возлагали на свою школу особые, светлые надежды, как на школу, основанную на идеях Л.Н.Толстого, — начинает свое повествование крестьянин-историк. — Школьное здание возводили весной 1931 года среди самых первых, самых насущных построек коммуны. Осенью дом, в котором предстояло учиться пятидесяти маленьким коммунарам, был готов. Нашлись в коммуне и учителя и кое-какие учебники и немного бумаги. Но торжественно открыть в тот год школьные двери не пришлось. Пришлось отдать школу под жилье. И тем не менее с начала октября дети

---

* За точность формулировки автор не ручается, т.к. цитирует Постановление Съезда по книге антирелигиозника Ф.Путинцева «Политическая роль и тактика сект». М., 1935.

** Автор «Истории» коммунар Дмитрий Пащенко не дописал ее, так как был арестован и провел в лагерях семь лет.

начали учиться. Возникла «бродячая школа», состоящая из четырех групп по десять-пятнадцать человек в классе. Один день школьники занимались в одной хате, на следующий день шли в другую. Пускали везде охотно, теснились, терпели неудобства от шума и грязи, производимых детворой, но пускали», — сообщает историк.

Учебный день начинался с того, что дети сбивались в толпу возле дверей своего учителя. «Скоро ли? В какую хату пойдем?» И гурьбой, со скамьями и столами, отправлялись на поиски очередного пристанища. Как и всякая народная самодеятельность, «бродячая школа» вызвала недовольство начальства. Приехавший в коммуну инспектор Отдела народного образования (ОНО) объявил школу нелегальной и закрыл ее. Его возмутило не то даже, что детям приходится писать кое-как, примостившись на сундуках и табуретках, а то, что в толстовской школе не соблюдается единая государственная программа, нет пионерской работы, а заведующую школой Анну Малород назначили не чиновники ОНО, а общее собрание коммунаров. Толстовцы, однако, решили, что единая государственная программа с уроками военного дела и проповедью классовой борьбы им не подходит. Чужие учителя тоже ни к чему. И присланный из города заведующий — тоже. «Бродячая школа», официально запрещенная, продолжала работать до конца учебного года.

Осенью 1932 г. дети коммунаров перешли в собственное школьное помещение. Но заниматься было трудно и там. Не хватало учебников, карандашей, бумаги. Но дети занимались охотно, а учителя проявляли подлинный энтузиазм, стараясь организовать при этой нищете нормальные занятия. К тому же не проходило дня, чтобы учителей не нервировали приезжающие из города комиссии, чтобых их самих не вызывали в город, где снова и снова от них требовали завести уроки военного дела и организовать пионерский отряд. В один далеко не прекрасный день из Сталинска (так стал называться в это время город Новокузнецк) в коммуну прислали заведующего новой школой. Но толстовцы на

общем собрании решили, что заведовать их школой может только толстовец-единомышленник. Было составлено письмо наркому просвещения РСФСР, коммунары просили оставить их школу в покое, не мешать им учить и воспитывать детей так, как требует совесть родителей. Ответа из Москвы долго не было. Школа считалась закрытой, но занятия продолжались. Только в марте 1933 года в коммуну «откуда-то сверху» приехала ответственная комиссия, которая подтвердила: толстовцам разрешается сохранять в школе свои порядки с тем, однако, чтобы они приняли четкую учебную программу. Четкую, а не единую общегосударственную!

Сохранившийся протокол общего собрания коммунаров, помеченный 10 апреля 1933 года, закрепил для потомства эту скромную победу крестьян:

«СЛУШАЛИ: О школе.

ПОСТАНОВИЛИ: ... Согласно указанию Наркомпроса наша школа признается фактически существующей, с теми особенностями, которые вытекают из нашего мировоззрения, а именно:

1) С изъятием из программы военизации, внушения детям насилия и классовой борьбы.

2) С преподаванием в школе учителями-членами коммуны. Общее собрание считает возможным при соблюдении этих условий иметь дело с ОНО (отдел народного образования), поддерживать деловую связь учебно-методологического характера по тем вопросам, которые не противоречат нашим убеждениям, а также в деле снабжения нашей школы Сталинским ГорОНО учебниками, тетрадями и учебными пособиями...

5) Школа определяется как восьмилетняя.

6) Школьный возраст — от 8 до 16 лет.

7) Заведующей школой работать [остается — *М.П.*] Малород А.С.»

Завершая рассказ о втором учебном годе, историк-коммунар школы имени Л.Толстого писал: «Мы надеемся

внушить детям дух деятельного коммунизма, то есть дух равенства, справедливости, трудолюбия, взаимной помощи, миролюбия и трезвого скромного поведения». Оставляя в стороне социалистические идеалы толстовцев, которые едва ли можно назвать последовательно толстовскими, во всем остальном эти простые земледельцы стремились воспитывать в своей деревенской школе те же самые гражданские доблести, которые, надо полагать, и сегодня являются идеалом любого серьезного европейского и американского педагога. Но какую же дорогую цену пришлось им заплатить за этот столь естественный, если не сказать банальный, идеал...

Кто же учил в толстовской школе и чему там учили? Вот полный список преподавателей и предметов, изучаемых в 1933-34 учебном году.

Первый класс — учительница А.А.Горяинова, окончила девятилетку, стаж преподавания — 14 лет.

Второй класс — учительница Ольга Толкач, окончила медтехникум в Москве.

Третий класс — А.С.Малород, окончила Музыкальное училище в Краснодаре. Имеет и общее среднее образование.

Четвертый класс — Е.А.Савельева, окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт.

Пятый класс —

Литература — А.С.Малород.

Математика — С.М.Тюрк, выпускница физмат. факультета Московского университета.

Геометрия — Густав Густавович Тюрк — выпускник физмат. факультета 1-го Московского университета.

Физика — Гюнтер Густавович Тюрк, окончил девятилетку с электротехническим уклоном.

Геометрия — Евгений Иванович Попов, окончил реальное училище.

Пение во всех группах — А.С.Малород.

Рисование — И.В.Гуляев.

Кроме общеобразовательных предметв в 4-м и 5-м классе изучались начатки ремесел (в мастерских коммуны). Преподавали:

1. Столярное, токарное и бондарное дело — А.И.Чекменев.
2. Сапожное дело, починка обуви — И.Е.Третьяков.
3. Кузнечное дело — А.Рыбак.
4. Кройка и шитье — Т.Ф.Грицайчук.

Были в толстовской школе и кружки: стенографии, певческий, драматический, украинский; были и развлечения — литературные вечера, самодеятельные спектакли и многое другое*. Но в глазах чиновников все это не реабилитировало толстовцев. Скорее наоборот. Главный недостаток такого коллектива в том как раз и состоял, что он был слишком богат собственными идеями и оставался неуправляемым извне. Учителя и ученики, вся школа, да и сама коммуна жили независимой жизнью в океане зависимых, подчиненных, придавленных страхом людей. Эту независимость не скрывали и взрослые толстовцы, а тем более дети. И это бесило чиновников, привыкших к подобострастию окрестных мужиков.

Случилось как-то председателю Сталинского горсовета Алфееву проводить в коммуне собрание. Алфеев обратил внимание на молодого красивого паренька Костю Бормотова. Пятнадцатилетний школьник, стройный, загорелый после многомесячной работы в поле, понравился начальству. «Вот будет хороший защитник наших границ!» — воскликнул Алфеев. «А у меня нет никаких границ», — спокойно ответил Костя. Чиновника передернуло. Со стороны школьника то была чистая импровизация, но импровиза-

---

* В те же примерно годы я учился в деревенских школах в Вологодской и Калининской областях. Готов засвидетельствовать: для сельской местности т а к а я школа была редкость. Что касается нравственной установки, то школа в коммуне «Жизнь и Труд» имела огромные преимущества не только перед сельскими, но и перед столичными школами.

ция, основанная на духе пацифизма и миролюбия, в котором жила коммуна, в котором воспитывался Костя и его товарищи. Терпеть такое «свободомыслие» власти не могли. Школу в коммуне приказано было закрыть. Не помогло ни распоряжение Народного комиссариата просвещения, чтобы школу оставили в покое, ни даже секретное письмо «всесоюзного старосты» М.И.Калинина в Сталинский райисполком. Дело было даже не в личных качествах того или иного секретаря местного райкома партии или председателя райисполкома. Толстовцы и их школа были абсолютно невозможны, противоестественны в условиях советского режима.

Среди тех, кто приезжал в коммуну, чтобы «добром» слить толстовскую школу с общегосударственной, был, между прочим, секретарь местного райкома партии Хитаров, молодой, веселый и, по-видимому, добродушный человек. Коммунарам он очень понравился. Не получив поддержки общего собрания, Хитаров со своим армянским акцентом темпераментно воскликнул: «Ну, что ж, тогда будем работать на началах свободной конкуренции». Коммунары встретили это предложение бурными аплодисментами. В реплике партийца им понравилось не столько слово «конкуренция», сколько эпитет «свободная». Однако не прошло и двух недель, как толстовцы смогли убедиться, как мало стоят для большевиков жесты миролюбия. Очередное постановление президиума Сталинского городского совета №200/535 от 27 апреля 1934 года было выдержано в тонах милицейского протокола:

«Считать недопустимым дальнейшее существование частной (так — *М.П.*) школы, как не входящей в государственную сеть... Предупредить родителей-толстовцев, что в случае попыток с их стороны не допускать детей в школу, а также в случае попытки организовать групповые занятия на дому по обучению детей, к ним будут применены предусмотренные законом о всеобуче меры административного воздействия. Председатель Сталинского горсовета Алфеев...»

Бедный Алфеев, бедный Хитаров... Находясь в зените власти, и жестоко используя силу для удушения и утеснения маленькой горстки инакомыслящих, эти царьки районного масштаба не знали, что сами будут скоро схвачены властью, которой служили так верно. Меньше чем через два года арестованные толстовцы, ожидая суда в Новосибирской тюрьме, обнаружили начертанные на стене камеры углем имена Алфеева и Хитарова среди других имен вчерашних вождей. Всех их расстреляли... Но в 1935-м у этих вождей и в мыслях не было остановить начатые на толстовцев гонения. Одновременно с постановлением горисполкома милиция устно предупредила учителей толстовской школы, что за попытку учить детей по-прежнему их арестуют и будут судить. (Имя начальника милиции оказалось все в том же злосчастном списке на стене тюремной камеры Новосибирской тюрьмы).

Но толстовцы отвергли угрозы. В новом протоколе очередного общего собрания (1 мая 1934 года) они повторили, что коммуна их существует с ведома и разрешения советского правительства, что «школа наша в условиях жизни коммуны имеет соответствующие нашим взглядам особенности», что коммунары школьными учителями довольны и других не хотят. И самое главное, что родители-толстовцы отказываются внушать своим детям мысли о необходимости классовой и всякой другой борьбы и разумности насилия в отношениях между людьми. По этой причине в школьной программе нет и быть не может военных и политических предметов. Коммунары напомнили также властям, что школа их не частная, а общественная, содержится она на трудовые деньги трудовых людей, и потому общее собрание не уполномачивает своих учителей вносить какие бы то ни было перемены в принятые ныне формы преподавания. Протокол подписали 93 человека — все взрослое население поселка — и отправили в горисполком.

Как и их гонители, коммунары не стремились заглядывать в будущую историю. Даже более осведомленным людям трудно было представить, что день в день через

семь месяцев после первомайского собрания толстовцев в Ленинграде раздастся выстрел, от которого упадет не только Сергей Киров, но рухнут подкошенные массовым террором миллионы ни в чем неповинных жителей Советской России. Но про толстовцев можно сказать безошибочно: даже если бы они знали, что̀ именно ждет их в ближайшие годы, то и тогда бы послали властям такое же точно письмо, ничего не изменив в нем. Не бездумный русский «авось», не религиозный фанатизм отразились в их решении, но вера в подлинность своих прав, в достоверность своего пути, вера в свое человеческое достоинство. Они твердо решили: «Делай, что до̀лжно, и пусть будет, что будет»*.

И действительно, по сравнению с началом 20-х годов члены коммуны накопили к началу 1934 года большой жизненный и общественный опыт. «Когда я вспоминаю нас, маленькую кучку 8-10 коммунаров начала 20-х, — писал основатель коммуны Борис Мазурин, — с совершенно не развитыми сторонами общественной жизни и сравниваю их с теперешним обществом в несколько сот душ, со своей школой и учителями, с мастерскими, почти ежедневными собраниями по вечерам... общество, имеющее свои взаимоотношения с государством, — то разница огромная»**. Есть, очевидно, высшая мудрость во взаимоотношениях личности с государством, которая в том только и состоит, чтобы, отбросив хитрости и уловки, не стремясь освоить темную сферу политических выгод, просто исполнять свой долг.

---

* Французское изречение «Fais ce que doit ad vienne que pourra» было любимым изречением Л.Толстого. В записной книжке за 1906 г. Л.Н. поясняет: «Все в этом: в то, чтобы не думать о последствиях, а о том, чтобы поступать, как должно. Это изменяет всю жизнь». За три дня до смерти Л.Н. снова в дневнике после слов: «Вот мой план» записал по-французски: «Делай, что должно...».

** Б.В.Мазурин, письмо к В.В.Черткову (сыну), январь 1934 г.

В те дни, когда школа стояла на запоре, а растерянные и расстроенные дети приставали к взрослым с вопросами, которые в конечном счете сводились к тому, «скоро ли вы, наконец, отрегулируете ваши отношения с государственной властью», председатель Совета коммуны встретил на улице поселка заведующую школой. «Что будем делать?» — спросил Мазурин. Опустив голову, Анна Степановна молчала. Она понимала: угроза ареста обращена прежде всего к ней. «Ну, как же?» — переспросил Мазурин. Малород подняла голову, посмотрела единомышленнику в глаза и улыбнулась тихой своей улыбкой. «Будем продолжать», — сказала она. На следующий день «бродячая школа» снова начала свою нелегкую жизнь.

«Мы чувствовали, что мы являемся частицей трудового человеческого общества, которое имеет право на существование не испрашивая ничьего разрешения... — писал впоследствии Борис Мазурин. — Мы знали, что стремимся выполнить не свои узкие групповые цели, а воплотить в жизнь общечеловеческие законы жизни, те, которые нам удалось понять. И мы знали, что эти законы вечны и будут жить, пока живут люди, государство же — явление временное, отягощенное многими пережитками дикости...»

Была, однако, в возникшей ситуации еще одна опасность, исходящая уже не от государственной власти, а от самих коммунаров. Постоянные нападки сверху, оскорбления, незаконные поборы и приказы озлобляли толстовцев. В 1933 году они сдали государству три вагона хлеба, которые по закону о переселенческих льготах сдавать были не должны. Из-за этого зимой 1934-го коммуна сидела на жестком пайке, люди недоедали. Нарастало раздражение. На собраниях, обычно спокойных и миролюбивых, стали раздаваться выкрики матерей. Мелкие стычки происходили между коммунарами и городскими чиновниками. Обеспокоенный этим изменением в психологической атмосфере коммуны, В.Г.Чертков писал из Москвы, обращаясь к коммунарам:

«Дорогие друзья, Митя Пащенко рассказал мне про свое свидание со Смидовичем*. Я увидел, какое действительно серьезное положение создалось сейчас в коммуне. Как вашему другу, мне хочется сказать вам, хотя вы наверное и так знаете, как я люблю вас и ценю вашу общую жизнь, и как мне хотелось бы, чтобы она продолжалась и дальше. Знаю, какие трудности приходится переживать вам и может быть, будучи на вашем месте, я по слабости поступал так же нетерпимо. Но все же, видя, как эта нетерпимость у некоторых из вас «подливает масло в огонь», служа обострению и без того напряженного положения (очень может быть даже искусственно вызываемого), мне очень хочется посоветовать вам быть посдержаннее, терпимее к инакомыслящим. Я очень ценю в людях прямоту, бесстрашие, откровенность, но еще важнее, когда любовность, внимание к другим главенствует над нами.

Как бы нежелательно для нас не поступал человек, все же можем ли мы «бросать в него камень»? А разве мы живем в согласии с нашими принципами? Да кроме того резко обличительное слово редко имеет положительное значение, а в большинстве случаев лишь все больше и больше отдаляет людей друг от друга. Чем больше выдержки, спокойствия, смирения, а главное любовности, тем лучше.

Помогай вам Бог.

Любящий вас В.Чертков»**.

Предостережение друга толстовцы, очевидно, серьезно продумали. В полной мере они продемонстрировали свое спокойное и твердое единение во время очередного суда над своими товарищами. На процессе этом учителей Анну Малород и Климентия Красковского обвиняли в препода-

---

* Коммунар Дм.Пащенко ездил во ВЦИК в Москву в связи с арестом группы коммунаров, и в том числе двух учителей толстовской школы.

** Письмо от 29 января 1935 года. На бланке: «Чертков Владимир Григорьевич, Москва, 5, ул.Баумана, Лефортовский пер.7-а».

вании религиозных предметов. Коммунаров Савву Блинова, Николая Слабинского, Афанасия Наливайко судили за отказ участвовать в лесозаготовках. По той же причине на скамье подсудимых оказались члены толстовской артели «Сеятель» Григорий Гурин, Иван Андреев и Роман Сильванович, а из артели «Мирный пахарь» Петр Фат.

Странный это был суд. Реальные факты во время разбирательства не имели никакого значения. Анна Малород спросила одного из свидетелей обвинения, знает ли он, что в таком виде, в каком она сейчас существует, их школа разрешена высшим исполнительным органом государства — ВЦИК. «Да, нам это известно», — признался свидетель, но на судей этот основополагающий факт не произвел никакого впечатления. Другой свидетель обвинения, тоже учитель, сотрудник ОНО, желая доказать, что Анна Малород действительно преподавала в школе религиозные предметы, сказал: «Малород разучивала с учениками религиозную песню Толстого Крейцерову сонату”. Зал, в котором большую половину публики составляли крестьяне-толстовцы, разразился хохотом. Не могли удержать улыбок и судьи. И тем не менее Анна Малород была приговорена к году исправительно-трудовых лагерей. К нескольким годам лагерей приговорены были и остальные подсудимые, чья вина также не была доказана.

«Осуждение наших друзей никого не испугало и ничего не изменило в нашей жизни, — пишет Б.Мазурин. — На место взятых стали новые люди. Даже ученики старших классов иногда проводили занятия с младшими». Толстовская школа просуществовала в коммуне после суда еще два года. Ее удалось сделать государственной только после того, как на свободе не осталось ни одного учителя-толстовца. Судьба большинства учителей оказалась трагической: одних расстреляли, другие провели по десять лет в лагерях и тюрьмах. На этом фоне судьба Анны Малород может показаться сравнительно благополучной: всего год лагерей, да и то часть срока она не досидела — ее освободили по болезни. Но в действительности эти нес-

колько месяцев в лагере оказались для Анны Степановны роковыми: из лагеря она вышла калекой.

Вот несколько страниц из записей, которые она вела в лагере весной и летом 1935 года.

«Ну, где новенькая? На работу идите, с конвоиром, — обращается к нам начальник лагеря. — В конвойку уборщицей». И вот мы шагаем по лужам к месту назначения, впереди стрелок, сзади мы... «Бессовестные воровки!» — кричат на нас какие-то ребята. Я призываю себе на помощь смирение и эти камешки пролетают мимо. Жутко, страшно. Совесть пристально, остро всматривается вперед: «Быть уборщицей в конвойке, возможно ли это? Не отказаться ли?» — «И что за отказом последует?» — «Подожди, — говорит разум, — осмотрись прежде». В конвойке, состоящей из двух помещений для конвоиров, только что побелили, и нам предстоить мыть залитый известью пол, окна и т.д. Нас пригнали на смену трем женщинам, вымывшим уже часть помещения. Бедная старушка показывает нам свои руки: кожа лохмотьями висит у нее на пальцах. «Попортятся и ваши рученьки», — говорит она нам. В бараках шум, толкотня, конвоиры все тоже заключенные. «Мои братья, — говорю я себе, — небось, сердцем они тоже не здесь, а там, дома, как и я», — и совесть моя несколько успокаивается. Скрасить, улучшить им несколько жизнь, убрав им помещение, — не так уж это плохо...»

Через несколько дней Малород перевели в совхоз. Она описывает:

«Работа тяжелая, таскали назём в парники и землю на носилках, сеяли мерзлую и мокрую землю; ноги промокают, ветер студеный, кружит снег; и в комнате нашей не обогреешься. К утру в ней так становится холодно, что мы, ложась спать в шубах и валенках, просыпаемся и не спим, а топить нечем, дров нет. На работу выходят не

более пяти человек; я еще ни одного дня не пропустила, и однажды вечером все мои товарки на меня напустились за то, что я так аккуратно хожу на работу, называли меня «святошей», «богородицей» и т.п. «Знаешь, тебя хотят ночью побить», — сообщила мне потихоньку одна. Я вышла на улицу. Холодно, звездочки зажигаются в далеком студеном небе; чувство глубокого одиночества охватило меня. Я заплакала и результаты моих размышлений были следующие: «Вот моя семья и нет у меня другой пока, ее горести и радости я должна делить, ей быть полезной, чем могу». И с этим решением, с этой готовностью вернулась я в избу. В это время из города вернулась бригадирша и привезла распоряжение от начальства всем выходить на работу, так что меня забыли и бить, и бранить».

Заведующую толстовской школой Анну Малород направили на строительство... городской школы. Она пишет:

«Мы отправились... рыть котлованы под фундамент для строящегося здания. Земля твердая, мерзлая, а ямы приходится рыть в рост человека, выбрасывая землю наружу, дождь мешал работе, делал землю липкой, тяжелой... Однажды вечером на стройке, когда я вместе с другими таскала камни на носилках, я вдруг увидела в нескольких шагах от себя статную высокую фигуру Шляханова. Он, как заведующий ГорОНО, приехал посмотреть стройку школы. «Вот он, главный виновник и причина моего здесь пребывания», — пронеслось у меня в голове. Я постаралась обойти его и он меня не увидел. На другое утро он снова был на стройке и на этот раз он видел меня, я видела, как он издалека с задумчивым и серьезным видом смотрел в мою сторону, я же с носилками приближалась к нему и, будучи в трех-четырех шагах от него, смотрела выше головы, по сторонам, но только не на него. Что меня заставило так поступить? Может быть это нехорошо? Но я не могла иначе. Был ли это

стыд, скромность, гордость? Не знаю. Во всяком случае не злоба. Злобы нет. А стыд я одно время чувствовала сильный».

«И все же, как я ни старалась крепиться, как ни внушала себе, что из этого испытания я должна выйти здоровой с неповрежденными телом и душой, в конце концов я сдалась. У меня стали болеть спина и грудь, но главным образом спина... Сначала я не обращала внимания на эти боли, но в конце концов они усилились до того, что я не могла повернуться, ни вздохнуть, ни поднять чего-либо мало-мальски тяжелого, не говоря уже о носилках. Их поднимала с внутренним стоном и все считала, сколько же раз мне еще их придется поднимать до вечера; острая режущая боль сопровождала каждое мое движение. Несколько дней так продолжалось и я с нетерпением ожидала выходного, чтобы отдохнуть немного и поправиться, но пришел выходной, а у нас назначили воскресник. Проработала я и воскресник. К вечеру я окончательно обессилела и решила, что завтра мне во что бы то ни стало надо попасть в амбулаторию... Мне посчастливилось попасть к врачу в первый же день. Это была брюнетка, крупная, высокая, полная, с красивым продолговатым, греческого типа лицом, с отпечатком мягкосердечия, которое не замедлило высказаться в ее отношении ко мне. С первого взгляда на мою спину она сказала: «Вам, конечно, нельзя работать тяжелую физическую работу, у вас искривление позвоночного столба».

Так началась болезнь, которая сделала Анну Степановну горбуньей. Но диагноз, поставленный врачом, вовсе не означал перемены в положении пациентки. Она пишет: «Меня назначили убирать барак на 80 человек. Барак большой, большой... Когда я в первый раз пришла его мыть и глянула вдоль него, мне стало жутко: как же я его вымою? И когда часов через восемь я его вымыла, мне показалось, что наступил светлый праздник. Но тут пришли

рабочие с работы, и я стала носить им воду для питья, для умывания, для чая. Я увидела, в чем соль моей новой работы: именно в этом таскании воды — ведер 50-60 пришлось притаскивать в день...

От бессонных ночей, от непривычной тяжелой работы здоровье страшно расшаталось, тело мое постоянно было как разбитое, руки и ноги ломило, больно их было сгибать, голова постоянно была тяжелая и усталая, сонно и медленно копошились в ней мысли. Вместе с физическим недомоганием и душа тоже стала недомогать, часто стали приходить минуты уныния, упадка. В одну из таких минут посетили меня двое друзей из коммуны. Пришли они вечером, когда я, вернувшись с работы, в полудремоте лежала на постели. Я не смогла сразу побороть ни своей усталости, ни своей удрученности, и поэтому не так приветливо, как следует, встретила и обошлась с ними. Они принесли мне меду, печенья, клубники. Когда они ушли, припадок тоски у меня стал настолько острым, что если бы никого не было в комнате, я бы выплакалась вволю; но это было невозможно, комната была полна пришедших с работы женщин и девушек. Принесенные подарки не радовали меня. «Ничего этого не нужно, только бы воля!» — плакала душа и искала выхода. Я сложила печенье на одну тарелку, клубнику на другую, налила чашку меда и поставила все на стол, что стояло ведро с кипятком для чая. «Вот это к чаю, угощайтесь», — обратилась я к своим подругам по несчастью. В душе моей шевельнулась острая жалость: «Такие же несчастные, как я...» На удивленные их взгляды я дала объяснение: «Я ведь сегодня именинница». — «Разве?» — «Ну да, раз я получила подарки, значит я именинница, кушайте на здоровье».

На кровати лежала избитая Зинка (соседки избили ее за воровство) с опухшим лицом, черный глазок ее наблюдал окружающее. Я предложила ей несколько печений и клубники: «Ешь...» Клава, полная, красивая девушка, грубоватая и добродушная, вместе с тем пьяная, с раскрасневшимся лицом и заплывшими глазами, подсела ко

мне и стала изливать свою душу; и не было у меня отвращения к ним, одна только жалость к ним и к себе, жалость до слез...»

Анна Степановна Малород никогда больше не работала в школе. Может быть и нашлось для нее место, но преподавать она могла только в той школе, которой больше не существовало. Школа Анны Малород погибла. В значительной степени из-за этого коммунары не смогли вырастить себе смену: дети толстовцев не стали последователями Льва Толстого. И все-таки через много десятков лет, встречая мальчиков и девочек начала 30-х годов, учеников «бродячей школы», я замечал в них черты, которыми так дорожили их учителя: честность, прямоту, а главное, восприимчивую и добрую душу.

— Мы все с малолетства дети Анны Степановны, — сказал на похоронах Малород один из ее бывших учеников.

А старик-крестьянин, бывший коммунар, живущий ныне в поселке неподалеку от давно разгромленной коммуны, заметил о своих взрослых детях:

— Это верно, не единомышленники они мне. Но люди они хорошие. Не знаю, как дома, а в школе у Анны Степановны учились они только доброму...

Глава X

ПОД КОЛЕСОМ (1936-1939)

Я не могу пожаловаться на недостаток материалов о толстовцах советской поры. Передо мной почти три тысячи листов самых различных документов, которые дают исчерпывающую картину быта и вкусов крестьян-коммунаров, идей, которыми жили эти люди и, наконец, подробное изложение событий, которые переживала коммуна и наиболее заметные ее члены. Нельзя не доверять этим письмам, воспоминаниям, биографиям и автобиографиям. Они написаны как правило, без тщеславия и раздражения с единственной целью дать потомству материал для суждения о жизни и взглядах последователей Толстого. К тому же свои воспоминания толстовцы имели обыкновение показывать друг другу для уточнения и коррекции, так что каждый документ проконтролирован несколькими единомышленниками. Можно в чем-то не соглашаться с этими людьми, но не доверять им нельзя. Они — вполне честные свидетели своего времени и своей судьбы.

И все же при всем обилии материала, при всей его несомненной достоверности, я чувствую, что мне не хватает еще каких-то свидетельств. Как историк, я не нахожу объяснения не столько событиям, сколько психологическому их обоснованию. Вот, например, тот статный, красивый мужчина, которого упоминает Анна Малород, заведующий Сталинским городским отделом народного образования Шляханов. В его ведении находились десятки школьных учителей и тысячи учеников большого района страны. Я бы очень хотел знать, что именно он думал о с е б е, стоя по-

среди стройки и глядя, как надрывается немолодая, маленькая и слабая женщина, учительница, которую он обрек на таскание носилок с камнями. Ведь это по его требованию оказалась она на скамье подсудимых и затем в лагере. Ведь он знал, что «Крейцерова соната» — не религиозная песня и что вообще никаких религиозных предметов толстовцы-учителя не преподают. Зачем же этот человек с высшим образованием кричал: «А я толстовскую школу все равно разорю!» «Все равно», то есть невзирая на то, что толстовцы не нарушали закона и их законное право иметь школу подтверждали высшие государственные учреждения. Интересно, как товарищ Шляханов объяснял свои поступки самому себе, своей жене, ближайшим друзьям?

Или вот другой герой времени — постоянно упоминаемый в воспоминаниях толстовцев Попов, сначала следователь, потом начальник Сталинского областного управления НКВД. У этого деятеля для изничтожения толстовской коммуны целая программа была разработана. И каждая новая акция хитрее прежней, что ни действо, то детектив. Я многое отдал бы, чтобы узнать, как объяснял себе этот облеченный огромной властью человек, зачем надо было убивать толстовца Василия Матвеевича Ефремова? Старик Ефремов, член общины «Всемирное братство» (в прошлом редактор социал-демократической газеты в Саратове, немало посидевший в царских тюрьмах за приверженность к марксизму), жил в своем домике один. Однажды зашли к нему два «охотника», попросили поесть. Ефремов полез в подпол за огурцами и капустой и, едва повернулся к гостям спиной, получил в затылок заряд свинца. Грабить у него было нечего — ни денег, ни ценностей. Следы охотников вели в город. Отрицая государственный суд, полицию, толстовцы обращаться с жалобой к властям не стали. Похоронили старика так же тихо, как схоронили неизвестно кем и для чего убитых коммунаров Михаила Лифанова и Ивана Баран. Иван Иванович ходил по делам в сельсовет, по дороге его оглушили, ударив чем-то тяжелым по голове. Он потерял сознание

и замерз в сугробе. А Лифанов, когда на него напали «неизвестные», искал в зарослях заблудившуюся корову.

Учителя Клементия Красовского люди Попова зачем-то... украли. Как и в деле с Ефремовым, расчет их был основан на том, что толстовцы никому не отказывают в помощи. Как-то вечером к дому Красовского подъехали двое — попросили разрешения переночевать. Утром «гости» запрягли повозку, подогнали ее к крыльцу, схватили вышедшего из дома хозяина, повалили в повозку. Один энкаведешник наставил на толстовца-учителя револьвер, второй вскочил на козлы и погнал лошадей. Да так и гнали до самого города, до ворот Первого дома... В чем был смысл этого спектакля? Что думал об этом сам товарищ Попов?

И спектакль с водопроводными трубами, когда арестован был Дмитрий Егорович Моргачев, режиссировал все тот же Попов. Правда, в тот раз запугать и развратить Моргачева ему не удалось*, но своими угрозами начальник НКВД превратил в доносчиков двух других толстовцев-коммунаров. Тот же Попов организовал тайный суд над группой коммунаров, которых он определил как «головку» коммуны. Дело было в 1932 году. Судили Клементия Красовского, Бориса Мазурина и двух других. Обвинения оказались настолько несерьезными, что по жалобе толстовцев высшая судебная инстанция отменила приговор. После семи месяцев тюрьмы коммунары вышли на свободу. Для Мазурина это был четвертый арест.

А Попов не унимался. Осенью 1933 года пригнал в поселок толстовцев порожний обоз. Ничего не объясняя людям, не предъявляя никаких документов («Есть решение!») энкаведешники приказали членам общины «Всемирное братство» грузить свои вещи на подводы и ехать вон. До сибирской зимы оставались считанные недели, а крестьян без средств, всех, малых и старых, выгнали из их зем-

---

* См. главу VIII. «Дмитрий Егорович рассказывает».

ляных хижин и погнали на Север. Куда же? Сначала в товарных вагонах до Новосибирска, потом на баржах вниз по Оби. Перед самым ледоставом выбросили их на пристани Кожевниково и приказали селиться по реке Тека. Разве не интересно было бы услышать искреннее объяснение организатора этой расправы: чего ради посланы были на гибель триста крестьян, среди которых не менее трети — дети. Как себя оправдывал перед своей совестью товарищ Попов?

А они, когда погнали их, медленно шагая за обозом, пели. Пели всю дорогу до станции. Пели известную с народовольческих времен «Мысль» и надсоновское «Друг мой, брат мой усталый...», и толстовские песни. В соседнем поселке Богатур местные крестьяне-сибиряки пристали к этому обозу и долго шли следом за толстовцами, слушая их. Слушали не проклятья, не иеремиады, не стоны, а только песни. И поезд долго не отправлялся, потому что машинист, стоя возле вагонов, просил: «Ну, еще одну, братцы, уж большо хорошо поете». Так же и в Новосибирске под звуки толстовских песен пошли вниз по Оби баржи с этими неисправимыми диссидентами тридцатых годов.

Попов и другие партийные чиновники, мучившие толстовцев, должны казаться каждому нормальному, нравственно здоровому человеку — монстрами, бесчувственными механическими идолами. Между тем, читая воспоминания толстовцев, с изумлением видишь, что в гонителях своих видели они прежде всего людей достойных сожаления и сострадания. В воспоминаниях нет ни намека на ненависть или презрение. «Ты не думай, что мы считаем тебя за какого-то начальника», — говорил Борис Мазурин всесильному Попову. — «А за кого же?» — с любопытством спрашивал тот. — «За такого же человека, как и все». Этот товарищеский, если не сказать братский, тон сохраняли толстовцы по отношению к своим гонителям и в следственной камере, и на этапах, и в лагерях. «Бросили бы вы возиться с этим ненужным делом. Сами время зря проводите и людей от работы отрываете», —

— говорил Борис Мазурин свему следователю Веселовскому, который остался в его памяти «молодым, симпатичным человеком». — «А что же мне делать?» — спрашивал следователь. — «Мужик здоровый, шел бы сено косить, пользы больше было бы...» — отвечал подследственный. Этот совет вызывал у следователя вполне (как показалось Мазурину) дружелюбный смех. «Нет, Боря, — отвечал он, — я человек испорченный, не гожусь уже сено косить...» Добрые человеческие черты находили толстовцы у секретарей Сталинского райкома партии, у председателей горсовета и у других чиновников. А в ответ — аресты, тюрьмы, ссылки, убийства... Не странно ли? Вроде бы люди как люди...

Да, и начальник Сталинского НКВД Попов, и следователь Веселовский, с шутками и прибаутками подготовляющий фальшивые материалы для осуждения толстовца Мазурина, и председатель горсовета Алфеев, и заведующий ОНО Шляханов — все они были людьми, но людьми *советскими*. Они жили в строго иерархическом обществе и знали в этом обществе свое место, знали, что́ нужно делать, чтобы сохранить свою власть, свои деньги, свое общественное положение. Толстовцы же в *этой общественной системе* места своего не знали. И вовсе не по темноте или глупости, а оттого лишь, что у них с чиновниками была совершенно разная система ценностей. Все то, чем Попов дорожил, — деньги, высокая должность, власть — казалось толстовцам ничтожным. И они жалели всевластного Попова, как жалеют слепого, неладно переходящего улицу. И старались даже помочь.

Хотя толстовцы в большинстве своем не признавали государственных учреждений, но многие из них, несколько даже отступая от своих принципов, пытались итти на уступки, на компромисс с властью*. «Мы стояли на той точке

---

* Здесь речь идет о членах коммуны «Сеятель», коммуны «Жизнь и Труд» и артели «Мирный пахарь». Члены общины «Всемирное братство» были более последовательны в (продолж. на след. стр.)

зрения, — пишет Мазурин, — что хотя мы не разделяем в идеале форм жизни государственной, но должны считаться, что вокруг все живут в этой форме, /мы/ должны находить какой-то общий язык и налаживать человеческие отношения. Мы видели, что мы и сами далеко еще не свободны от тех же недостатков, какие присущи окружающим, и нам не следует слишком гордиться и отгораживаться, нужно поступаться некоторыми своими интересами, но крепко держаться того, что было наиболее главным и уже прочно усвоено нами, от чего мы уже не могли отступиться».

Как видим, общественная программа крестьян-толстовцев была вполне гибкой и «сектанской узостью» (любимое выражение партийных пропагандистов) не страдала. Но беда состояла в том, что к началу 30-х годов советско-партийный аппарат уже не способен был к каким бы то ни было компромиссам. Быстро окостеневающая система эта требовала от граждан абсолютного казарменного послушания. Власти не оставляли обществу никаких общественных альтернатив. В такой однозначной системе отношений толстовцы казались абсурдной, злокозненной сектой. Им не была места на этой земле. И случись в городе Сталинске не Попов и Алфеев, а другие руководители, по отношению к последователям Толстого они творили бы такие же точно злодеяния.

Все это явственно сейчас, через полвека. А тогда, в начале 30-х, причина, по которой толстовский Карфаген непременно должен был быть разрушен, тщательно скрывалась. Убийствами, арестами, высылками коммунаров пытались запугать, чиновники надеялись вызвать среди коммунаров панику, добиться самопроизвольного распада коммун. А коммуны почему-то не распадались...

исполнении толстовских принципов безгосударственной жизни на земле. Они не желали регистрировать в государственных учреждениях устав своей общины, не называли представителям власти своих имен, отказывались платить налоги. Когда их арестовывали, они ложились на землю, заявляя: «Дорогие братья, мы не хотим развращать вас своим повиновением».

К середине 30-х в основных зерносеющих районах страны коллективизация победоносно завершилась. В газетах писали о победах социализма в деревне. Вывезенные на север «кулаки» вымирали со своими семьями, а те, что сохранили жизнь, выбиваясь из сил, работали на лесоповале и на строительстве каналов. Мне запомнился особенно часто повторявшийся тогда лозунг: «Сделаем колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными». Я учился тогда в четвертом или пятом классе, и лозунг этот казался мне вполне естественным: если все вокруг большевистское, то почему бы не быть большевистскими и колхозам. О двойном и тройном значении некоторых слов я узнал позже.

Между тем, лозунг о большевистских колхозах, который в общем-то оставлял горожан равнодушными, для деревни означал очень многое. После того, как почти все крестьяне оказались в колхозах, выяснилось, что властям нужны не всякие колхозы, а только такие, где руководители полностью и безоговорочно выполняют все распоряжения районных, областных и всесоюзных властей. Распоряжения эти сводились в те годы в основном к тому, чтобы колхозы сдавали как можно больше хлеба и других продуктов. В идеале — весь собранный хлеб. И в том числе тот, которым крестьяне должны были кормиться до следующего урожая, и тот, что предназначался на посев будущего года. Колхозы, в которых мужики протестовали против такого грабежа, объявлялись недостаточно большевистскими. Там райкомы партии снимали руководителей, а «на укрепление» посылали рабочих из города. В каждом сельсовете, районе крестьяне имели дело с мелким чиновником и естественно полагали, что вымогательство хлеба и навязывание колхозам городских людей в качестве руководителей есть злоупотребление местное. Но на местах только выполняли распоряжения ЦК, вернее приказы Сталина. А Сталин давал чиновникам-исполнителям совсем не двусмысленные приказы: «Нейтральные колхозы — фантазия людей, которым даны глаза для того, чтобы ничего не видеть. Колхозы могут быть л и б о боль-

шевистскими, л и б о антисоветскими. И если мы не руководим в тех или иных колхозах, то это значит, что ими руководят антисоветские элементы. В этом не может быть никакого сомнения»*.

«Небольшевистскими» были объявлены и коммуны. Как уже говорилось выше, в 1919-1922 годах сотни сельскохозяйственных коммун возникли на волне послереволюционного энтузиазма. Коммуны эти были объявлены тогда высшей формой организации сельскохозяйственного труда. Среди коммунаров было много верующих крестьян, но в 20-х годах это большевиков не только не шокировало, но даже привлекало. В 1931-1935 годах все эти коммуны обязаны были превратиться в колхозы. Официальное объяснение звучало преднамеренно туманно: «для существования коммун еще не назрели подходящие экономические предпосылки». Коммунарам, прожившим сообща 10-15 лет, приезжие чиновники растолковывали, что их коммуна нежизнеспособна, противоречит задачам партии в деревне и т.д. и т.п. Крестьяне пытались ссылаться на свой дружный прочный коллектив, на хозяйственные успехи, но их не слушали. Спорить было не только бесполезно, но и опасно: упорствующих арестовывали, а коммуны все равно превращали в «большевистские колхозы»**.

Преобразования эти совершались вовсе не для экономических выгод. Экономическими резонами страна наша после Октября 1917 года управлялась всего лишь несколько лет (НЭП). И до, и после НЭП'а цели государства носили исключительно п о л и т и ч е с к и й характер. Меры,

---

* И.В.Сталин. «О работе в деревне», М., 1933, стр.14. Подчеркнуто Сталиным.

** Пропагандистам партийным в те годы дана была команда показывать, что коммуны себя не оправдали (особенно коммуны религиозных крестьян, крестьян-сектантов) и распадаются сами по себе. Ф.Путинцев писал в 1935 году: «Мир перестроится сам собой, если каждый из нас станет желать друг другу добра» — учат толстовцы и на примере хотят доказать правильность своего учения. Но из попыток создать прочные артели и коммуны у толстовцев ничего не получилось.

принимаемые руководителями страны в самых разных областях жизни, всегда имели (и имеют) о д н у цель — удержание и укрепление власти. Завершая в 1934 году концентрацию власти, Сталин не мог сохранить коммуны. Коммуны, где членов объединяли общие идеалы, общие духовные цели, были островами свободы в океане колхозного рабства. Коммуна — организм, управляемый изнутри, внешнему управлению поддается он крайне слабо. Колхоз же чисто хозяйственная организация, куда можно назначить любого удобного районным властям председателя. Имея дело с такими пластичными, назначенными сверху председателями, районные партийные власти держат в руках не только каждое хозяйство, но и каждую живую душу. С коммунарами совсем не то...

Общие усилия НКВД и местных партийных организаций свели сельскохозяйственные коммуны по всей стране на нет. А для того, чтобы ни у кого не оставалось сомнения в мудрости Центрального Комитета партии в этом вопросе, пропагандисты в газетах, журналах и специально написанных к случаю книгах принялись разъяснять, что те, кто организовывали коммуны в 1919-1922 годах, «руководились самыми обыкновенными шкурными, кулацкими интересами. Нужно было спасти имущество, спастись от разверстки, труд- и гужповинности, от воинской повинности... Коммунарам давали льготы, привилегии...»* К началу 30-х годов было забыто — как будто никогда и не бывало его — обращение Наркомзема (1921 г.) к сектантам, которых советская власть просила объединиться в коммуны и привилегии давала именно за то, что верующие, трудовые мужики соединились бы в коммуны и подняли бы запущенное и разоренное российское земледелие. Но в 1931-1934 коммунары уже были не «передовой отряд социализма», а «кучка шкурников с кулацким душком».

Впрочем, какие уж там разъяснения в разгар коллективизации! Значительно более естественно выглядели в те го-

---

* Ф.Путинцев. «Кабальное братство сектантов». М.,1931, стр.105.

ды приказ, угроза, хамский замах кулаком. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы сектантские хозяйственные коллективы объединялись в какую-то особую от общекооперативной сеть или входили в общегражданскую кооперативную сеть на каких-то особых условиях..."Мы хотим иметь полную свободу действия и распоряжаться колхозами так, как желаем..." Ясно, что удовлетворение подобных требований не в привычке большевиков. У нас диктатура пролетариата, и на "послания апостолов" мы отвечаем: не по адресу попали, голубчики, адресат скончался в октябре 1917 года»*.

С коммунами толстовцев повторилось то же, что и с коммунами молокан, духоборов, малеванцев. Очередной председатель горсовета товарищ Лебедев (по описанию Бориса Мазурина: «большой, румяный, сильный человек») приехал в поселок, собрал общее собрание и предложил коммунарам перейти на устав сельскохозяйственной артели (колхоза). Не привыкшие скрывать свои взгляды толстовцы ответили, что в коммуне они живут «по сознанию и по велению к такой форме жизни», что форма эта их удовлетворяет и дает хорошие хозяйственные результаты. Весомых встречных аргументов начальство, очевидно, не припасло, так как привыкло к полному и повсеместному подчинению своей воле. Вышеупомянутый товарищ Лебедев смог только процитировать слова товарища Сталина о том, что в коммунах могут жить или дураки или религиозные аскеты. Толстовцы скромно ответили: «Пусть будет так, пусть мы дураки и религиозные аскеты, но мы хотим продолжать жизнь коммуной». На такие наглые речи товарищ Лебедев мог ответить только так, как отвечали в те годы каждому, кто пытался отстаивать «антисоветскую позицию»: он возбудил против группы толстовцев судебное преследование по обвинению в контрреволюционных и антисоветских действиях.

Их арестовали солнечным теплым утром 26 апреля 1936 года. Схватили девять человек: председателя Совета ком-

---

* И.Морозов. «Сектантские колхозы». М.-Л., 1931, стр.53.

муны Бариса Мазурина, Дмитрия Пащенко, двух стариков-крестьян Егора Епифанова и Ивана Гуляева и пятерых учителей: братьев Густава и Гюнтера Тюрков, Клементия Красковского, Ольгу Толкач и Анну Барышеву. Десятым несколько позже был арестован Дмитрий Егорович Моргачев. Он должен был по замыслу работников НКВД исполнять роль свидетеля, но отказался давать показания и оказался обвиняемым. Одиннадцатым был Яков Драгуновский.

За ним пришли 8 августа 1936 года. Вот как описывает арест своего отца Иван Яковлевич Драгуновский:

«Седьмого августа 1936 года, в субботу, отец, возвращаясь... со своего ручного огорода, идя полем по густой траве, упал своей правой больной ногой в ямку или нору какого-то зверька и сильно разбередил язвы, с которых ручьем хлынула кровь. Помочь было некому, так как он шел один, и отец кое-как, передвигая ногу руками, пришел к вечеру домой. Дома мы... обмыли и забинтовали ногу, завернули отца в мокрые простыни, как он делал ежедневно для облегчения болей и лечения больной ноги. На другой день было воскресенье, и ввиду дня отдыха мы все: я, Клава, Фрося (жена), Люба и маленький Алик весь день были дома. Отец, привыкший к боли, не стонал, а молча смотрел вверх своими задумчивыми грустными глазами. Под вечер к нашему дому подошла лошадь, запряженная в телегу, с которой слезли двое молодых вооруженных людей и вошли к нам в дом. Подойдя к лежавшему в кровати отцу, они сказали ему, чтобы он вставал, так как они приехали арестовать и увезти его. Отец продолжал лежать и смотреть на молодых людей удивленными глазами. Тогда они сдернули с него одеяло, развернули мокрые простыни, и перед их взорами открылось голое, худое, изнуренное тело с ужасной окровавленной ногой... Исполнители закона обратились к нам четверым и просили нас помочь им, сделать якобы доброе дело, одеть нашего голого отца, чтобы меньше его мучать. Мы все четверо отказались. Тогда они, превозмогая неловкость, стали искать белье и верхнюю одежду, стали, как мертвеца, одевать его.

Кое-как одев отца, они взяли его за руки и за ноги и понесли из дому. В это время на улице возле телеги собралась большая толпа коммунаров, по привычке предвидевшая что-то нехорошее. Молодые исполнители закона положили отца в телегу и, севши сами в нее, быстро помчались из деревни, убегая от взоров людей...»

Он бы вполне мог остаться на воле, этот немолодой смоленский крестьянин-инвалид. Среди активистов коммуны он не числился. После ареста и сидения в Смоленской тюрьме за отказ служить в Красной армии, после неудачи с организацией колхоза в Ставрополье, Драгуновский осел с детьми и внуком в коммуне «Жизнь и Труд». Он много читал, размышлял о философии толстовства, но к практическим делам в коммуне никакого отношения не имел. Однако в роковые для его единомышленников дни Яков Дементьевич не пожелал остаться безгласным свидетелем беззакония. В мае, когда десять его единомышленников уже сидели в камерах Первого дома, Яков Драгуновский написал нечто вроде защитительной речи. В речи этой попытался он примирить «коммунизм пролетарского государства» с коммунизмом толстовцев. Человек чрезвычайно начитанный, знающий труды Шопенгауэра, Беркли, Канта, он владел терминологией индуизма, читал Ганди и Ремарка, М.Горького и Льва Толстого. И вот всю эту тяжелую интеллектуальную артиллерию крестянин-мыслитель обратил на то, чтобы примирить «враждующие силы» и тем самым спасти своих товарищей. В своем письме к властям Драгуновский утверждает, что у пролетарского государства и толстовцев — единые цели, и только взаимное непонимание мешает им, взявшись за руки, итти к вершинам общественного совершенства. Стоит только **понять** друг друга, и сами собой отпадут беззакония государственных чиновников и недостойные поступки отдельных толстовцев. Этот-то, по существу сократовский меморандум, переписанный в нескольких экземплярах, был отправлен в управление НКВД Новосибирска и Сталинска.

«Я хотел бы уяснить, — писал Яков Драгуновский. — 1. обладает ли коммунистическое общество абсолютной истиной, безусловной и необходимой для единения и жизни людей, и является ли справедливым, что это общество насилием подгребает под эту истину инако-мыслящих людей; 2. являются ли так называемые «толстовцы» преступниками перед этой общей истиной, перед общей жизнью, за что следует их арестовывать, держать в тюрьме, готовить им суровое наказание».

В этом вопросе Якова Дементьевича не скрывалось ни яда, ни насмешки. Как и другие толстовцы, Драгуновский годами размышлял о том, насколько правомерен и правомочен коммунистический строй, и нет ли в марксово-ленинской мудрости чего-нибудь такого, чего они, толстовцы, не оценили, не поняли. Они готовы были обсудить любые аргументы власти, но с горьким изумлением снова и снова убеждались, что у новых хозяев страны, как и у старых, кроме насилия, нет иных агрументов. Драгуновский был среди своих единомышленников человеком наиболее склонным принять и обсудить любую встречную идею. Но ему даже в суде отказали в праве на диалог, на защиту своих взглядов. В своем втором письме, посланном вскоре после первого, Яков Дементьевич приходит к выводу, что взгляды коммунистов не есть истина в последней инстанции, а следовательно, у них нет и права держать инакомыслящих в тюрьмах. «А поэтому, — написал он, — прошу освободить друзей толстовцев до суда и после суда, то есть и вовсе не судить их, ибо не за что. Своей просьбой я буду взывать к Вам, пока Вы разумом не осознаете свою ошибку и не отпустите заключенных».

Читаешь письмо Драгуновского и не знаешь, чему больше изумляться: мудрости или наивности автора. Перед нами документ, написанный европейски мыслящим человеком, для которого Закон и Право — понятия отнюдь не относительные. Яков Дементьевич чтит Закон, но требует, чтобы судьи д о к а з а л и правоту своих обвинений. А ведь в доказательстве и состоит процедура любого евро-

пейского судебного разбирательства. Крестьянин Драгуновский готов принять догматы молодого государства, но при этом просит не отвергать древних, как мир, основ нравственности. Как и многие его единомышленники, Яков Дементьевич убежден в том, что словом можно пробудить в человеческой душе добро, раскаяние, стыд. Виноват ли он, что родился в эпоху, когда все эти добродетели объявлены предрассудками и вышвырнуты вон? За свои письма Драгуновский был арестован, осужден как враг советского режима и сослан в лагерь. Живым из рук пролетарского государства он не вышел*.

Через десятки лет из той далекой весны 1936 года доносится до нас и другой голос. Он принадлежит юноше-немцу Густаву Тюрку. Горожанин, сын преподавателей (отец и мать его окончили Московский университет и учили детей в толстовской школе), Густав Тюрк и сам был прирожденным учителем. Прощание с коммуной было для него прежде всего расставанием со своим четвертым классом.

«Взрослые коммунары и старшие ученики со слезами на глазах простились со мной в поселке, — писал он впоследствии. — Но моя четвертая группа тесной толпой, в своих сереньких зипунишках, неотступно провожала меня по дороге... Скрылись дома поселка, телега покатилась по ухабистой дороге. Конвойные полагали, что дети скоро отстанут, но они шли и бежали с упорством и сосредоточенностью взрослых, потерявших что-то самое дорогое. Мои провожатые требовали, чтобы я отогнал детей... Я отказался гнать их от себя, это было выше моих сил».

Густав Тюрк рассказывает, как ехавшая впереди его телеги пролетка повернула назад, и офицер НКВД, напирая на детей крупом лошади, ругаясь и размахивая кнутом,

* Драгуновский Я.Д., осужденный по статье 58-1, отбывал наказание в Мариинских лагерях. Расстрелян в лагере по одним сведениям в декабре 1937 года, а по другим — в начале 1938-го. Подробнее о нем в главах «Золотой век» и «В поисках земли обетованной».

прогнал их в деревню. «И вот, все дальше и дальше толпа моих детей, — вспоминает юный учитель, — уже не видно отдельных лиц, все слилось в одно серое пятно, скрывшееся потом за поворотом дороги. И это прощание, как талисман, унес я с собой в долгие годы новой скитальческой жизни»*.

Третий дошедший до нас отклик на арест толстовцев принадлежит Борису Мазурину. С обычным своим достоинством биограф и первый руководитель коммуны «Жизнь и Труд» записал:

«День 26 апреля 1936 года был поворотным в моей жизни. В этот день меня увели насильно из свободной коммуны в неволю, в другой мир, за заборы... Вернулся я более чем через десять лет, когда коммуны уже не было и когда пришлось знакомиться вновь со своими детьми.

У меня возникло сомнение — рассказывать ли о том, что было дальше, после 26 апреля... Но я все же решил, что стóит. Потому что с этого дня коммуна наша стала расширяться. Все больше и больше ее членов стали оказываться в разных далеких и глухих местах Сибири и Северной России. И так, расширяясь вширь, коммуна стала слабеть и уменьшаться в своем гнезде, пока не перестала быть коммуной к январю 1939 года».

Впрочем, до того времени еще много воды утекло в северных реках. Весной 1936 года коммуна «Жизнь и Труд» отметила пятую годовщину сибирской жизни. Событие это настроило толстовцев на торжественный лад. Откликнулись на него и ожидающие суда заключенные. Густав Тюрк, сидя в камере, написал и сумел передать на волю большое юбилейное стихотворение. Заканчивалось оно мажорно:

Друзья, вперед и вдаль
Свой понесем мы свет.
Нам не к лицу печаль,
Дадим себе обет —

* Густав Тюрк. «Воспоминания». Рукопись, 60-е годы.

Теперь же иль потом
Готовым быть на то,
Чтоб понести ответ
За пять истекших лет!..

Нести ответ коммунарам пришлось через семь месяцев после ареста. По иронии судьбы суд начался 20 ноября, в день смерти Льва Толстого. Судила выездная сессия спецколлегии Западносибирского краевого суда (из Новосибирска). Председательствовал Тармышев, при членах суда Рощикове и Прокопьеве и секретаре Григорьевой. Прокурором был Гольдберг. Процесс шел при закрытых дверях и продолжался пять дней. Может быть самым странным в этом процессе было поведение подсудимых. Эти люди не проявляли ни страха, ни раскаяния. Приведенные из разных камер в судебное помещение, они так шумно выражали радость по поводу встречи друг с другом, что их смех и веселье шокировали серьезную даму — секретаря суда. «Как вы себя ведете? — возмутилась она. — Как будто у себя дома...» — «А разве мы не дома?» — со смехом отвечали коммунары и беззлобностью своей смягчили даже зачерствевшее сердце судебной чиновницы.

Впрочем, и в камерах, и на допросах толстовцы вели себя столь же свободно и независимо. Виновным никто из них себя не признал, но это не мешало им сохранять со следователями вполне человеческие отношения. Перестукиваясь через стены камер, они все вопросы решали сообща, подбадривали друг друга и других заключенных. Особенно необычным для тюремщиков было поведение Драгуновского. На допросы его водили из тюрьмы в другое помещение. И всякий раз, возвращаясь к воротам тюрьмы, он заявлял конвойным: «Мне туда не надо» и ложился на землю. «Намордников» — ставней, закрывающих окна, в старенькой кузнецкой тюрьме в то время еще не было, и заключенные с веселыми шутками и смехом встречали этот кортеж: два вертухая несли улыбающегося Якова Драгуновского, а тот, с развевающейся бородой, торжественно

восседал на их руках и еще помахивал друзьям ладонью. «Все это получалось как-то добродушно, он /Драгуновский/ и сам не напрягался и не ожесточался и такое же настроение создавалось у окружающих», — пишет Мазурин. Когда следствие закончилось, толстовцы отказались знакомиться с обвинительным заключением. Моргачев писал впоследствии: «Я отказался по той причине, что не хотел возбуждать в себе дурных чувств против тех, кто на меня показал дурно, ложь»*.

Такое же независимое и в то же время беззлобное поведение сохранило большинство из них в зале суда. После того, как свидетельница Комарова, продавщица из соседнего села, бойко рассказала про то, как Мазурин и Моргачев занимались контрреволюционной агитацией, Борис Мазурин попросил резрешения задать ей вопрос. «Как моя фамилия?» — спросил он. Комарова замялась, покраснела и вдруг выпалила: «А как?» — «Тюрк моя фамилия», — ответил Мазурин под смех товарищей и улыбки членов суда.

Однако не всем удавалось так же легко переносить судебную комедию. Анна Григорьевна Барышева, женщина средних лет, учительница толстовской школы, уже посидевшая в Соловках, не скрывала своего отвращения и презрения к происходящему. Она не вставала при входе судей и со всей присущей ей прямотой говорила суду то, что думала о положении рабочих и крестьян в Советском Союзе. А когда прокурор Гольдберг, маленький кругленький человечек, обвинив толстовцев в срыве мясозаготовок, с пафосом воскликнул: «А если я мяса хочу?», — Барышева с места крикнула ему: «Заведите себе свинью и ешьте ее». Этот выпад вызвал в зале взрыв хохота: очень уж был прокурор похож на одного из трех поросят, героев недавно появившегося на экранах фильма Диснея**.

---

* Д.Е.Моргачев. «Моя жизнь». Машинописный экземпляр. 1973 г.

** А.Г.Барышева была расстреляна в Мариинских лагерях в январе 1938 года. Когда Д.Е.Моргачев спросил в 1939 году о ее судьбе своего следователя, тот ответил: «Барышева отправлена в туманные дали».

В чем обвиняли коммунаров? В том, чего они и сами не отрицали: да, у них есть толстовская школа, но существование ее разрешено ВЦИК'ом; верно — они не выполняют приказов об участии в лесозаготовках, но как переселенцы они на три года освобождены от этой повинности; конечно же, им присущи толстовские убеждения и они выражают их как устно, так и письменно, но это вовсе не тайна, на основе этого принципа и была создана их коммуна, принцип этот четко изложен в уставе их сообщества. Но всем этим общеизвестным фактам суд 1936 года придавал совсем другое значение. Судьи искали и находили во всем контрреволюционный замысел, антисоветскую направленность.

Впрочем, они были милостивы, эти новосибирские судьи. Егора Епифанова, Гюнтера Тюрка, Дмитрия Пащенко и Ольгу Толкач они оправдали полностью. Остальных осудили по статье 58 Уголовного кодекса — контрреволюционные действия, приговорив старика Гуляева и Дмитрия Моргачева к трем годам лагерей, Бориса Мазурина, Густава Тюрка, Якова Драгуновского к пяти, а Анну Барышникову к десяти годам лагерей.

У этого судебного разбирательства было, однако, продолжение. Через год после суда прокурор республики Рогинский опротестовал решение Новосибирского суда как «слишком мягкое». Из Москвы последовало распоряжение вынести толстовцам более строгое наказание. Четырех коммунаров, первоначально оправданных, снова арестовали. Два года, сидя в переполненных камерах, где от духоты и тесноты заключенные теряли сознание, эти четверо ожидали суда. И даже не суда, а полного сбора других осужденных по тому же делу. Анна Барышева и Яков Драгуновский были уже к этому времени расстреляны. Бориса Мазурина, Моргачева, Гуляева, Густава Тюрка разыскивали весь 1938 и весь 1939 годы. Они в это время, разбросанные по разным лагерям, валили лес, прокладывали дороги в непроходимых болотах. Их лагерная жизнь

могла бы стать темой целой книги. Вот лишь один эпизод, описанный Дмитрием Егоровичем Моргачевым:

«В этом лагере (имеется в виду лесозаготовительный лагерь, 41-й квартал в районе реки Томь — *М.П.*) был ужасный деспотизм. Зимой в мороз на работу выгоняли до света, в темноте, и держали во дворе, у шахты, не менее двух часов, пока начальство ходило по баракам и углам, разыскивая и выгоняя на работу тех, кто заболел или не хотел выходить. Наконец тронулись, больные отстают, их бьют, гонят. В лес заходим на огромный участок, обведенный конвоем свежей линией; шаг за лыжню — считается побег... Бывает снег до двух метров, итти по нему нельзя, тогда становишся на четвереньки и ползком... по лесу... Кто работает, а кто мерзнет у костров (доходит). Уже к сумеркам рабочий день кончается. Итти домой в барак километров пять-семь, снег сыпучий по дороге, конвой требует порядка в рядах, больные падают, не могут итти, их опять гонят, бьют. Мы с Борисом (Мазуриным — *М.П.*) просим разрешения нести больного на плечах... Приносим больного в лагерь, сдаем в стационар, утром зайдем узнать о его здоровье, а он уже умер. В лагерь приходят все замерзшие, мокрые и спешат по баракам, а тут крик: на поверку! И все опять выходят на мороз, стоят в рядах иногда по полтора-два часа, пока конвой пересчитает всех... Наконец, кричат: разойдись! На ужин! А ужин — миска жидкой баланды и 600 граммов хлеба при выполнении нормы, а кто не выполнил — 300 грамм».

«Летом, — продолжает Моргачев, — нас, человек 400 "контриков" (контрреволюционеров — *М.П.*) перегнали из барака в овощехранилище, под землей. Сырость, мрак, плесень, дым от железных печек, а сверху сыплется песок, ни одной ложки не съешь без песка. Здесь люди быстро доходили и умирали. Иногда за одну ночь в лагере умирало до 19 человек...»*

---

* Д.Е.Моргачев. «Моя жизнь». Рукопись.

Второй суд над толстовцами-коммунарами состоялся весной 1940 года. К этому времени уже не осталось в живых ни секретаря Сталинского горкома партии Хитарова, ни председателя горсовета Лебедева, того, что возбудил судебное преследование толстовцев. Был расстрелян и прокурор республики Рогинский, который потребовал ужесточить для толстовцев первый, «слишком мягкий», приговор. А мужики из коммуны остались теми же: после судебного заседания, разведенные по камерам, получив от десяти до пятнадцати лет лагерей, они начали перестукиваться друг с другом через стену. «Тук-тук, — ликовал Егор Епифанов, — Как хорошо!» — «У меня как праздник!» — "радировал" Борис Мазурин. Да, это был праздник, ведь они ожидали расстрела...

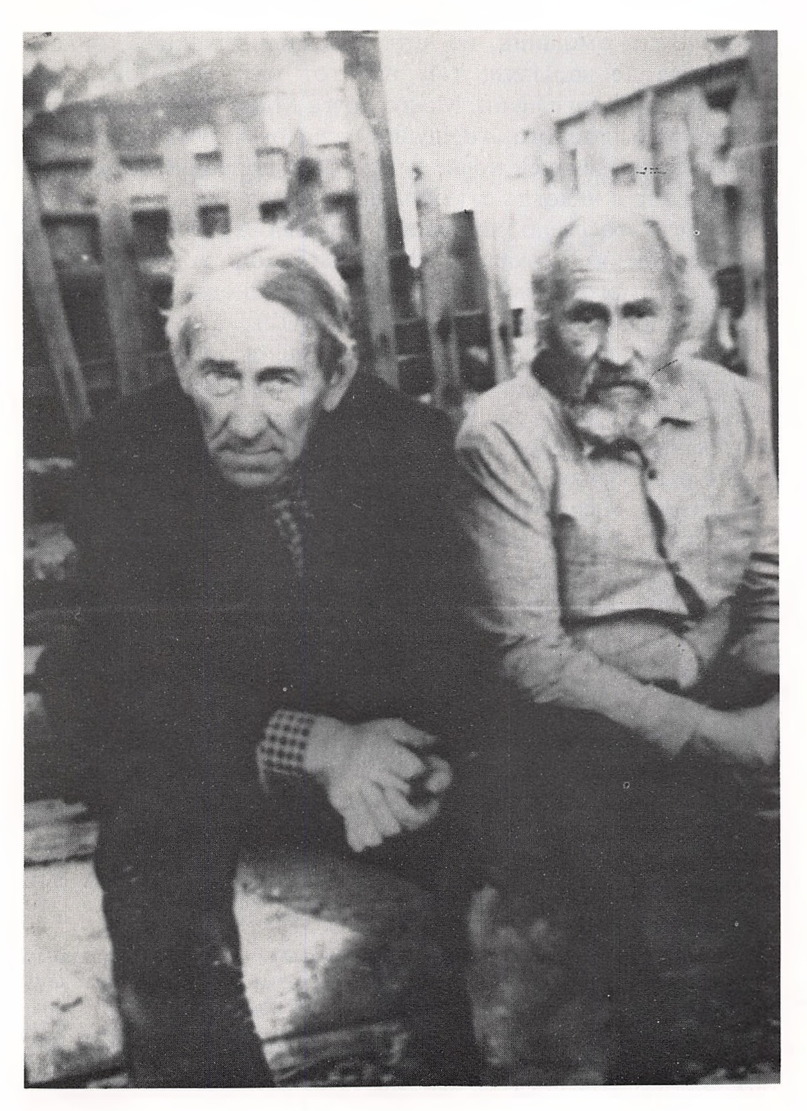
...Коммуна умирала. Еще после первого суда над «головкой» районные власти постановили считать «Жизнь и Труд» обычным колхозом. Коммунары стали в глазах начальства колхозниками и как таковые начали получать из районного центра извещения об обязательной поставке с приусадебного участка яиц, молока, шерсти, шкур. Приусадебные участки эти числились в бумагах чиновников, но у коммунаров по-прежнему не было ни собственных кур, ни овец, ни коров, ни огородов. Не было соответственно ни яиц, ни молока, ни шкур, ни шерсти. Отказ от выполнения поставок продуктов государству влек к новым репрессиям, штрафам, арестам. Кое-кто угроз и страха ареста не выдержал: среди толстовцев появились предатели. Немного, но нашлось. Тайно и явно доносили властям на единомышленников Иван Рябой, Онуфрий Жевноватый, Иван Андреев. Простые крестьяне, с верой в счастливую жизнь среди единомышленников ехали они в Сибирь, а сил и мужества отстоять себя не хватило, стали иудами.

Впрочем, и безо всяких доносов и даже без ордера на арест вскоре начали хватать коммунаров. В 1937 году взяли и сослали в лагеря 40 человек, в 1938-м — еще 16. Павла Малород и Николая Красинского, прежде уже сидевших в тюрьме, арестовали, когда по поручению комму-

ны они навещали в лагере Драгуновского и учительницу Барышеву. Обоих расстреляли за «помощь врагам народа». А помощь в том только и состояла, что посланцы коммуны пытались принести своим заключенным товарищам приветы от родных и несколько буханок хлеба. Вскоре арестовали трех последних членов Совета коммуны Петра Литвинова, Льва Алексеева, Алексея Шипилова. Эти трое отбыли по десять лет в лагерях и по восемь лет ссылки в Красноярском крае. Крестьянина Фаддея Заболоцкого, очевидно ради разнообразия, направили на принудительное психиатрическое лечение в тюремную больницу...

В 1937 году началась настоящая охота за крестьянами-толстовцами. Последние оставшиеся на свободе мужики уже не рисковали ночевать дома, а скрывались по стогам, омшаникам, на чердаках. Но облавы продолжались, крестьян разыскивали, избивали, волокли на расправу в подвалы Сталинского Первого дома. Вот некоторые эпизоды этих лихих лет, записанные коммунаром Иваном Яковлевичем Драгуновским, сыном Дементия Драгуновского.

«Под вечер я ушел из поселка коммуны по глубокому снегу на пасеку, которая находилась в трех километрах от поселка в красивом лесу. Туда же ушли Лев Алексеев и Анатолий Иванович Фомин. Лева и Анатолий сразу же залезли на чердак большого, под соломенной крышей омшаника, а я расположился в комнате на полу, где жил наш пчеловод Благовещенский со своей женой Дусей. Спали мы плохо, тревожно. В полночь раздался стук в дверь, и через минуту отворилась не закрюченная дверь и в комнату вошли четверо мужчин с зажженным фонарем. Трое из них были с пистолетами в руках, четвертый был без оружия — член коммуны Онуфрий Жевноватый. Осветили мне лицо, спросили у Онуфрия мою фамилию и сказали: «Нет, этого пока не надо»... Стали производить обыск по всему дому; перевернули все вверх дном; расшвыряли по дому все вещи и книги, но кроме художественной литературы ничего не нашли. Трое из них пошли



Братья Сергей и Петр Алексеевы — толстовцы с 20-х годов. Бывшие члены коммуны «Жизнь и Труд». Пос. Тальжино, Западная Сибирь. 1976.

обыскивать омшаник, но через полчаса вернулись, никого и ничего не нашедши там на этот раз. На чердак они почему-то не заглянули. Моего друга Мишу Благовещенского, милого, доброго, тщедушного человека увели в темноту холодной зимней ночи, не дав мне попрощаться с ним, и с тех пор я никогда его больше не видел...

Когда рассвело, пришли с чердака Анатолий и Лева, посиневшие и дрожащие от зимнего холода и от ужаса, производимого умными, но заблудшими людьми. Они остались в доме обогреться и успокоиться, а я отправился в поселок коммуны, но на пути решил зайти в Долину Радости, где жил один в своей маленькой избушке Федя Катруха, ручник—свободник, брат моей жены Фроси*. Спускаясь в глубокий лог, я увидел возле избушки на снегу разбросанную бедную утварь и кучи золы. Я вошел в избушку. Федя лежал на кровати под одеялом с серьезным и грустным лицом. На полу были разбросаны вещи, листы изорванных книг и также куча золы посреди пола... Я заметил у него на лице и шее следы сильных побоев. Я просидел у Феди с полчаса или более, но за это время мы не проронили ни слова, слова были не нужны... Книги его были все уничтожены; часть сожгли прямо в избушке на земляном полу, часть на улице. Вещи и посуда были поломаны и перебиты, а кое-что похищено».

Иван Драгуновский пришел домой в поселок и нашел следы погрома также в своем собственном доме. Он пишет:

«Фрося (жена Ивана Драгуновского — *М.П.*) и моя сестра Люба сидели бледные и молчащие. Двухлетний сын

* Братья Михаил и Федор Катрухи детьми приехали с матерью в коммуну с Украины. Они не считали возможным использовать («эксплуатировать») в сельском хозяйстве лошадей и поэтому работали в поле только собственными силами. Михаила чины НКВД схватили 26 октября 1937 г., когда он пришел из леса к сестре в поселок коммуны. Федор при аресте отказался итти. Его запихали в матрац, привязали к хвосту лошади и так, избивая по дороге, волокли до поселка, где, опять-таки в мешке, положили в сани. Он погиб в лагере.

Алик сидел на коленях у своей мамы и прижался к ней с испуганным личиком. Они рассказали мне следующее. В два часа ночи к ним постучали в дверь. Фрося вышла в сени и спросила, кто там. С улицы кричат: «Отворяй без разговора, мы из НКВД!» Фрося ответила им: «Позовите с собой кого-либо из моих соседей, тогда я вам открою, а то ведь я вас не знаю». Тогда назвавшие себя НКВД взяли из кучи лежавших на дворе дров сырое березовое бревно и стали им разбивать дверь. Когда эта дверь была разбита, они вошли в сени и начали таранить вторую дверь в комнату. Фрося поняла, что они и вторую дверь также разнесут в щепки и тогда она с маленьким ребенком замерзнет. Она отворила им дверь.

Вошли несколько вооруженных пьяных людей, назвавших себя НКВД. Они сразу стали кричать, выражаться нецензурными словами, полезли в подполье и стали обыскивать квартиру. «Где Михаил Катруха?» — был их первый вопрос. Фрося им ответила: «Я только про себя знаю, а про других людей я ничего не знаю», и больше ничего не стала им отвечать. Долго кричали и матерились эти хмельные люди, угрожая Фросе и Любе оружием и все добивались: «Где Михаил Катруха?..» Про меня они почему-то пока не спрашивали. В эту ночь многих коммунаров увели в город, в тюрьму, и почти никто из них уже не вернулся ни домой, ни к этой жизни...»

Иван Драгуновский продолжал скрываться всю осень и зиму 1937 года. Вместе с ним прятался Михаил Катруха и другие мужчины-коммунары. Одну из ночей молодой толстовец провел у соседей, прямо за стеной своего дома. Молодых членов этой соседской семьи уже арестовали, и дом поэтому считался более или менее безопасным. Среди ночи Иван услышал за стеной отчаянный визг своего ребенка. В нижнем белье, босой, он выскочил на улицу. Ночь была морозная, лунная. Прижавшись лицом к окну своей избы, он увидел, как энкаведешник тычет револьвер в лицо его жены Фроси. Иван хотел вбежать в избу, но что-то его удержало.

«Что это было? Трусость или немой ужас сковал мне рот?! Не знаю, — пишет Драгуновский. — Я решил ждать конца этого кошмара, хотя ноги у меня уже примерзли к снегу и ничего не чувствовали». Энкаведешник еще несколько раз грозил Фросе вогнать ей пулю в лоб, если она не скажет, где ее муж, но, не добившись ответа, сел отдыхать. Все молчали, только жалобно стонал ребенок, которому стражи государственной безопасности вывихнули руку. Покуривши, стражи заявили Фросе, что если она не скажет, где ее муж, то ее арестуют вместо Ивана Драгуновского. Женщина снова ничего не ответила. Иван решил, что, если арестуют жену, он войдет в избу. Но неожиданно произошло событие, которое изменило всю ситуацию. В четыре часа ночи дверь отворилась и порог перешагнул Михаил Катруха, родной брат Фроси. Его давно уже искали, и он прятался по ночам, возвращаясь в поселок после рассвета, когда чины НКВД уже заканчивали очередную облаву. Но на этот раз он поторопился домой и сразу попал в руки озверевших солдат. Иван Драгуновский видел и слышал, как они бросились на него с криком: «Как фамилия?» — «Зачем вам моя фамилия? — ответил Катруха. — Я человек, скажите, что вам от меня нужно?»

Драгуновский продолжает:

«Они вывели Мишу в сени, завели в пустую холодную кладовку, свалили его на пол, сели ему на руки и на ноги и один из них стал его бить по голове и по лицу деревянной сапожной колодкой, спрашивая: «Как фамилия?» Миша молчал... Начинало рассветать. Вот из моей квартиры вывели Мишу Катруху и подвели к подводам, уже нагруженным, как дровами, старыми и малыми коммунарами. Я все ждал: не поведут ли или не понесут ли из нашего дома Фросю. Нет. Видимо, оставили... Вот несколько саней, нагруженных в свалку людьми, поехали из поселка. Большая толпа женщин и детей провожала их...

Коммуна опустела, лишившись почти всех мужчин, и ночные налеты и облавы НКВД стали постепенно стихать, да и арестовывать стало уже некого. Мы закрыли свою

квартиру и не стали в ней жить. Маленький Алик стал по ночам вскрикивать и прижиматься к маме. Руку ему вправили, и она зажила. Днем, увидя милиционера на улице, он в страхе прижимался к Фросе».

Этот страх, очевидно, испытывали и родители ребенка. Во всяком случае, Иван Драгуновский решил отправить жену и ребенка к родным на Украину. Фрося и Алик уехали, но не прошло и десяти дней, как Ивана, скрывавшегося в лесной избушке, схватили. Это произошло все в той же Долине Радости, где Иван завел себе огород и даже успел его засеять подсолнухом и пшеницей. Убирать урожай ему не пришлось. Не досталось ничего и его семье. Когда Фрося вернулась в сибирский поселок и собрала урожай, засеянный мужем, перевезла домой и намолотила, у нее отняли все до последнего зерна. Она с ребенком голодала, а в Первом доме сменявшие друг друга следователи НКВД вымогали у ее мужа признание в том, что он контрреволюционер, писал сочинения против советской власти и рассылал по всей стране, не платил налоги и призывал других крестьян не платить и не давать лошадей Красной армии.

С изумлением и ужасом описывает крестьянин Иван Драгуновский многомесячное пребывание свое в тюрьме. В небольшой камере набито было по 150-200 человек, это были в основном крестьяне. «На бетонном полу стояли лужи человеческого пота, — пишет Драгуновский. — Все сидели, стояли, лежали голые и как рыбы с разинутыми ртами... притока свежего воздуха не было и многие, особенно со слабым здоровьем, впадали в тяжелые обмороки. Мы стучали в дверь и кричали, что люди задыхаются и умирают. Наконец стражники открывали двери, полуживых людей вытаскивали в коридор, обливали холодной водой и, едва приведя в чувство, их снова впихивали в кучу человеческих мокрых, кишащих живых тел...» Кстати сказать, в одной из таких камер повстречал Иван Драгуновский среди заключенных того прокурора, что, бывши на воле, санкционировал арест толстовцев. На вопрос, зачем он это сделал, прокурор только и мог ответить своей жертве, что

его заставляли: «Я нисколько не обиделся на него, — пишет Драгуновский. — Мне было жаль его»*.

Коммуна умирала. 1 января 1939 года состоялось последнее общее собрание толстовцев-коммунаров. Мужчин к этому времени почти не осталось. Прочитав новый устав сельскохозяйственной артели (колхоза), распределили скот, дома. Люди расходились подавленные. «Коммуны больше нет, — сказал в тот день молодой коммунар Сергей Юдин. — Теперь каждый может поступать, как хочет, по своей вере и по своей совести...» Через два года погиб и этот юноша-толстовец. Совесть не позволила ему взять в руки оружие в 1941-м...

О «посмертной» истории коммуны «Жизнь и Труд», когда влились в поселок на берегу Томи и другие люди, с другими принципами, когда не стало ни честного труда, ни просто жизни, рассказала бывшая коммунарка, а позднее колхозница Н. Рассказ ее записан был дословно одним из историков коммуны:

«Пошли в колхозе мы, бабы, вязать рожь. Ну, я вяжу, как всегда раньше вязала — снопы большие, тугие, чистые, а на другой день смотрю: моя фамилия на черной доске, а другие бабы на красной. Потом я стала присматриваться, как работают те, кто на красной доске, и сама так стала, кое-как, лишь бы побыстрее и побольше, да и приврешь еще бригадиру, когда прийдет считать снопы — выработку. Гляжу, и моя фамилия появилась на красной доске!

...И стали мы все, бабы, ворами, вся жизнь стала на воровстве. Мужиков нет, детей кормить, растить надо, общей столовой, как прежде в коммуне было, нет, а на трудодень дадут по двести граммов озадков, вот и живи! Ну, и тащишь все. Идешь с работы, тащишь картошку, свеклу, капусту, где что работаешь, да еще и ночью к кучам на огород сходишь. А корову тоже прокормить надо, она главная кормилица семьи. Целый день с темна до темна

* Иван Драгуновский. «Из воспоминаний». Алтай, село Абашево. 1940 год.

на колхозной работе, а в «свободное» время и вари, и стирай, и корове коси. Ну, и будишь ночью своего мальчика и идешь по глубокому снегу на ток с саночками — озираешься как вор, — мякины или соломы привезешь... Вот так и жили. Вот поэтому-то я и не хотела, чтобы дети в колхозе оставались, приучались к воровству, а я-то уж ладно — куда денешься?..»

Глава XI

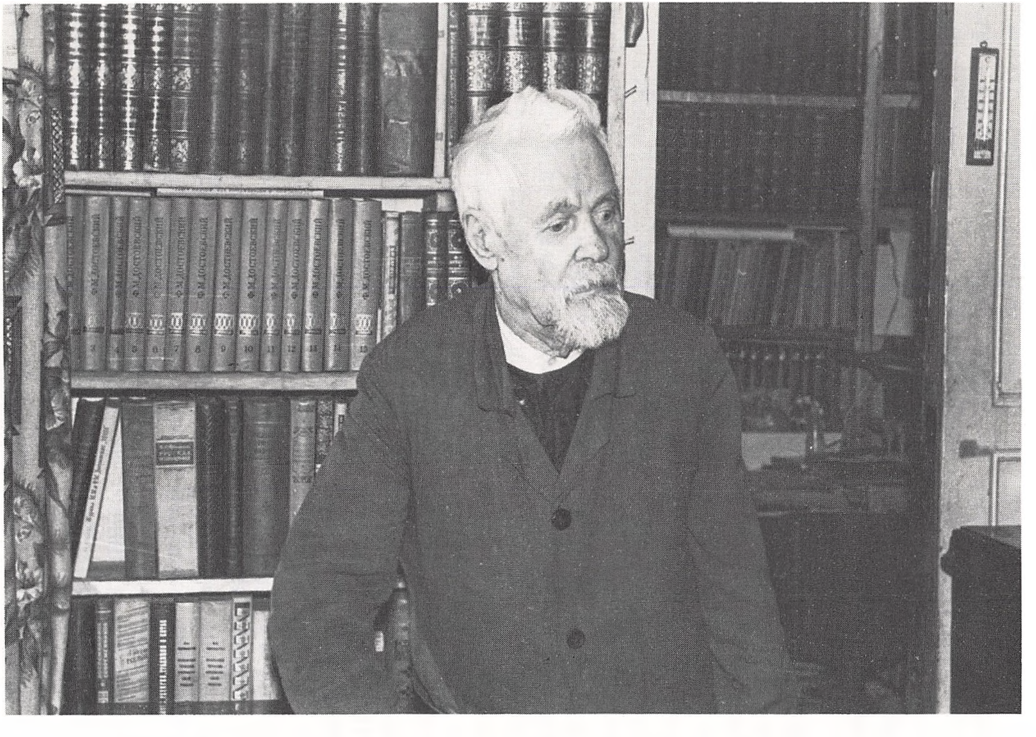
НЕ ПОДНЯВШИЕ МЕЧА

В начале 1977 года я получил письмо от старика-толстовца Ильи Петровича Яркова из Куйбышева (прежде город Самара):

«Читали ли Вы в "Правде" за 23 января об акте нового президента США? — писал он. — А сколько у нас было расстреляно молодежи за отказ участвовать в войне по религиозным убеждениям! Был расстрелян, между прочим, и я, хотя пока жив. В той роте, в том полку, куда я был условно зачислен, был вывешен приказ обо мне, что за отказ приговорен к ВМН и что приговор "приведен в исполнение"»*.

Илья Петрович — один из тех русских интеллигентов-самоучек, что полной чашей испил за свою приверженность к идеям Льва Толстого. Высшего образования этот сын самарского мещанина не получил, да и среднего не закончил, но мне редко приходилось встречать человека более начитанного в вопросах философии, истории и литературы. Ныне живет он с женой на пенсию в 57 рублей в месяц, но, как ни убоги их материальные возможности, Илья Петрович не соглашается расстаться ни с одним томом своей богатейшей, собранной за долгую жизнь библиотеки. Он и сам — автор ряда исторических рукописей, среди которых наиболее интересна завершенная в конце 60-х годов автобио-

* Письмо от 23 января 1977 года. Речь шла об амнистии, которую президент Картер объявил военнослужащим США, самовольно покинувшим поле боя во Вьетнаме. ВМН — высшая мера наказания (расстрел).



Толстовец И.П.Ярков (род. в 1892). Куйбышев. Октябрь 1976.

графическая повесть «Моя жизнь»*. Крестный путь этого убежденного толстовца начался в 1915 году. Призванный в армию, двадцатитрехлетний конторщик Ярков в соответствии со своими религиозными убеждениями отказался взять в руки оружие. Последовали два судебных процесса, в результате которых он был приговорен к «лишению воинского звания, всех лично им и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке в каторжные работы сроком на 8 лет и 9 месяцев».

Царская каторга, впрочем, большого впечатления на него не произвела. Хотя каторжан в первые месяцы и заковывали в кандалы, но каторжные работы в Бутырской тюрьме в 1916 году в том только и заключались, что каторжане в электрифицированном цехе швейной фабрики шили армейское обмундирование. Упрямому толстовцу, однако, и этот труд показался слишком милитаристским и он от работы отказался. Нет, его не били, не ссылали на шахты, не морили за отказ голодом. Просто 49 таких же отказников перевели в общую камеру в Пугачевской башне и оставили в покое. Зловещая башня, где по преданию держали когда-то вождя народного восстания Емельку Пугачева, к началу XX века ничего особенно страшного собой не представляла. Заключенным в ней, правда, не полагалось на обед мяса, но толстовцы были вегетарианцами. Из Бутырок в феврале 1917 года вызволила Илью Яркова Февральская революция.

Я уже писал выше, что Октябрьскую революцию Ярков встретил с одобрением. Книгочей и мечтатель, он, как и многие в России в те месяцы, был пленен антивоенными лозунгами новых хозяев страны. Верил он также и в радикальные перемены в застойном русском обществе, о которых мечтала тогдашняя интеллигенция. Жестокости Гражданской войны опрокинули его прекраснодушные мечтания. Но общественным темпераментом Ярков не обладал

* О Яркове см. во вступлении к этой книге, а также в главе VIII «Дмитрий Егорович рассказывает...»

и переделывать мир на свой лад не собирался. Любил свою семью, добросовестно исполнял служебные обязанности, а взгляды толстовские считал делом сугубо личным и никому их не навязывал. С женой Марией Васильевной жили они весь век душа в душу. К 1928 году было у них уже четверо детей. Илья Петрович работал в губернской газете «Коммуна» и как журналист числился на хорошем счету. Из редакции его и взяли.

Как человек не совсем еще привыкший к беззакониям нового режима, Ярков, естественно, возопил: «За что?!» Выдвинутые следователем несвязанные между собой и недоказанные обвинения казались выдумкой неумного шутника. «Проявлял антисоветские настроения» — откуда это видно? В чем эти настроения выражались? Чины ОГПУ не задумывались над аргументацией, а просто готовили толстовцу тюремный срок. Обвиняли Яркова также в хранении антисоветской литературы (при обыске у него нашли старую вырезку из газеты «Известия» со статьей Бухарина о русском философе-эмигранте Бердяеве). Но главное обвинение состояло в том, что анархотолстовец Ярков вел антивоенную пропаганду. По поводу этого обвинения, предъявленного ему к столетнему юбилею Льва Николаевича Толстого, Ярков писал впоследствии:

«...И вот бывает же в жизни такая ирония судьбы! В 1915-1916 годах во время скитания по гауптвахтам Москвы, я действительно вел среди солдат то самое, что условно можно назвать антимилитаристской пропагандой, то есть читал им многие из рассказов Л.Н.Толстого, в том числе столь известную «Сказку об Иване-дураке...», которая солдатам очень нравилась. Когда в дни Мировой войны я в самом деле вел антимилитаристскую агитацию, тогда меня никто не думал ни обвинять, ни преследовать за это... Но вот в 1928 году, когда я и в мыслях не держал, чтобы вести какую-нибудь пропаганду, мне неожиданно было предъявлено именно это обвинение. Получилось, что пропаганду вел я в 1915 году, а «зарплату» за нее получал уже при советской власти... Советская власть

в лице ОГПУ «расквиталась» со мной за «преступления» против царского режима!»

Первый в советское время арест окончился для толстовца Яркова сравнительно благополучно. Он получил три года административной высылки из Самары вместе с семьей. Третий по счету арест произошел через тринадцать лет, летом 1941-го. И снова по той же причине. Илье Петровичу шел уже пятьдесят первый год, когда он получил из военкомата повестку о призыве в армию. Он надеялся, что в таком возрасте его уже не заставят становиться в строй. Полагал, что в крайнем случае назначат в саперный или строительный батальон. «И если бы все произошло именно так, — пишет он в своих воспоминаниях, — я молча взял бы в руки лопату и стал копать, будь то окоп, полотно для прокладки железнодорожных путей или что иное». Но на вопрос, где ему придется служить, чиновник военкомата бросил пожилому призывнику: «Не ваше дело!» Между тем, дело это было для Ильи Петровича кровным. И, не дожидаясь отправки в часть, он написал военкому заявление, в котором указал, что никогда, ни при каких обстоятельствах и условиях а) не встанет в строй, б) не наденет военного обмундирования, в) не возьмет в руки оружия и г) не станет учиться убийству себе подобных. "Если же военные люди, — писал он далее, — смогут или захотят использовать меня для целей войны помимо этих четырех поставленных мною условий, то я готов принять посильное [участие] в войне»*.

Военные люди условий толстовцы Яркова не приняли. Началась череда допросов. Следователем его оказалась женщина, некая Яблокова. Ярков вспоминает: «Когда в ходе следствия встал вопрос о том, под чьим влиянием я нахожусь, отказываясь в столь категорической форме служить в армии и «защищать родину», я назвал двух людей, которые (один раньше, другой много позже) оказали на мое

* И.П.Ярков. «Моя жизнь». Машинописная копия. Книга писалась с конца 50-х до начала 60-х годов.

духовное развитие неотразимое и мощное влияние. Это были Лев Толстой и Махатма Ганди. О Толстом Яблокова, конечно, краем уха что-то слыхала (хотя бы по статьям Ленина), что он-де был «непротивленец», «хлюпик» и прочее в том же роде. Но имя Ганди поставило ее в тупик. Имя это она слышала из моих уст впервые, и тут же пренаивнейшим образом спросила: «А это кто такой?» Пришлось объяснять ей, кто такой Ганди, в чем его учение, какую борьбу ведут под его руководством индусы за освобождение страны от английского гнета и в какой степени его взгляды близки и родственны взглядам Толстого»*.

Среди восемнадцати пунктов статьи 193 Уголовного кодекса РСФСР, по которым человек может быть расстрелян за отказ от военной службы, пункт 13 был предназначен для преследования тех, кто отказывался брать в руки оружие по религиозным убеждениям. По тринадцатому пункту Яркова и приговорили. Вот он, этот приговор, один из тех, по которым во время Второй мировой войны были расстреляны тысячи толстовцев, баптистов, духоборов, молокан, субботников и других внецерковных христиан, не пожелавших взять в руки убийственное оружие.

ПРИГОВОР №1224

Именем Союза Советских Социалистических Республик.

1941 года, декабря 18 дня, военный трибунал Куйбышевского гарнизона в закрытом судебном заседании в гор. Куйбышеве, в составе: Председательствующего — младшего военюриста Никулина и членов: Артемьева и Трифонова, при секретаре Назарове, без участия свидетелей обвинения и защиты, рассмотрел дело по обвинению Яркова Ильи Петровича, рождения 1892 года, уроженца города Свердловска, русского, гражданина СССР, беспартийного, по положению служащего, с неполным средним образованием, женатого, несудимого, — в преступлении, предусмотренном статьей 193-13 УК РСФСР.

---

* И.П.Ярков. «Моя жизнь».

Материалами дела и судебным следствием установлено: подсудимый Ярков 3 ноября 1941 года Молотовским райвоенкоматом гор. Куйбышева был мобилизован в Красную армию и зачислен в команду для отправления в часть. После объявления Яркову о зачислении его в часть, он подал письменное заявление в военкомат о том, что он отказывается служить в Красной армии по своим религиозным убеждениям и ни при каких обстоятельствах не возьмет в руки оружие.

На основании изложенного военный трибунал признал Яркова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 193-13 УК РСФСР, а потому, руководствуясь ст.ст. 919 и 320 УПК

приговорил:

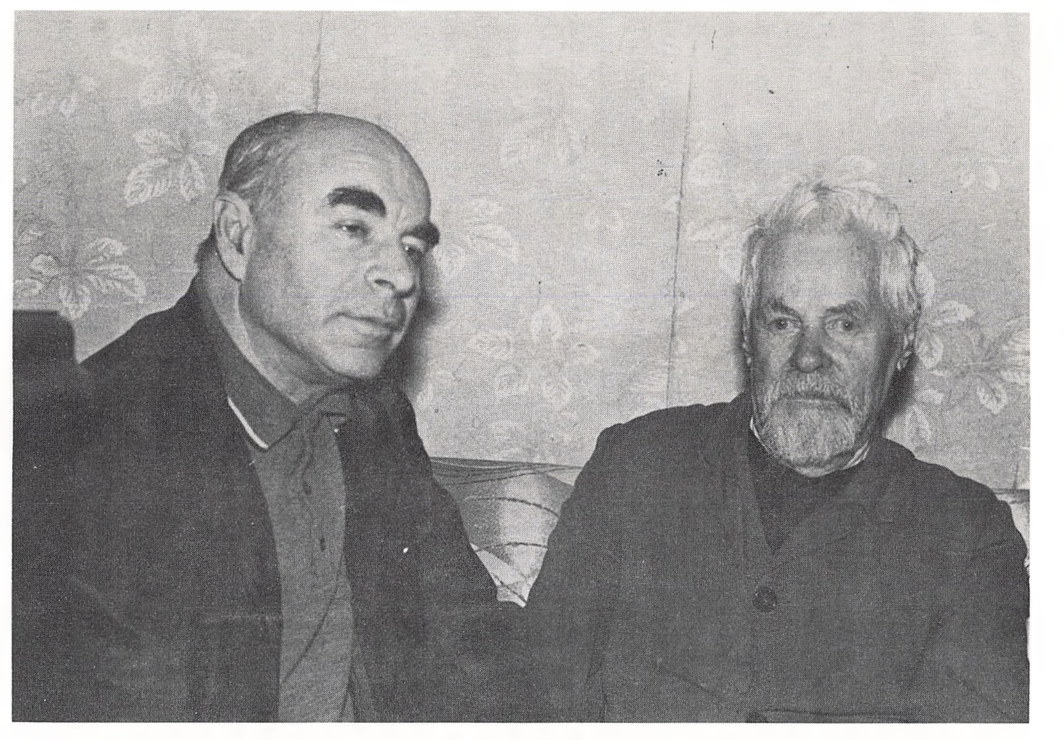
Яркова Илью Петровича на основании ст.193-13 с санкцией ст. 193-2 п.1 УК РСФСР, подвергнуть высшей мере наказания — расстрелять, без конфискации имущества за отсутствием такового.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военную коллегию Верховного суда СССР через военный трибунал Куйбышевского гарнизона в течение 72 часов с момента вручения осужденному копии приговора.

Копия верна: судебный секретарь Назаров.

Печать: «Военный трибунал Куйбышевского гарнизона».

После объявления приговора Яркова под усиленной охраной повезли в тюрьму и вместе с шестью другими приговоренными к расстрелу поместили в камеру смертников. В своей неопубликованной книге Илья Петрович подробно описывает быт смертников, их разговоры, надежды, страхи. Среди других обстоятельств запомнились ему подробности подачи кассационной жалобы. Выданного из канцелярии тюрьмы крошечного лоскута бумаги смертнику не хватило. Чтобы подробнее обосновать свое право на жизнь, он попросил второй листок. Эта просьба вызвала ропот и ворчание у канцеляристов: «Бумаги и так не хватает, а тут еще ты со своими кассациями».



И.П.Ярков и автор книги М.А.Поповский. Куйбышев. Октябрь 1976.

Листок в конце концов выдали. Размышляя о той давней своей жалобе, Ярков пишет:

«...Вернее всего, следовало бы от жалобы отказаться. Почему? Да, как говорил в свое время Л.Н.Толстой, для того, "чтобы своим обращением к высшей власти не выразить признания права на насилие тех людей, которые совершили его..."*. То, что я принял участие в писании «кассации», было с моей стороны проявлением слабости, быть может непростительной... Не будучи никогда прежде в подобном положении, я был достаточно наивен и прост, полагая, что приведение приговора в исполнение произойдет тотчас после того, как истекут отпущенные нам по приговору семьдесят два «льготных» часа. Умирать так рано мне почему-то не хотелось».

Как мы уже знаем, Илья Ярков не был первым толстовцем, приговоренным к расстрелу за нежелание служить в большевистской армии. Выше было рассказано о массовых расстрелах крестьян-толстовцев в 1918-1919 годах**. То были убийства по существу без суда и следствия, по прямому приказу местных партийных органов. В 20-х годах начались суды над «непротивленцами». Из книги Бориса Мазурина мы узнаем также о судебных расправах такого рода над юношами-толстовцами в 1934-1939 годах. Молодым коммунарам, не желающим итти в армию, по суду давали от 4-х до 5-и лет лагерей. Но после начала войны с Финляндией и Польшей, после похода на Бессарабию и Прибалтику Сталин в своих имперских устремлениях уже не желал слышать никаких резонов: так называемые «военные преступления» стали считаться крайне опасными и наказывали за них со всей возможной жестокостью. А когда началась война с Германией, всякий, кто отказывался «защищать родину», шел под расстрел. Только такого кон-

---

* Л.Толстой. Юбилейное собр. соч., т.37, стр.77. «По поводу заключения В.А.Молочникова».

** См. главу «Золотой век. Большевики и толстовцы во время Гражданской войны. (1918-1922)».

ца и мог ожидать толстовец Ярков, сидя в январе 1942 года в камере смертников Кряжской тюрьмы. Сорок два дня и сорок две ночи провел он в ожидании смерти. Он пишет:

«Брать на расстрел полагалось ночью — глубокой ночью, и каждая из проведенных в камере смертников ночей была для нас, признаться, своеобразной пыткой. Спалось плохо... Глубокая ночь. Вот звякнул замок в двери соседней камеры, где тоже располагались смертники... Каждый из нас невольно настораживается: не будет ли возни, шума, не закричит ли кто на прощание? Нет, все тихо. Значит, ложная тревога...»

Двадцать девятого января 1942 года в двенадцатом часу ночи Яркова вызвали из камеры с вещами. Его привели в канцелярию тюрьмы и вручили постановление Военной коллегии Верховного суда СССР. Он не сразу сообразил, о чем толкует эта бумага, жизнь или смерть она несет. Оказалось, что высшая судебная инстанция страны отменила приговор гарнизонного трибунала, осудившего толстовца на смерть. В Москве придрались к тому, что следователи из Куйбышева не соблюли некой формальности: они не установили, подлежит ли год рождения Яркова — 1892-й — призыву. Фактически пятидесятилетних солдат в 1941-м году было множество, но юристы из Верховного суда СССР потребовали от своих провинциальных коллег, чтобы они привели в своем приговоре законные обоснования мобилизации пятидесятилетних. Такой бумаги в распоряжении Куйбышевских военных юристов не оказалось. Возможно, что такого документа и вовсе не было выпущено. Мы не знаем, возникло ли крючкотворство в высшей судебной инстанции в результате чьей-то доброй воли, или громоздкая юридическая машина забуксовала по собственным, никому из посторонних не известным законам. Как бы то ни было, двадцать дней спустя Илья Петрович Ярков был из тюрьмы выпущен. Не в лагерь, не в казарму, а просто на свободу, на все четыре стороны. «Сдается, что это

---

* И.П.Ярков. «Моя жизнь». Рукопись неопубликована.

едва ли не единственный в советской юридической практике тех лет случай, когда дело было прекращено и человек (обвиняемый) был освобожден из-под «вышки» безо всякой замены (десятью годами и проч.)», — записал позднее Ярков.

Но на один счастливый случай такого рода приходились сотни и тысячи случаев трагических. По религиозным мотивам отказывались служить в Красной армии очень многие толстовцы и молодые сектанты. Позицию этих юношей ясно выразил крестьянин из коммуны «Мирный пахарь», отец большой семьи Василий Кирин. Когда он собрался итти в военкомат, чтобы заявить о своем отказе служить, жена сказала ему: «Ведь тебя убьют!» — «Пусть убьют, лишь бы я сам не убивал никого», — спокойно ответил толстовец и пошел на верную смерть. Такую же спокойную убежденность проявили толстовцы по всей стране, крестьяне, интеллигенты, старые, молодые. Они не задумывались о последствиях своего отказа. Судьба у каждого была своя: в 1941-1942 годах заступиться за них уже никто не решался, да и бесполезно было любое заступничество.

Как они вели себя «в минуты роковые»? Некоторое представление об этом дают воспоминания педагога-дефектолога Елены Федоровны Шершеневой. Ее муж Василий Васильевич Шершенев, секретарь В.Г.Черткова, сотрудник редакции, выпускавшей Юбилейное 90-томное собрание сочинений Льва Толстого, а еще раньше председатель Совета коммуны имени Толстого под Москвой*, как и Илья Ярков отказался в 1941 году взять в руки винтовку. Жена его пишет об этом времени:

«В первые же дни Москва подверглась бомбардировкам. Вася (муж — *М.П.*) подбирал раненых, работал на раскопке разбомбленных домов, тушении пожаров. Я брала с собой в ясли маленькую Асю, Федя оставался дома и тушил на крыше зажигательные бомбы**. Потом наши ясли

---

* О В.В.Шершеневе см. главу V. «Толстовский корабль терпит бедствие».

** 7-летняя Ася и 14-летний Федя — дети Шершеневых.

эвакуировались... Я с группой слепых и со своими двумя детьми выехала из Москвы... Вася со своей военной частью оставался в Москве. Я, конечно, знала, какое у него отношение к употреблению оружия, к непротивлению злу насилием, и знала, что при первом приказе употребить оружие он откажется и понесет самое тяжелое наказание, а вместе с ним и мы — вся его семья.

Вася нашел себя в убежденности своей... Встал вопрос: да или нет, то есть, пойдешь ли с винтовкой на живого человека, брата... Вася сказал себе «нет!» Вернулся смысл существования и все присущее ему достоинство.

Я жила с детьми в деревне. Когда сгущались сумерки и зарево Москвы становилось особенно хорошо видно, я выходила на дорогу. Смотрела в ту сторону. И все во мне превращалось в страх. Кто там жив? Кого, может быть, уже нет, кто ранен, кто мечется от горя? А Вася мой? Кто поймет его сейчас, в эти страшные дни? Кто поверит сейчас, если он откажется, что он не враг, а друг народа, сын своей родины; что он хочет быть братом всех людей на свете и потому не хочет убивать. Может быть, он уже в тюрьме, а может быть, уже расстрелян...

Потом мы увиделись... Он оставался в Москве. Я видела его на мостовой, марширующим в учебном строю. Он говорил: «Словно кто-то связывает мне ноги, как трудно маршировать! С каждым шагом я слышу укоры совести и говорю себе: ”Разве ты красноармеец, стыдно; стыдно, мучительно стыдно за себя и за всех”... Их перевели в Сокольнические казармы... В один из моих приходов к нему он сказал: ”Сегодня сказал дежурному о своих взглядах на жизнь. Надо ждать развязки”. Он был очень взволнован и возбужден. — ”Завтра как можно раньше приведи детей прощаться. Вечером дежурный, очевидно, доложит начальству. Не опоздай!”.

На следующее утро Васи в казарме уже нет. Отправляю заявление в трибунал и жду, сама не знаю чего. Но от него вдруг открытка. Карандашом, наспех несколько слов о том, что идет под конвоем в трибунал. Потом узна-

ла, что бросил открытку незаметно на тротуар. Кто-то поднял и опустил...»*

В трибунале происходило то, что и должно происходить в таком месте: на толстовца кричало несколько следователей, а потом все по очереди. Кричали: «К стенке! Немедленно!» И все же на этот раз пронесло. Старший следователь, очень пожилой человек, «понял всю серьезность и исключительность Васиного поведения и, — как пишет Елена Федоровна, — взял этот случай на себя, не передал в суд, а направил дело в Бауманский военкомат». Шершенева перевели в интендантские части. Но разве, служа в армии, можно избежать оружия? Надо было с винтовкой в руках охранять склад. Шершенев отказался. Доложили начальству. И снова попался добрый человек, который разрешил солдату-толстовцу каждый раз во время дежурства оставлять оружие в своем кабинете. Но долго это продолжаться не могло. В апреле 1945 года, совсем незадолго до окончания войны, Василий Шершенев получил приказ с оружием в руках охранять заключенных. И снова отказался.

«Никакие Васины доводы и объяснения не помогли. Был составлен протокол о неповиновении начальству, и дело направлено в трибунал, — писала жена. — Суд был назначен в десятых числах мая 1945 года. Судья, к которому Вася был вызван предварительно, сказал ему, что в самом лучшем случае ему дадут пять лет лишения свободы с поражением в правах, а очень может быть и много больше. Он советовал ему отказаться от своих убеждений, признать ошибку в неповиновении начальству и говорил, что тогда дело можно подвести под статью, которая будет грозить ему небольшим взысканием, а при взятии на поруки он сможет жить дома. "Или приходите на суд прямо с мешочком, бельем и сухариками", — говорил судья. Мы сушили сухари, и Федя принес их отцу в суд».

---

* Е.Ф.Шершенева. «Записки про моего мужа В.В.Шершенева». Гл. X. Машинопись, 60-е годы. Публикуется впервые.

Елена Федоровна продолжает:

«В день накануне суда я накрыла стол белой скатертью, устроила, насколько это было возможно тогда, праздничный обед. Мне не хотелось оставлять в васиной памяти тяжелую картину в семье. "Давай считать, что мы празднуем победу твоего духа", — говорила я ему. А у него в душе действительно шла борьба, и на мгновение закрадывалось сомнение: "А может быть послушаться совета судьи, взять свои слова о религиозных убеждениях назад и остаться с семьей, в родном городе?.." Но тогда рухнуло бы все, за что шла борьба. Тогда колесо внутренней жизни должно было бы завертеться в обратную сторону, тогда умер бы духовный хозяин и осталось бы только одно маленькое личное благополучие...»

Из всего суда над мужем Шершенева запомнила только его последнее слово. Будучи толстовкой, она не считала себя вправе указывать мужу, какой путь ему выбирать. Но на суде с радостью убедилась: «Он окончательно принимает на себя свои страдания потому, что уверен, что не насилием и винтовкой, а сознанием, братством, любовью до̀лжно побеждать в людях зло». Наступили минуты последнего прощания. Сыну разрешили передать отцу сумку с сухарями, жена поцеловала мужа. «Два красноармейца поставили Васю между собой. "Руки назад". А он, заложив руки назад, улыбался нам, улыбался в коридоре, потом на лестнице, когда мы стояли наверху, на площадке. Еще и еще кивок, еще улыбка — и его увели. Куда?»

Василий Шершенев был осужден за свое толстовство на пять лет лагерей. Официально это называлось «уклонение от воинской повинности под предлогом религиозных убеждений». Приговор был зачитан в том самом мае 1945 года, когда страна отмечала победу. Четырнадцатого июня 1945 года преступник Шершенев писал жене из лагеря: «...Внутренне чувствую себя по-разному. Иногда берет сомнение — так ли я поступил. Бывают минуты сожаления, что не послушал совета судьи. Ведь я поступил так, стоя на точке зрения высоты идеала, а сам-то я "весь в ранах

и грехах" и в частности имею любимую семью, которая для меня дороже жизни, и случись что — конечно, я бы защищал ее любыми средствами, хотя бы вопреки своему идеалу. Вот это-то состояние и мучительно. Тяжело и то, что на такой долгий срок оставляю тебя опять нести всю тяжесть жизни по прокормлению и воспитанию детей. Боюсь я, что надорвешься ты, не выдержишь, и твоя и наша жизнь будет разбита...»

В других письмах Василия Шершенева еще более выявляется его склонная к доброте и романтизму натура. Он дружит в лагере с юношей, которому отдает часть своего хлеба. Юноша зовет его «отцом». В одном из писем толстовец снова возвращается к своему роковому решению. «Все снова взвешиваю, обдумываю. И снова и снова убеждаюсь, что поступил так, как надо, не раскаиваюсь и не сомневаюсь». В письмах из лагеря часты ссылки на русских писателей и поэтов. «Особенно близко здесь чувствую Тютчева. Его "молчи, скрывайся и таи..." здесь мне особенно понятны. Испытываю большую радость из-за того, что "имею целый мир в душе" своей»*. Вспоминая "Записки из Мертвого дома", Шершенев пишет жене: «Но к отсутствию свободы я тоже привык уже за четыре года армии». После того как Сталин объявил послевоенную амнистию, Шершенев заметил в одном из писем: «освобождаются главным образом воры, мошенники, дезертиры, а я — более опасный преступник! "Отпусти Варраву!"». Только после бесконечных просьб и прошений, которые посылали в Верховный суд видные ученые и писатели 1 марта 1946 года Военная коллегия Верховного суда признала, что в деле Василия Шершенева «нет состава преступления», и «бунтовщик», отказавшийся брать в руки оружие, был возвращен из лагеря Архангельской области домой в Москву.

---

* Речь идет о стихотворении Федора Тютчева (1803-1873) Silentium! (1830), в котором поэт призывает не открывать окружающим своих мыслей и чувств.

«Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей...»

Беды Шершенева, толстовца и сотрудника редакции, выпускавшей 90-томное собрание сочинений Льва Толстого, на этом не закончились. Ему и после того пришлось немало поскитаться по тюрьмам и лагерям. Ему не простили его убеждений, его нежелания взять в руки оружие. (Об этом см. в главе «О тех, кого не добили»). Но если благодаря «Воспоминаниям» Елены Федоровны Шершеневой, мы все же знаем о судьбе ее мужа, то десятки других не поднявших меч сошли в могилы, не оставив по себе никакого знака, не подав из камеры смертников никакой весточки. Сохранился лишь далеко не полный список их имен да несколько строк в неопубликованной рукописи председателя коммуны «Жизнь и Труд» Бориса Мазурина*.

Рассказав о гибели коммуны толстовцев в 1939 году, Мазурин посвящает две страницы судьбе толстовской молодежи. Он пишет: «Не могу сказать точно, но вероятнее всего в 1938 году или 1939 году в коммуне было осуждено несколько молодых людей за отказ от военной службы. Приговоры были не так чтобы очень суровые: от трех лет до пяти (лагерей). Но война принесла жестокую проверку наших убеждений — нельзя убивать. Из тех, кто отказался в войну, наверно, только один получил пять лет, остальные были расстреляны... Отдали свою молодую жизнь Ваня Моргачев, тихий, внимательный**. Погибли Афанасий Наливайко, Филимон Кузьмин, Вася Лапшин, Анатолий Шведов, Петя Шипилов, Ромаша Сильванович, Ерофей Котляр, Коля Павленко, Андрей Савин, Алексей Попов, Семен Третьяков, Сергей Юдин, Василий Кирин. Такая же судьба постигла бывших членов коммуны — Поликарпа Куцего на Украине и Степана Пожилко в Узбекистане.

То же было и в Кожевникове (коммуна «Всемирное братство» на реке Обь — *М.П.*). Там погибли: Иван

---

* Б.Мазурин. «Рассказы и размышления об истории толстовской коммуны "Жизнь и Труд"». Рукопись. закончена 9 ноября 1967 г. (к 50-летию сов. власти) в пос. Тальжино, Западная Сибирь.

** Ваня Моргачев — сын Дмитрия Егоровича Моргачева (см. главу «Дмитрий Егорович рассказывает»).

Бобрышев (отец), Алексей Бобрышев (сын), Григорий Бобрышев, Николай Смоляков (отец), Данила Смоляков (сын), Василий Смоляков (сын), Максим Андрусенко (отец), Сергей Андрусенко (сын), Степан Андрусенко (сын), Корней Андрусенко (сын), Иван Таракан, Владимир Халеев, Петр Власенко, Петр Пискун, Виктор Вельдин, Владимир Гвоздик (отец), Василий Гвоздик (сын), Александр Костин».

Перечислив известные ему жертвы (Дмитрий Моргачев оставил вдвое больший список расстрелянных, он называет 60 толстовцев, уничтоженных в 1941-1942 годах), Борис Мазурин все еще ищет у советских властей справедливости. «Неужели, — вопрошает он, — то, что их отцы носили на царской каторге кандалы за свои убеждения, то, что они сами задолго до войны, еще в мирное время, открыто заявили правительству о своих мирных толстовских убеждениях, — неужели все это не убеждало в их искренности, в желании твердо следовать требованиям своей совести, своей веры?» И не найдя ответа на свой риторический вопрос, бывший организатор толстовской коммуны тяжело вздыхает: «Бедная моя родина, чего только ни делают твоим именем...»

Глава XII

О ТЕХ, КОГО НЕ ДОБИЛИ

Полностью искоренить толстовцев долго не удавалось. После всех расстрелов и безвестных лагерных смертей в 40-е и 50-е годы в разных концах страны все еще оставались люди близкие по взглядам ко Льву Толстому. По закону преследовать их за это не полагалось, но находилось достаточно других поводов, чтобы бросать толстовцев в тюрьмы и лагеря. Крестьянин-толстовец Андрей Мозговой (род. в 1906 году) провел в заключении почти 13 лет (1935-1947) без судебного приговора, а только по решению ОСО и по секретным директивам ОГПУ-НКВД-НКГБ. Самарского журналиста Илью Яркова в 1951 году арестовали в третий раз. Никакого обвинения подобрать ему не смогли, и КГБ пошел на «компромисс» — толстовца бессрочно поместили в тюремную психиатрическую больницу*. Эдуард Левинскас (1893-1973), учитель из Литвы, был за свое толстовство вместе с семьей сослан в Таджикистан. О том, в чем состоит его «вина», ему сообщили только десять лет спустя. А москвич Василий Шершенев, уже отсидевший в тюрьме за отказ брать в руки оружие (см. главу XI. «Не поднявшие меча»), был снова схвачен в 1951-м. Судьи даже не пытались придумывать для него сколько-нибудь достоверное обвинение: толстовца непротивленца вопреки здравому смыслу осудили на 25 лет лагерей «за террористическую деятельность и подготовку вооруженного восстания».

---

* О Яркове см. в главе XI «Не поднявшие меча».

В сталинские времена с толстовцами вообще не церемонились: защищать их от произвола было некому. Крестьянин Иван Драгуновский (род. в 1908 году), сын расстрелянного Якова Дементьевича Драгуновского (см. главу X), хотя и не состоял из-за болезни на военном учете, получил во время войны пять лет лагерей за то, что отказался сопровождать на фронт реквизированный колхозный грузовик*; несколько лет провел в заключении без суда крестьянин-толстовец родом из-под Твери Василий Павлов (род. в 1891 году); годами томился в неволе переписчик рукописей Льва Николаевича Толстого престарелый Самуил Беленький (1877-1965). Всех их не описать, не перечислить... Вот лишь три судьбы, трое чудом уцелевших в смертельном водовороте.

*

Андрей Григорьевич Мозговой, по собственному своему выражению, «сын природных и бедных земледельцев», родился в 1906 году в многодетной украинской семье. Отец считал Андрея слишком слабым для крестьянской работы и послал учиться, так что деревенский парнишка успел пройти курс семи классов средней школы. В армию в 1928 году Андрея не взяли опять-таки из-за плохого здоровья. И, может статься, жизнь его прошла бы без всяких достойных упоминания событий, если бы в 1929 году в руки молодого крестьянина не попала книга Льва Толстого. Впервые прочитал он «Исповедь», «В чем моя вера», «Мысли о Боге» и другие философские труды. «Я ухватился за эту книгу, как утопающий за веревку спасения, — написал он впоследствии. — Я много раз перечитывал, делал выписки из всех этих произведений... Я понял, что здесь говорится о том, что важнее всего на свете»**.

---

* Иван Драгуновский написал воспоминания о своем отце и судьбе коммуны «Жизнь и Труд», которыми автор этих строк постоянно пользуется.

** Свою биографию Андрей Григорьевич написал (см. след. стр.)



Встреча толстовцев в Тимирязевском парке. Москва, 60-е годы. Слева направо (за исключением детей): Григорьев, Устюжина, Ионова, Роше, Фролов, Лебрен (француз, б.секретарь Л.Толстого), Хорунжий, Добролюбова, Плешков, П.Алексеев.

По природе своей Андрей Мозговой — человек добрый, жалостливый, расположенный не только к людям, но и к «братьям нашим меньшим». В юности подбирал брошенных котят и щенков, лечил раненых птиц. Мог отдать нищему последний кусок хлеба из дому. Над такими его причудами потешались и домашние, и товарищи в деревне. Андрей и сам считал, что характер у него «слабый», пытался подавлять в себе черты, «недостойные мужчины». Толстой был первым человеком, который объяснил ему, что человек не должен стесняться прирожденной своей доброты. Наоборот, чувство это надо развивать в себе. Толстой же натолкнул деревенского юношу на то, чтобы критически взглянуть на некоторые государственные установления и на утвердившиеся между людьми недружелюбные традиции. Мозговой продолжал разыскивать и читать книги великого правдолюбца, все более ощущая себя его единомышленником.

В отличие от горожан, которые в юности читают «Анну Каренину» и «Войну и мир», крестьянин Мозговой сначала проштудировал Толстого-философа. Лишь позднее взялся он за романы и повести. «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова соната» потрясли его. Он уже собирался взяться за «Войну и мир», когда в родном селе закипели страсти почище тех, что описывал великий романист.

Коллективизация и раскулачивание сперва не затронули семью Мозговых: они считались середняками. Испытание пришло с неожиданной стороны. Кругом разоряли и растаскивали имущество крестьян побогаче. Местные партийные власти натравливали народ на «кулаков». Андрею и его родителям тоже приказано было тащить в свой дом имущество разоряемых.

по моей просьбе в марте 1977 г. и предварил ее следующими словами: «Хотя мы с вами незнакомы, но так как я живу открыто и ни от кого не скрываю свои убеждения, то я откровенно сообщу Вам о своей жизни».

«Я сказал, что это грабеж и насилие, — пишет Мозговой, — отказался повиноваться и принимать в этом участие. Меня ругали, грозили, арестовывали, водили на чужое гумно и заставляли молотить отобранный (у кулаков — *М.П.*) хлеб, но я не повиновался... Потом я отнес свой военный билет в сельсовет, отдал им и сказал, что я не желаю быть военным. Меня ругали, называли дураком и сумасшедшим, говорили, что меня за это замучают и убьют, несколько раз отправляли в милицию, но, продержав несколько дней, отпускали».

Так было в 1929-м. А год спустя, в разгар коллективизации, за непослушного крестьянина взялись уже всерьез. Полтора месяца Андрей Григорьевич сидел в подвале местной милиции, перенес побои, ночные многочасовые допросы. Потом без суда провел полгода в Конотопской тюрьме. Вот как описывает он один из таких «допросов»:

«Начальник милиции посадил меня на стул, сам сел напротив меня так, что его колени касались моих колен и сказал: "А ты оказывается ничтожный трус — дрожишь". У меня действительно дрожали колени, и я не мог их удержать. Потом он посмотрел на мою голову и сказал: "Молодой, а уже начинает лысеть". Взял рукой мои волосы, вырвал сколько захватил и бросил волосы на пол. Потом стал меня дергать за бороду пальцами (за полтора месяца в тюрьме у меня отросла довольно большая борода). Потом стал щипать меня за усы. Мне было так больно, что я не мог терпеть, ойкал, и слезы ручьем текли по щекам... Так он меня мучал, а те двое за столом (начальник районного ГПУ и его помощник) допрашивали меня. Они обвиняли меня в том, что я выступаю против советской власти, что я не повинуюсь и оскорбляю представителей советской власти.

В то время я только что прочитал сочинения Толстого «Исповедь», «Критика догматического богословия», «Религия и нравственность»... Я был под особенным впечатлением открывшейся мне истины и отвечал в этом же

духе. Я говорил, что всякое насилие и убийство я считаю преступлением, что основа всякой власти — насилие, что человек только настолько человек, насколько он исполняет вечный закон Бога, что закон Бога в том, чтобы любить ближнего, как самого себя, и потому поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступили с тобой...

Он еще спросил меня, какого я мнения о евреях. Я сказал ему, что для меня все люди одинаковы, все люди сыны Божьи.

Он прочитал мне протокол. В нем было написано, что я сын кулака, что у моего отца была ветряная мельница и молотилка, что мой отец пользовался наемным трудом, что я занимаюсь антисоветской агитацией и сектантской пропагандой и за это привлекаюсь к ответственности по каким-то там статьям. Прочитавши это, начальник ГПУ сказал мне: «Подпишись». Я сказал им, что все это неправда, так что вы можете делать со мной что хотите, а я подписывать не буду. "Я кровью твоей подпишу", — сказал он. И он открыл ящик стола, взял револьвер и выскочил из-за стола, и держит в одной руке револьвер, другой толкает меня к стене. И стал тыкать меня в лицо дулом револьвера. Я стоял, удивляясь тому, что он со мной делает, пожимал плечами и слегка улыбался...

Он тыкал меня револьвером несколько раз, кричал — подписывай. Я отвечал — не буду. Наконец он оставил меня и пошел за стол. В это время из-за стола выскочил молодой сильный человек, ударил меня под грудь и бросил на пол. Я лежу. "Подымись!" — кричат мне. Я встал. Милиционер забрал меня и опять отвел в подвал».

А вот сцена в тюрьме города Конотопа. Время действия — 1931 год. Коллективизация успешно завершена. Мозговой вспоминает:

«В привратe тюрьмы нас тщательно обыскали и повели в нижний этаж, в сырой мрачный подвал. Нас подвели к одной камере и открыли дверь. Как только дверь камеры открыли, люди, бывшие в камере, повалились в коридор, потому что они не помещались в камере. Но несмотря на

это, нас еще несколько человек запихали туда, надавили дверь и замкнули.

В камере было так тесно, что люди не стояли, а висели друг на друге. Через несколько времени воздуха стало не хватать, и люди стали задыхаться. Люди стали стучать в дверь и просить, чтобы ее открыли, потому что мы умирали. Но никто не отозвался, и дверь не открывали. Что же делать? Мы решили выбить стекло. Один человек дотянулся до окна и выбил шибку. Тотчас же дверь открыли, и надзиратели стали ругать нас и спрашивать, кто выбил. Но никто не сказал им, и они, поругавшись, погрозили и ушли. А нам стало легче дышать, и мы остались живы».

Вернувшись из тюрьмы, Мозговой уже не нашел своего хозяйства: оно было разграблено и передано, как кулацкое, в колхоз. Дом тоже отняли, и семья рассеялась, братья и сестры жили «где попало». «Я вместе с отцом и братом пошли работать в совхоз, работали в поле и по плотницкой части, так что кое-как кормились и помещались...» — пишет он.

Как самое важное событие 1932 года отмечает Андрей Григорьевич, что прочитал он роман Толстого «Воскресенье». Книга эта была для него еще одним открытием мира. Впрочем, скоро стало не до книг: в 1933 году на Украине начался голод. Власти отняли у крестьян-украинцев не только хлеб, предназначенный для прокормления, но и посевные семена, так что в 1932 году посеять ничего не удалось. Мозговой свидетельствует: «В нашей местности много людей умерло с голоду. Я тоже был пухлым от голода, но не умер». Андрей Григорьевич рассказывает далее: «В 1935-м меня забрали в милицию, отправили в Конотопскую тюрьму и продержали полтора месяца. Там же в тюрьме осудили на три года исправительных лагерей по статье СВЭ, то есть "социально вредный элемент". Судила "тройка" заочно».

Мозгового направили на строительство канала Волга—Москва. Он и там продолжал плотничать, но вместо изб и коровников возводил лагерные бараки для таких же

бедолаг, как он сам. В 1938 году он вернулся домой, но через несколько месяцев его арестовали снова. Теперь бесплатная рабочая сила понадобилась на другом конце страны, на угольных шахтах Дальнего Востока. С Украины набитый мужиками поезд тащился до Благовещенска-на-Амуре 41 сутки. Поездку эту Мозговой не описывает, только замечает, что когда заключенных довезли до станции Райчиха, «при выходе из вагонов на свежий воздух многи попадали без чувств, но отошли».

В Райчихе — угольном бассейне Дальнего Востока — Андрею Григорьевичу, наконец, объявили приговор: его снова заочно приговорили к трем годам лагерей. Так, не видав ни суда, ни судей своих, не зная за собой решительно никакой вины, вступил Андрей Мозговой во второй срок своей лагерной жизни. В своих воспоминаниях он в подробности лагерной жизни не вдается. Пишет только, что «несколько месяцев грузил уголь в вагоны, бывало очень тяжело, но потом меня отправили на плотницкие работы». Трехлетний срок превратился в десятилетний, и вовсе не потому, что Мозговой сделал в лагере что-нибудь предосудительное. Все было проще.

«В 1941 году мне кончился срок, но началась война, и меня задержали еще на год, — пишет Мозговой. — В 1942 году меня освободили по директиве с закреплением за Нижне-Амурским строительством на весь период военного времени. Меня вместе со многими отправили в город Комсомольск. Там приходилось корчевать пни, валить лес, заготовлять шпалы, строить бараки, мосты на железной дороге». О страданиях заключенных и «закрепленных» на всех этих стройках рассказывает крестьянин-толстовец предельно скупо: «В военное время было очень плохо с кормами. Паек хлеба и пищу сильно урезали, много людей умерло с голоду, и я несколько раз опухал с голоду, но остался жив». И ничего больше. То ли он уже привык к этой голодной собачьей жизни, то ли не считает нужным слишком много говорить о собственных страданиях. Между тем, война шла к концу. «В последнее время я работал

на постройке железной дороги между Комсомольском и Советской гаванью, — вспоминает Мозговой. — Там нас было, как говорили, пятьсот тысяч. На этой работе застал меня конец войны. Но несмотря на это, нас задержали еще на два года до окончания строительства». Итак, вместо трех лет лагерей этот «социально вредный элемент» получил десять. На протяжение многих страниц своей биографии Андрей Григорьевич ни разу не возмутился, не выразил своего озлобления по поводу того, что с ним делали власти. Для него бесчеловечность советской системы — нечто само собой разумеющееся. Что же до исполнителей власти, то он с жалостью говорит обо всех этих охранниках, энкаведешниках, больших начальниках, гнавших мужиков-арестантов на стройки, как на убой. Мозговой видит в них еще больших рабов режима, нежели в заключенных.

Вернулся на родную Черниговщину Мозговой только весной 1947 года. Родителей своих он в живых уже не застал. Большой и дружный крестьянский род разъехался, разбрелся кто куда. Некоторые братья и племянники уехали прочь с Украины. Только один брат жил с семьей на своем хуторе неподалеку от районного села Короп. Зарабатывал он на хлеб, то нанимаясь в пастухи, то берясь за плотницкую работу. Андрей Григорьевич поселился с братом. Создавать собственную семью в сорок лет показалось ему поздно. Так он и прожил остаток жизни бобылем. На свободе делал то же самое, что и в лагере — плотничал. В 1949 году, кое-как собравшись с деньгами, купили два брата дом в селе Короп, где живут и поныне.

Достигнув 60 лет, получил Андрей Григорьевич от советской власти пенсию — 45 рублей в месяц. У брата полного пенсионного стажа не оказалось, так что положили ему 23 рубля. Чем кормятся старики? Мозговой в присущей ему скупой и спокойной манере поясняет: «У нас есть приусадебный участок 10 соток, да еще дают в поле 5 соток, где мы сажаем картошку. В хозяйстве у нас одна корова, больше ничего не держим. В последнее время

работаем только по-домашнему. Пока не голые и не голодные, жить можно». И добавляет: «Я все свободное время употребляю на чтение книг, преимущественно Л.Н.Толстого, которого считаю величайшим мудрецом мира».

Итак, пройдя огонь, воду и медные советские трубы, Андрей Мозговой не изменил взглядам своей юности. Больше того: он и сегодня один из наиболее активных толстовцев Советского Союза: встречается с единомышленниками, обменивается с ними книгами и рукописями, пишет собственные сочинения, а порой (как мы увидим в следующей главе) вступает в серьезную полемику с представителями власти. Для 75-летнего необразованного крестьянина, живущего в глухой провинции, — это немало. Духовная живучесть, мягкая без резкости неуступчивость, отличает и других ныне здравствующих в СССР или недавно почивших последователей Льва Толстого. Такой же твердый характер показал и литовский учитель, толстовец Эдуард Левинскас (1893-1973).

*

Когда я начал собирать материал для книги о толстовцах, Эдуарда Левинскаса уже не было в живых. Он умер за три года до того в литовском городке Жагаре. Сын его, тоже толстовец, шофер районной автобазы, прислал мне фотографию отца. На любительском снимке я увидел очень крупного старика в кресле. Большие красивые руки его спокойно лежали на коленях. Мощный голый череп и длинная седая борода делали старика похожим на библейского пророка. Самая подходящая миссия для людей с такой внешностью — вести тысячные толпы в бой под религиозными или революционными знаменами. Но взгляд Левинскаса из-за очков открывал личность совсем иного склада. Сельский учитель и первый интеллигент в своей крестьянской семье, он смотрел на мир с грустью и состраданием. Этот взгляд стал мне более понятен после того, как я прочитал

его автобиографию, перепечатанную на старенькой машинке друзьями-единомышленниками. Удивительным миром и спокойствием повеяло от этих страниц! Свою полную исканий и нелегких подчас переживаний жизнь Эдуард Левинскас описал почти как сторонний, хотя и не равнодушный, наблюдатель.

«Я родился 1 декабря 1893 года в имении Вайзгучай, Каунасской губернии Шауляйского уезда, Йонишской волости в Литве, — начинает он. — В этом имении мои родители были батраками. Но весной 1901 года они... переселились в местечко Йонишкис и здесь стали чернорабочими. Я был у родителей последним сыном поскребышем. Другие мои братья и сестры, кроме двух сестер, изза тяжелых условий жизни умерли малыми, и потому родителям я был особенно дорог. Но, как все люди такого положения, они волей-неволей должны были отдать меня весной 1903 года в дальнюю деревню крестьянину, чужому человеку, пасти скот, иначе говоря, должны были меня этому человеку и его семье на все лето продать. Но большая для меня выгода состояла в том, что зимою, вернувшись к моим любимым родителям, я мог посещать начальную школу. С ранней весны до поздней осени я пас чужое стадо, а зимой в местечке Йонишкис посещал начальную русскую школу»*.

Эти неграмотные литовские простолюдины народили дитя, которому суждено было пройти через все соблазны и заблуждения первых двух третей XX столетия. В революционном 1905 году Эдуард выходил со своими товарищами-школьниками на улицу с палкой, к которой привязывали они красный платок, пели «Отречемся от старого мира» и требовали, чтобы учили их не русские, а непременно литовские учителя. Потом, в 19 лет, будучи уже хорошо устроенным приказчиком в городе Риге, пережил он муки религиозных сомнений. Воспитанный матерью как страст-

* Э.М.Левинскас. «Краткий очерк моей жизни». Составлено в Жагаре (Литва) в 1961-1963 году.

ный католик, он усомнился в бытии Божьем. Потрясенный собственным безбожием, он даже предпринял попытку самоубийства.

«Когда уже шел я к Двине утопиться, мне как-то нечаянно удалось спастись... Идя по улице мимо книжного магазина (это было в сентябре или в октябре 1913 года), я по привычке поглядывал на выставленные на окне книги. Я увидел небольшую, с портретом бородатого человека книгу под названием «Исповедь». Ко Льву Толстому я относился тогда отрицательно, так как из его сочинений почти ничего не читал, а был предубежден, что Толстой является не только самым ярым атеистом, но и самым большим пессимистом, все отрицавшим, даже науку и искусство. И все-таки я эту книгу тотчас купил, вернулся домой и стал ее читать. Читал почти всю ночь без перерыва. И когда я эту книгу прочитал, я заплакал (плакал уже и читая), как маленький ребенок. Но плакал уже не слезами отчаяния, а слезами великой радости. Я почувствовал всем своим существом, что все мои душевные страдания кончились, что Лев Николаевич Толстой — мой спаситель. Я сейчас же купил себе и другие его философско-религиозные книги и стал их читать, все более радуясь тому, что начинаю видеть и понимать. Глубокое и плодотворное впечатление произвели на меня также и художественные сочинения Л.Н.Толстого: «Воскресенье», «Смерть Ивана Ильича» и др. В особенности те, что он написал после окончательного своего духовного возрождения, т.е. после 1880 года».

Так в 1913 году с литовцем Левинскасом произошло то, что уже раньше происходило с несколькими поколениями толстовцев России: в начале XX века с русским Николаем Гусевым и с евреем Самуилом Беленьким, а позднее, в 1929-м, с украинцем Андреем Мозговым. Через Толстого явились этим людям новое видение Бога и своего места в этом мире. Левинскас пишет: «Благодаря ему (Л.Толстому) я понял, что есть истинный Бог, который не является личностью... а духовной силой, духовным Началом, которым живо все, что живет. Я понял, что определить это



Секретарь Л.Толстого Н.Н.Гусев (справа) и его помощник А.В.Храбровицкий. Москва, 11.11.1957.

духовное Начало невозможно, что его можно только сознавать». Любовь к людям — вот что такое Бог Толстого, как его понял Эдуард Левинскас. Надо воспитывать в своем сердце эту божественную любовь, любить других не на словах, а одаривая их практическим делом. «Когда я все это понял, — написал он, — стал к этому стремиться, моя душа засветилась, я стал радостным и счастливым». Об этом «свечении души», о возникшем душевном равновесии писали и говорили все, кто когда-либо принимал близко к сердцу мысли Льва Толстого. Толстой, которого никто из них не видел никогда в глаза, изменял для них систему жизненных ценностей, коренным образом менял их жизнь.

Став толстовцем, Левинскас оставил город Ригу, где выгодно служил приказчиком у купца, и вернулся в родную деревню. Он решил остаться крестьянином, даже батраком, чтобы в простой мужицкой жизни следовать заветам своего учителя. Несколько лет Эдуард батрачил, что не мешало ему много читать и переводить для своих соседей литовских крестьян рассказы и сказки Толстого. В конце концов на начитанного юношу обратили внимание местные учителя. В 1920 году они уговорили его стать учителем начальной школы.

В следующие четверть века жизнь Левинскаса была вся отдана школе. Он окончил учительскую семинарию, выпускал какое-то время небольшой либеральный журнал, принимал участие в профсоюзной жизни коллег-учителей, но главное — учил детей. Его любили и дети, и родители учеников, которые видели, как много сил этот не совсем обычный учитель посвящает тому, чтобы развить в детях добрые наклонности и нравственные принципы.

Женился Левинскас поздно, в 34 года. Женой его стала 26-летняя Тереза Виланд, из местных немцев. «Говорят, что примерно лет 400 назад какой-то феодал привел из Германии этих немецких крестьян. Здесь некоторые из них стали литовцами, другие — латышами, — пишет в своей биографии Левинскас. И добавляет: — Эта девушка мне понравилась своей серьезностью и тем, что была единомышленницей...

всей душой была предана религиозно-философскому мировоззрению Л.Н.Толстого. Национальность мне была неважна, я любил ее, она меня, и летом 1927 года мы сочетались гражданским браком в Клайпеде».

Однако то, что казалось супругам неважным, сыграло в их жизни самую решающую роль. Когда Литву оккупировали немцы, Эдуард был арестован как свободомыслящий интеллигент прорусской ориентации. Только мужественное заступничество немки-жены спасло его от расстрела. Потом в Литву пришла армия Сталина, и в апреле 1945 года Эдуард, его жена, 97-летняя мать Левинскаса, его 13-летний сын и сестра жены были схвачены и вывезены из республики как... немцы. Не помогло ничего. Ни то, что десятки людей показывали, что учитель Левинскас, всю жизнь живущий в одной местности, был честным и добрым человеком, ни тот факт, что во время немецкой оккупации Левинскасы целый год с опасностью для жизни прятали в своем доме советскую гражданку, пожилую еврейку. Вместе с тысячами других «подозрительных» литовцев, латышей, эстонцев семья учителя Левинскаса была отправлена в ссылку. Их отправили в Таджикистан работать на хлопковых плантациях.

«Все мы были поселены в колхозах и сразу приставлены к работам: полоть или мотыжить хлопок в долине реки Вахш, — вспоминает Эдуард. — Для нас это была мука: мы непривычны были к такому сухому и жаркому климату. Стали мы слабеть и все больше и больше болеть малярией, дизентерией и другими болезнями. Некоторые умирали, и число умерших стало увеличиваться. Подкрадывалась смерть и к моей семье... Часто мы жили впроголодь, и потому неудивительно, что пришла смерть и к нам: 30 ноября 1948 года умерла сосланная вместе с нами сестра моей жены — Лилли Павловна Виланд. А 10 января 1949 года умерла и моя жена, добрая Тереза Павловна... Очень потяжелела наша жизнь. Сами с сыном должны были стирать белье, сами должны были готовить себе кушать, чинить одежду, доить козу».

Через год Левинскасу удалось перебраться из деревни в местечко Уялы и поступить сторожем на хлопкоочистительный завод. Эту работу он ценил потому, что мог по ночам заниматься переводами, переводил с русского на литовский произведения Толстого, а также труды Черткова, Гусева и других толстовцев. Покинуть колхоз удалось только оттого, что, работая на плантациях, Левинскас приобрел паховую грыжу. Председатель колхоза, тем не менее, еще несколько недель гонял больного старика в поле. Боли становились, однако, невыносимыми, и, наконец, Левинскас решил, что больше в поле не пойдет. Местный врач, осмотрев грыжу, пообещала направить больного в больницу на операцию. Но пока суд да дело, ссыльного литовца вызвали в правление колхоза. Незнакомый русский человек принялся допрашивать Эдуарда. После вопросов об имени, возрасте и профессии дело дошло до национальности. «Я литовец», — ответил Левинскас. И тут допрос принял специфический для эпохи характер. Вот как описывает его сам автор «Автобиографии»:

«Как ты смеешь врать, проклятый немец! — закричал он на меня. — Ты — немец!» — «Нет, литовец. Я говорю правду... Я не вру». — «Твоя жена же немка?» — «Да, немка, но она литовская немка, и с ужасной политикой Гитлера не имеет абсолютно ничего общего», — сказал я.

— Сейчас я докажу, что и ты немец и приспешник Гитлера, — сказал он и стал как будто искать бумагу, с которой он докажет, что я немец и приспешник Гитлера. Но такой бумаги, конечно, не было у него. Он поискал, поискал эту бумагу в своей книжке, а потом сердито взглянул на меня и спросил: — Почему не идешь на работу?

— От работы я не отказываюсь, но работать на хлопковой плантации я не могу, по причине того, что у меня серьезный недуг — грыжа... Я могу исполнять обязанности ночного сторожа...

— Молчать, сволочь! — закричал он и, взяв пистолет, строго сказал: — Пойдешь завтра работать на хлопковое поле? А то сейчас убью тебя, сволочь!

— Нет, не пойду, — сказал я.

— Не пойдешь?

— Нет.

— Ах так, — взвизгнул он и направил на меня пистолет. Я порвал на груди свою сорочку и подставил ему грудь.

— Стреляйте, если вам позволяет ваша совесть и ваше право.

Он опустил пистолет и удрученным голосом сказал:

— Что, не боишься смерти?

— Да, в таком случае не боюсь. Если вы хотите заставить меня умереть мучительной смертью, так лучше сразу.

— Мы посадим тебя в тюрьму, — сказал он уже не таким строгим голосом.

— Ну, что ж, посадите, буду сидеть. Только мне странно: сегодня утром был у меня врач, молодая девушка, она меня осмотрела и сказала при всей бригаде, что работать тяжелую работу я не могу, что скоро меня отвезут в Сталинабад и там хирург сделает мне операцию, а вы меня пугаете тюрьмой и даже пистолетом...

— Ну, ну, не болтай много, — уже почти миролюбиво сказал он. — А справка от той девушки у тебя есть?

— Я не догадался попросить справку, но я знаю, эта девушка врач. Она в деревне. Я пойду к ней и скоро принесу справку.

— Ну ладно, иди, — почти совсем спокойным голосом сказал он.

Через неделю председатель колхоза учтиво спросил меня, согласен ли я стеречь по ночам колхозынй скот, я согласился, и дело тем и кончилось. А этого несчастного, который угрожал мне тюрьмой и даже пистолетом, я больше не видел».

После смерти Сталина ссыльные литовцы стали посылать в Москву прошения на имя тогдашнего Председателя Президиума Верховного совета СССР К.Ворошилова с просьбой вернуть их домой. В начале 1954 года написал

Ворошилову и Левинскас. Ответа ожидал он более года. Наконец, 25 апреля 1955 года (эту дату он запомнил потом на всю жизнь) отца и сына Левинскасов пригласили к коменданту, ведающему ссыльными, и объявили, что они свободны. Выслушав милостивую бумагу, старик-толстовец спросил: «Может быть вы хоть теперь скажете нам, за что мы здесь страдали десять лет?» И услышал в ответ: «Вы сюда высланы по ошибке».

*

Андрея Мозгового и Эдуарда Левинскаса власти в толстовстве не обвиняли. Не предъявляли таких обвинений и сотням других репрессированных единомышленников Льва Толстого. (Исключение составляли процессы в Западной Сибири, когда судили членов толстовской коммуны «Жизнь и Труд»). В 30-е — 40-е годы чины ЧК-ГБ стремились уничтожить толстовцев, не тревожа тени великого писателя. Но уже дело Василия Шершенева (с этим последователем взглядов Льва Толстого мы встречались в главах «Начало» и «Не поднявшие меча») не оставляет сомнения: к концу сталинского правления была дана команда в открытую уничтожать каждого, кто исповедует толстовскую философию.

Василия Шершенева в третий раз арестовали в Москве 29 ноября 1951 года. Жена его Елена Федоровна подробно описала ночной обыск и то, как уже после обыска в страхе жгла она письма самых близких и бумаги, относящиеся к истории сельскохозяйственной коммуны имени Л.Толстого, где в 20-е годы муж ее был председателем Совета коммуны. Она подробно описывает и то, как искала потом мужа в управлении милиции, в МГБ, в управлении лагерями, как часами выстаивала в очередях к следователям, чтобы хоть что-то услыхать о муже. Только через восемь месяцев 30 июля 1952 года ей сообщили, что Василий Васильевич Шершенев осужден на 25 лет исправительных лагерей по ст. 58-2, 58-10 и 58-11 Уголовного кодекса РСФСР.

Добыв Уголовный кодекс Российской Федерации, Шершенева с изумлением и ужасом прочитала, что, судя по приговору, муж ее замышлял вооруженное восстание, захват власти, действовал с этой целью в составе целой организации, а также совершал террористические акты против представителей власти. Это выглядело как наваждение, безумие, бред. Но человек, никогда в своей жизни не прикасавшийся к оружию, тем не менее, уже ехал по этому бредовому приговору в Мордовские лагеря.

Воспоминания Елены Федоровны позволяют проследить за той неравной борьбой, которую вскоре после смерти Сталина кучка толстовцев пыталась вести со всесильной громадой КГБ, Прокуратурой, ГУЛАГом. Летом 1954 года бывший секретарь Льва Толстого профессор Н.Гусев в письме к Генеральному прокурору СССР писал:

«Василия Васильевича Шершенева я знаю уже около 30 лет. Сначала я знал его как секретаря ближайшего друга Л.Н.Толстого — В.Г.Черткова. Чертков в последний период своей жизни был главным редактором первого Полного собрания сочинений Л.Н.Толстого в 90 томах, выпускаемого Государственным издательством по плану, одобренному В.И.Лениным... Работа В.В.Шершенева по переписке черновых рукописей Л.Н.Толстого для печати отмечена в предисловии к 20-му тому: «Анна Каренина». Черновые редакции и варианты, вышедшему в 1939 году.

По натуре Василий Васильевич Шершенев — добрый, кроткий, чуткий, отзывчивый человек. По убеждениям — приверженец учения Толстого, отрицающий всякое насилие. Искренность его убеждений видна из того, что в 1942 году он отказался от нестроевой военной службы. Военная администрация, видя его искренность, отнеслась к нему гуманно и заменила ему военную службу работой санитаром в заразных госпиталях. Во время Великой отечественной войны В.В.Шершенев работал сначала на нестроевых должностях, затем отказался от строевой службы, за что был присужден к пяти годам заключения. Но дело его было пересмотрено, и Военная коллегия Верховного

суда СССР, видя искренность убеждений В.В.Шершенева, постановила его дело прекратить и освободить его из заключения.

...Обвинение Шершенева в терроризме — ужасное недоразумение. Ни по своему характеру, ни по убеждениям Шершенев террористом быть не может. Суд, видимо, был введен в заблуждение каким-то ложным оговором.

Б.секретарь Л.Н.Толстого, профессор литературы, научный сотрудник Института Мировой литературы имени А.М.Горького Академии наук СССР, член Союза писателей СССР

Н.Н.Гусев

Москва Г-34, ул.Кропоткина, 11, кв.1.
15 июня 1954 года».

Сын покойного Владимира Григорьевича Черткова, также толстовец, Владимир Владимирович, в письме к властям дал Шершеневу столь же лестную характеристику. Между прочим, он, в отличие от Н.Н.Гусева, который писал о «недоразумении», заглянул в корень вопроса. «Не могу допустить участия Шершенева в каком-либо контрреволюционном деле. Если им и подписано что-либо в этом духе, то это могло быть только в условиях ненормального предварительного следствия (1951-52 годов) под каким-то давлением».

Друзья заключенного могли лишь догадываться о том, какое именно давление пережил за время следствия Василий Васильевич. Между тем, в те печально памятные 1951-1952 годы сами они — каждый по отдельности и все вместе — могли оказаться в той же камере, где следователь мучил Шершенева. Ибо среди протоколов, которые пришлось подписать Шершеневу, был документ о существовании в СССР нелегального толстовского центра. Сам на себя Василий Васильевич взвалил вину в подготовке массового переселения духоборов из СССР за границу. Он признался также, что находился в сговоре с толстовцами, осужденными еще в 1937 году и умершими в лагере (Булыгин, Лепехин, Казюлис и др.).

Когда в августе 1954 года Елене Шершеневой удалось добиться свидания с мужем, она впервые услыхала, как в застенках Сухановской тюрьмы у подследственных вырывали признание по делу о толстовцах-террористах. В своих записках Елене Федоровна со слов мужа рассказывает.

«Следствие в подземной Сухановской тюрьме велось исключительно ночью. Часов нигде не было, и время Вася определял по тому, что сейчас же после отбоя, который бывал в 9 вечера, его уводили на допрос и приводили в камеру к подъему — часов в 5-6 утра. Бессонница доводила его до невменяемости, до безразличия к собственной судьбе и до крайнего ослабления воли. Бессонными были не только ночи. Спать не разрешалось и днем, даже стоя... Когда он задремывал стоя, следивший за ним в волчок надзиратель кричал: «Спать не полагается!» Угрозы и бессонница довели Васю до полной депрессии. Один раз следователь как бы случайно спросил его: «Где учится ваша дочь?» На ответ Васи, что она учится в музыкальном училище, следователь заметил: «При таком вашем поведении ей придется учиться в тайге с пилой в руках. Мы ведь можем всю вашу семью в 24 часа выслать из Москвы, сделать это нам ничего не стоит»... В другой раз, вымогая у Васи признание о какой-то несуществующей вине, следователь сказал: «Не признàетесь — придется вас пороть». Или, перейдя с ним с «вы» на «ты», завлял: "Прикуем тебя к тачке и будешь ее катать, пока не сдохнешь, как собака".

За ночь сменялось несколько следователей. Спать в течение двух месяцев Васе удавалось только две ночи в неделю, в субботу и воскресенье, когда следователи отдыхали и допросов не было... У Васи стали появляться мысли о самоубийстве. "Спасла, — рассказывал он мне, — нравственная основа жизни и неугасимая любовь к семье..."

В общей сложности следствие велось более восьми месяцев. Обвиняли Васю в участии в антисоветской толстовской террористической организации, подготавливающей будто бы покушение на жизнь главы советского правительства — Сталина. Доведенный до полного отупения, Вася, как он

рассказывал, жил только мыслью о конце пытки. "Я как во сне слышал, что подсказывал мне следователь, и в тупом сознании рождалось согласие со всем тем, что он мне внушал. Как во сне, я стал повторять за ним клевету на себя, то, чего сам не ведал и не помнил".

Так создавался материал для обвинения.

"Перед судом следователь повторял мне, чтобы я говорил все так, как он записывал... Даже когда меня вели на суд, он подталкивал меня в спину и повторял: «Говорить все, как в протоколе».

Все было изнутри вынуто. Я шел на суд уже не как живой человек, а как мертвец. Смерть наступила словно уже гораздо раньше... терялась воля, терялось собственное «я»... Но все-таки в последнем слове откуда-то взялись силы, и я сказал, что все, что записано в протоколе, — ложь, что это было сказано под давлением следователя, что не было ничего того, в чем меня обвиняют, что я, как нес, так и продолжаю нести знамя учения Толстого Льва Николаевича и только под этим и подпишусь. Я просил все это записать в протокол, но видел, что в протокол мои слова не записали"»*.

Прошли 1954 и 1955 годы. Елена Федоровна снова и снова писала в Генеральную прокуратуру, в Главную Военную прокуратуру и официальному главе государства тех лет К.Ворошилову. Но на все ее письма следовали однотипные ответы: «Оснований к отмене или изменению приговора не имеется». Между тем, Шершенев в лагере все больше слабел. Письма его, сначала ободряющие и мужественные, становились с каждым месяцем все более безнадежными. Он писал жене в январе 1955-го: «Чувствую, что много тебе приходится мытарствовать. Дело мое, по бумагам ловко составленное, разрешить не так-то просто, а потому я не очень надеюсь на восстановление правды

---

* Елена Шершенева. «Записки о жизни Василия Васильевича Шершенева». Неопубликованная рукопись.

и думаю, что и так может быть, как у Льва Николаевича в рассказе «Бог правду видит да не скоро скажет»: "Пришло ему оправдание, а старичок-то уже помер"».

Василий Шершенев дождался справедливости еще при жизни. Он провел в Мордовских лагерях пять лет и был освобожден в марте 1956 года. Вышел он на свободу тяжело больным человеком и умер полгода спустя от инфаркта.

Много раз перечитывал я не предназначенные для публикации воспоминания Елены Федоровны, верной его жены и единомышленницы, и, может быть, более всего поразили меня те строки, которые посвятила она, нет, не страданиям своего мужа, и не себе, работающей на трех службах и бегающей по инстанциям в надежде спасти отца своих детей, и даже не детям своим. Самые удивительные строки в ее «Записках» посвящены тем, кто принес несчастье в семью Шершеневых. Описывая обыск, который продолжался в квартире всю ночь, когда кагебешники рылись в ее чемоданах, шкафах и даже в детских игрушках, Елена Шершенева заметила: «Я искала и находила под личиной их службистости понимание нашей невиновности. Сначала я уловила явное сочувствие в глазах сидящего у двери несколько часов подряд дворника. Потом почудилось нарастание каких-то хороших человеческих контактов с молодым офицером, который по чьему-то заданию делал над нами какое-то немыслимое и жестокое дело. «Я вижу, что вы невинные и хорошие люди, но помочь вам ни в чем не могу...» Он не говорил мне это, но мне все сильнее казалось, что он так думает и чувствует... — писала Елена Шершенева. — **Нам страшно хотелось видеть человеческое в этих людях, наносивших нам такое непоправимое зло».**

Глава XIII

ПЕРЕД УХОДОМ В ВЕЧНОСТЬ (1957-1977)

«Прошу реабилитировать меня перед уходом в вечность».

Толстовец Д.Е.Моргачев — Генеральному прокурору СССР. Июль 1976 г.

Каждый год восьмого ноября, в годовщину смерти Владимира Григорьевича Черткова, у его могилы на Немецком кладбище в Москве собираются единомышленники и друзья. Фотографии, сделанные в этот день десять-пятнадцать лет назад, изображают толпу довольно многолюдную. На фоне черных осенних стволов перед объективом выстраивались в те годы до тридцати-сорока мужчин и женщин. Восьмого ноября 1976 года, отмечая сорокалетие кончины Черткова, друзья фотографироваться не стали: у могилы ближайшего друга Льва Толстого их осталось всего девять человек.

Составить сколько-нибудь полный список здравствующих в России толстовцев мне долго не удавалось. В конце концов я с трудом разыскал около трех десятков членов этого вымирающего ордена. По одному, по два разбросаны они от Киргизии до Литвы, от Северного Кавказа до Москвы, Калуги, Иванова. Несколько человек живет на Украине и в Крыму. Примерно половина из них обитает в Москве и в маленьком западносибирском поселке Тальжино, неподалеку от места, где была когда-то разорена коммуна «Жизнь и Труд». Может быть, толстовцев несколько больше, чем мне известно, но в любом случае в живых осталось их не более полусотни.

Обнаружить этих рассеянных по просторам страны людей трудно прежде всего потому, что после многолетних преследований, они вовсе не стремятся привлекать к себе внимание посторонних. Во-вторых, потому что смерть бывшего секретаря Л.Толстого Н.Н.Гусева (1967) и сына В.Г.Черткова Владимира (1964) лишила толстовцев не скажу вождей, но тех последних фигур, которые еще как-то стояли в центре клана, притягивали к себе остальных. От полного рассеяния спасает толстовцев лишь их живой интерес друг к другу. Несмотря на преклонный возраст, эти старики отправляются за тысячи километров в гости, переписываются, обмениваются книгами, рукописями, обсуждают каждое новое событие, связанное с именем Льва Толстого.

Они передавали меня от одного к другому с некоторым сомнением, ибо давно уже ни один человек «извне», кроме разве чинов КГБ, не интересовался их делами и судьбами. Перенесенный в прошлом шок не был забыт и на исходе 70-х годов. Некоторые из наиболее осторожных толстовцев предпочли вообще не встречаться с писателем-историком*. Зато другие, кстати сказать, наиболее старые люди, отнеслись к моей работе с сочувствием. С удовольствием вспоминаю то дружеское участие, которое проявили ко мне И.П.Ярков (Куйбышев), В.П.Павлов (Белореченск), А.Н.Ганусевич (Москва), А.Г.Мозговой (село Короп, Черниговской области, Украина), И.Я.Драгуновский (Киргизия).

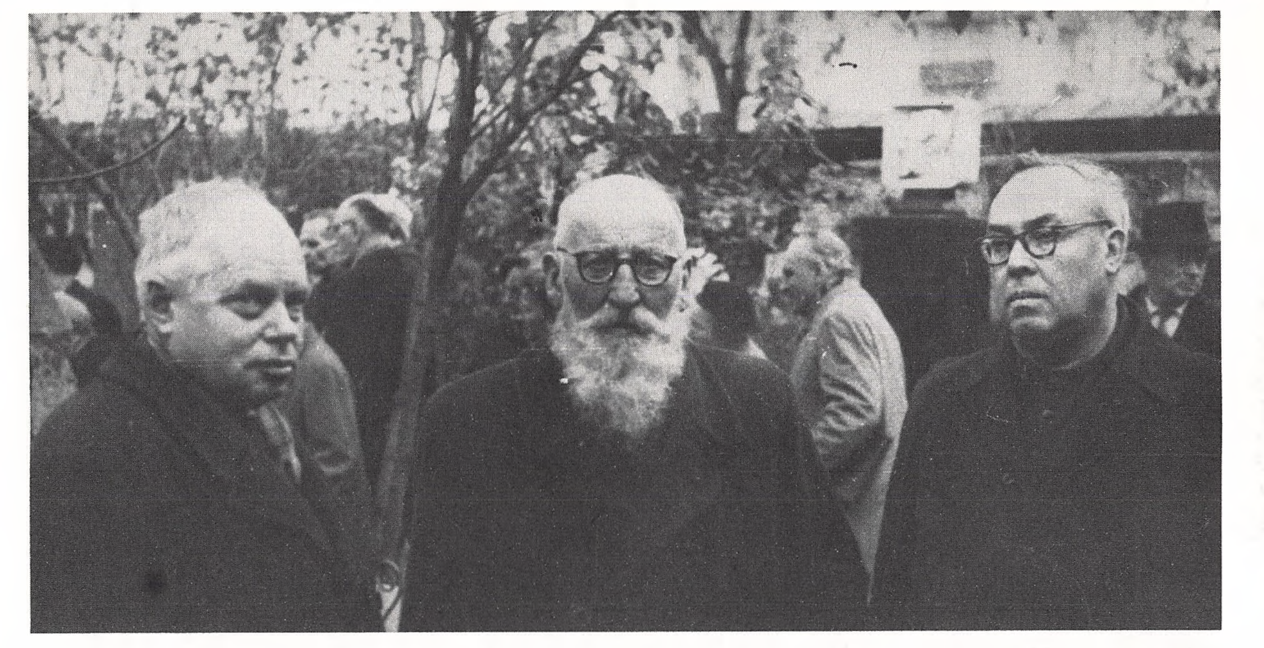
Первое, что мне бросилось в глаза при общении с толстовцами, это их страстное отношение к книге. Я находил в их квартирах богатые, десятками лет собираемые библиотеки философского, исторического содержания, с уникальным подбором книг Льва Толстого и литературы о нем.

---

* Часть толстовцев, узнав о попытке писателя рассказать об их судьбе, высказалась против, потому что «такая книга принесет в мир только лишнее зло». Писать ее вредно, так как живы пока и преследователи, и жертвы.

Эти книголюбы знают цену каждой по-настоящему ценной книге. Более всего привлекают их тома Юбилейного 90-томного собрания сочинений Льва Толстого, книги греческих, римских философов, философские сочинения Индии (Дхамапада, Упанишады и др.), мемуары людей, близких к Толстому (Т.Сухотина-Толстая, Н.Н.Гусев, Маковицкий, В.Ф.Булгаков). Большим спросом пользуются среди этих книгочеев также исследования, относящиеся к рукописям Мертвого моря, истории инквизиции, истории духоборов. Живой интерес проявляют они также к книге маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» и к другим столь же уникальным в СССР изданиям. Когда у них нет денег приобрести вожделенное издание, они берут его в библиотеке и перепечатывают на машинке. Одного такого крестьянина-толстовца я застал дома за перепечаткой трудов римского стоика Эпиктета (ок. 50-138). У этих людей нет более сильной страсти, чем страсти к собиранию книг. Когда в начале 1977 года живущий на Северном Кавказе 86-летний Василий Павлов навестил в приволжском городе Куйбышеве 85-летнего Илью Яркова, то обратно через всю страну повез два короба взятых для прочтения исторических и философских книг. «Теперь самым главным я обеспечен», — сказал он, демонстрируя мне свои богатства.

Средний возраст уцелевших толстовцев 75-80 лет. Наиболее молодым никак не менее 55, но есть и старики, перевалившие за 95 (Александр Николаевич Ганусевич). Как правило, это люди без высшего, а подчас и без среднего образования. Но громадная их начитанность, знание истории, философии, религиозных проблем, этики и высокие личные нравственные качества позволяют говорить о них как о несомненных интеллигентах. Тип этот полностью пресекся не только среди российского крестьянства, но нет его почти и среди советских горожан с дипломами о высшем образовании. Ибо в полном соответствии с русским словом «интеллигенция», просвещенные старики эти в обстановке жесткой духовной стандартизации сохранили способность к самостоятельному мышлению, сберегли высо-



Похороны секретаря Л.Толстого профессора Н.Н.Гусева. Москва, Новодевичье кладбище. 26 октября 1967. Слева направо: М.И.Горбунов — сын И.И.Горбунова-Посадова, Э.М.Левинскас — толстовец из Литвы, переводчик произведений Л.Толстого на литовский язык, А.В.Храбровицкий — помощник Н.Н.Гусева.

кий нравственный накал и духовную оппозицию ко всякой власти. Именно эти качества, по словам Оксфордского словаря, и созидают интеллигенцию, странную группу бескорыстных борцов за истину, которых вот уже 200 лет порождает Российская земля.

Конфликт толстовцев с властью менее всего напоминает борьбу. Единственная доступная для них форма протеста состоит в том, что они уклоняются от государственного контроля и надзора, стараются во что бы то ни стало сохранить свои взгляды, мысли и образ жизни. Противники насилия, они пытаются как можно меньше соприкасаться с представителями государственных ведомств. Опыт научил их, что ничего хорошего от контакта с чиновником ожидать не приходится. Советская власть преследует их за духовную независимость, опасаясь, что старики станут дурно влиять на молодежь. Каждый год толстовцев заставляют участвовать в комедии советских выборов. Кто посильнее духом, от этой процедуры отказывается, другие, ломанные лагерями и тюрьмами, махнув рукой, плетутся к ненавистным избирательным урнам. Никто никого за это не укоряет — в отношениях между собой старики-толстовцы по-прежнему превыше всего ценят свободу взглядов.

Свобода оценок, взглядов в их среде поразительная. Даже по самым основополагающим вопросам жизни от толстовцев можно услышать совершенно различные ответы. Чрезвычайно разнообразно, например, отношение к нынешней политической системе в России. Борис Мазурин в своей рукописной книге об истории коммуны «Жизнь и Труд» пишет: «Не раз нам приходилось слышать при откровенных беседах от коммунистов — и высокопоставленных и рядовых, от следователей и простых рабочих людей: "Это все хорошо, что вы, толстовцы, говорите. Все это будет — и безгосударственное общество без насилия и границ, и трезвое, трудовое, без частной собственности. Но сейчас это несвоевременно, сейчас даже вредно..." Но мы, толстовцы, этого не понимали. Жившее внутри нас Царство

Божие властно толкало нас осуществлять наш жизненный идеал немедленно... Откладывание этих идеалов на какое-то неопределенное будущее казалось нам удивительно схожим с учением церковников, которые предлагали здесь терпеть и сносить лишения и беды с тем, чтоб там, за гробом, в какой-то будущей жизни, обрести желанное блаженство. Вот уже более полувека прошло со дня революции (написано в 1967 году — *М.П.*), а желаемое всеми «будущее» не только не приближается, но, наоборот, все отдаляется и отдаляется, а на первый план продолжают выдвигаться все новые и новые формы насилия и несвободы. А сомневающихся снова, как и вчера, успокаивают: "Сейчас это несвоевременно. Вот придет время..."»

Судя по этим строкам, среди толстовцев есть люди, на забывшие идеалы своей юности, люди, хорошо понимающие цену тех посулов, что раздает своему народу уже пятое поколение советских вождей. Однако такой бескомпромиссный взгляд на историческую перспективу приемлем далеко не для всех толстовцев. В их мемуарах и автобиографических записках, написанных в 60-х и 70-х годах, все еще встречается наивное изумление по поводу того, что советская власть, «власть рабочих и крестьян, с идеалом коммунизма впереди», не понимает последователей Толстого, преследует и даже убивает их, подлинных сторонников коммунизма. Такая наивность частично может быть объяснена мутным, невразумительным характером самого термина «коммунизм». Но в конце концов дело не в термине, а в том искреннем желании, с которым толстовцы вот уже шесть десятков лет пытаются убедить, усовестить нынешних властителей России, напомнить им их былые лозунги и обещания и тем вернуть их на стезю законности и справедливости.

Попытки во что бы то ни стало найти с властью общий язык выглядят одновременно грустно и забавно. Толстовцы видят или хотят видеть то, чего попросту нет в природе. Елене Федоровне Шешреневой к а ж е т с я, что обыскивающий ее квартиру офицер тайной полиции сочув-

ствует ей. Доказательств этого нет, но она хочет видеть черты человечности в физиономии кагебешника. И видит их. Толстовец Андрей Григорьевич Мозговой в письме, адресованном в ЦК КПСС, долго и терпеливо разъясняет адресатам, почему он считает их своими братьями*. И можно поверить — в циничных советских партийных чиновниках он действительно видит братьев. Многие мемуары и дневники толстовцев пронизаны уверенностью в том, что там, наверху, сидят мудрые, добрые, всепонимающие правители, которые, конечно же, исправят в конце коцов ошибки, допущенные мелкими исполнителями. Так, в мемуарах Шершеневой рядом с описанием ужасных сцен тюремного и лагерного беззакония, самого разнузданного поругания человеческого достоинства, которые перенес ее муж, читаем: «Разговор с товарищем Тереховым врезался мне в память как факт, возродивший во мне доверие к советской власти, к тому, что раны, нанесенные народу до 1953 года, врачуются честными, идейными, справедливыми людьми».

Автор этих строк беседовала с полковником (позднее генералом) юстиции Геннадием Афанасьевичем Тереховым в декабре 1955 года, в самом начале хрущевской эры. Хитрый и умный полковник, много лет перед тем проработавший в системе НКВД-КГБ, учуял, что старый сталинский порядок покачнулся и вот-вот может рухнуть. Неудивительно, что в такую пору, беседуя с женой толстовца, осужденного на 25 лет лагерей за террор, Терехов счел за лучшее говорить с ней «душевно и с пониманием». Между прочим, Терехов этот и доныне надзирает в Прокуратуре СССР над делами жертв КГБ, и, насколько мне известно, никто из нынешних политических заключенных, взывающих к нему из лагерей о помощи и защите, никакой «душевности» у него не встречал.

Но, как уже говорилось выше, далеко не все толстовцы склонны к мифологизации и идеализации власти. Многие из них уже давно постигли механику «русского варианта» марк-

* А.Г.Мозговой. Письмо в ЦК КПСС от 23 мая 1971 г. Копия.

сизма. Борис Мазурин подчеркивает разнообразие общественно-политических симпатий своих единомышленников. «Это были люди необыкновенно разнообразные по своему положению в обществе, по своим характерам, воспитанию и степени образованности, по причинам, приведшим их к близости к идеям Толстого... Многие из них не могли охватить мысль Толстого во всей ее многогранности, а соприкасались лишь с какой-то одной ее стороной... Тому были близки философские размышления о жизни, тому — горячий протест против несправедливости общественного устройства, того больше захватывала критика церкви, того — педагогика, того увлекала трудовая сторона жизни, того — отношение к военной службе и вообще к насилию в отношениях между людьми и т.д.»*

А что же объединяет толстовцев? Что дает нам право видеть общность в союзе этих столь различно чувствующих и мыслящих людей? Мне кажется, что объединяют их не столько взгляды и даже не образ жизни. Случалось многим из них нарушать обет «безубойного питания», находятся среди толстовцев и курящие. Даже по отношению к оружию у них нет полного единства: в коммуне «Жизнь и Труд» нашлось несколько парней, которые в 1941 году ушли на фронт и там погибли. Неизменным для толстовцев всех поколений остается лишь одно: обостренное в духе Толстого этическое чувство, болезненное восприятие всякой неправды, несправедливости, острое желание уклониться от всякого зла в себе и других. По сути, перед нами общность не политическая и не идеологическая, но прежде всего нравственная. Удержаться от злого слова, от злого дела толстовцам так же трудно, как и всякому другому нормальному человеку. Но наиболее мужественные и самые требовательные находили силы, чтобы преодолеть в себе инерцию мстительности, зависти, надмения. Эта продолжающаяся целую жизнь тихая борьба с собой

---

* Эссе Б.В.Мазурина «Немного о Елене Евгеньевне Горбуновой». Рукопись, датирована автором 23 ноября 1963 года.

и есть то лучшее, что принесли толстовцы в общественную жизнь страны. Любимая мысль Льва Толстого, которую, как уже говорилось, перенял он у тверского крестьянина-сектанта Сютаева: **все в тебе**, мысль, казавшаяся абсурдной большинству его современников, материализовалась в жизни крестьян-толстовцев. В поисках совершенства люди эти отвергли внешние, «объективные» обстоятельства, считая только себя в ответе за свои поступки. Это было опять-таки по Толстому: «делай, что надо, и пусть будет, что будет».

...Толстовцы — люди бедные. Бывший журналист Илья Ярков вместе с женой живет на 57 рублей в месяц. Это — сумма двух получаемых в семье пенсий. Крестьянин Андрей Мозговой имеет пенсию в 45 рублей. Александр Ганусевич, полвека проработавший на железной дороге и в депо московского трамвая, получает 60 рублей. Иван Драгуновский, которому в лагере серьезно повредили ногу, пишет: «Мне почти 70 лет. Живем вдвоем с женой Фросей, которая единомышленная со мной... Я работаю на станции Беловодской грузчиком, так как пенсии на существование не хватает»*. И так почти все. При всем том ни в холодном полуподвале, где живет семья самарца Ильи Яркова, ни в запущенной московской коммунальной квартире (шесть соседей в одном коридоре), где обитает Александр Ганусевич, я ни разу не слышал жалоб на бедность или на недостатки. Толстовцы вообще не любят жаловаться. «Своей телесной жизнью вполне доволен», — пишет из Литвы шофер Леонас Левинскас, сын покойного Эдуарда Левинскаса**. «Пока не голые и не голодные, жить можно», — сообщает в своей биографии Андрей Мозговой. О том же говорят с полным удовлетворением и жители поселка Тальжино в Западной Сибири, бывшие члены коммуны «Жизнь и Труд». Для этих последних маленькие приусадебные участки служат единственным источником существования.

---

* Письмо автору со станции Беловодская (Киргизия) 20.03.1977.

** Письмо автору из города Жагаре (Литва) 29.03.1977.

Как объяснить благодушие людей, чей жизненный уровень по европейским стандартам пребывает далеко за гранью нищеты? Очень просто — они т о л с т о в ц ы. Их требования к материальной жизни предельно малы, их быт до крайности скуден. В переписке, дневниках, мемуарах толстовцев нет ни слова о радости от приобретения вещей, домов или иного имущества, зато много говорится о работе. Тяжелого труда в их жизни сколько угодно. «Иной раз так устаю на работе, что придя домой, не хочется умываться, так болят руки; нет желания ни читать, ни писать, — сообщает Иван Драгуновский (сын). — Иной день приходится переносить на руках 5-10 тонн груза в ящиках весом до 70 килограммов, выгружая с автомашины в склад или из склада в вагон». Написав эти строки, Иван Яковлевич спешит добавить: «А иной день бывает и легко»*. Жаловаться на излишний тяжелый труд толстовцы также считают неуместным.

Подлинным певцом нищего трудолюбия была учительница толстовской школы Анна Малород. Ее дневник полон размышлений о благодетельности бедности и необходимости труда. «Вот на новом месте живу, легко переехала — все имущество в одни сани вошло... А много мне вещей осталось от родителей: комод, трюмо, стол хороший. Все сумела раздать, раздарить — и довольна»**. Однако, по мнению Анны Малород, труд не должен мешать человеку радоваться жизни. Работы она не боится, но не хочет, чтобы работа мешала ей наслаждаться природой, чтобы усталость отталкивала ее от людей. Этой мысли посвящены многие строки ее дневника. «Снова началась страдная пора: копка, посев, усталость, — пишет она в мае 1949 года. — Так можно совсем закопаться в материализме и опуститься. Так нельзя. Много ли мне надо? Зачем убиваться? Буду трудиться потихоньку, радуясь небу и расцве-

---

* И.Я.Драгуновский, письмо со станции Беловодской 5.03.1977.

** А.С.Малород. Дневник. Рукопись. Запись 20 ноября 1949 года. См. также главу «Школа Анны Малород».

тающей природе...» Через несколько лет снова та же мысль: «Весна. Скоро снова придется взяться за лопату. В этом году буду еще меньше сажать на огороде, чем в прошлом. Не надо жадничать: много ли мне нужно?»* К этим строкам надо добавить, что вскапывать огород, сеять, полоть сорняки и поливать гряды старой женщине приходилось поздним вечером или ранним утром, до и после работы в учреждении...

Но если убожество быта и материальные трудности толстовцы переносят легко и с некоторой даже гордостью, то отношения со своими детьми доставляют им много огорчений. Дети и внуки, как правило, не являются их единомышленниками. Толстовство считают они «глупостью» и «блажью» престарелых предков. Младшее поколение не только равнодушно к нравственным идеалам старшего, но и боится возможных репрессий. Цинизм и меркантилизм, разъедающие советское общество, делают толстовское бескорыстие в глазах младших опасным предрассудком. В обстановке накопительства, корыстолюбия детей раздражает равнодушие отцов к материальным ценностям. Разрушает толстовские семьи и антирелигиозная установка советского общества. В собственной семье старики-толстовцы ни на минуту не чувствуют себя в безопасности от насмешек, выпадов и даже издевательств политически ортодоксальных и антирелигиозно настроенных потомков. «Мы с женой совершенно одиноки», — пишет Илья Ярков, имея в виду духовную пропасть, отделяющую его от его большой семьи. Такое же отчуждение наблюдал я в семье крестьянина Василия Павлова, Елены Шершеневой, Александра Ганусевича. Нечто подобное испытывают и толстовцы-сибиряки. В их семьях, правда, прямых столкновений между родителями и детьми не происходит, но и духовной близости между ними нет. В лучшем случае дети относятся к толстовству родителей как к вышедшему из моды сюртуку, рядиться в который в век космоса и атомной энергии может только отсталое старичьё.

---

* Там же. Запись от 18.03.1951.

Исключение из правил составляют дети умерших толстовцев Якова Драгуновского и Эдуарда Левинскаса. «Стараюсь итти путем отца, но, к моему глубокому сожалению, очень далек от этого чисто духовного пути», — написал мне Иван Яковлевич Драгуновский незадолго до моего выезда из СССР*. «Я себя не считаю толстовцем, — сообщает Леонас Эдуардович Левинскас, — потому что ем мясо вместе с семьей. Иногда выпиваю бутылку пива или стакан сухого вина, правда, не курю, так что далек уже от высоких идеалов. Но считаю жизнь своих родителей достойной подражания и примером для себя»**.

Одиночество, оторванность от духовно близких людей питает в душе современного толстовца тоску по тому времени, когда все они жили в окружении единомышленников, в своих коммунах. Воспоминания об этой счастливой поре постоянно возникает в переписке, мемуарах, дневниках. В понятие «коммуна» бывшие коммунары менее всего вкладывают смысл экономический или организационный. Для них она место духовного единения, взаимной поддержки, товарищества.

«И теперь так хочется этой настоящей коммуны, которая жила бы, работала не только для своего коллектива, но для всех... — пишет одна из бывших коммунарок. — И так жаль, что теперь, говоря о коммунизме, видят его главным образом в повышении материальных благ для всех, в облегчении труда с помощью механизации, а не в том, что главное в коммунизме. Стремление-то к повышению материальных благ, улучшению механизации — все это есть, а вот мысли о том, чтобы всем было тепло, хорошо и разумно — вот этого нет. И, пожалуй, особенно в молодежи. А ведь наше поколение... стремилось к этому и к исканию правды. Конечно не все, но все же это было самое дорогое»***.

---

* Письмо автору от 20 марта 1977 года из Киргизии.

** Письмо автору от 29 марта 1977 из Литвы.

*** Е.Е.Горбунова, письмо к Б.В.Мазурину 30 ноября 1953 года.

Автор этих строк, одна из наиболее активных деятельниц русского толстовства (ее муж Иван Горбунов-Посадов был связан со Львом Толстым как издатель) не только грустит о разоренной коммуне, но прозревает по существу, что такое коммунизм по-советски. В пору, когда Хрущев провозглашал, что «еще нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», Елена Горбунова (она умерла в 1955-м) уже видела духовную пустоту и аморализм того строя, который рядится в коммунистические одежды. То, что «социализм» и «коммунизм» только пустые слова в сталинско-хрущевско-брежневской России, понял и старый крестьянин-толстовец Дмитрий Моргачев. Завершая в 1973 году рукопись «Моя жизнь», он горько сетует: «И опять я думаю: почему этим людям не дали жить? Люди трудовые, местные, вся жизнь их на ладони; никогда я от них не слышал, чтобы они стремились или добивались какой-нибудь своей политической власти, у них на этот счет никаких дум не было и в помине. Казалось бы, им жить и крепнуть в своей коммунистической сознательности, цвести их трудам на благо и на пример людям. Так нет, с упорством, достойным лучшей цели, жить и трудиться им не дают. И кто же не дает? Власть рабочих и крестьян с идеалом коммунизма впереди. Мне кажется, однако, что рабочие и крестьяне тут не причем, а действует голое самоуправство чиновников, стоящих над народом, а не служащих ему»*.

Говоря о коммуне, бывшие коммунары не тешат себя никакими иллюзиями: они твердо знают, что чиновники, управляющие народом от лица партии, ни за что не разрешат единомышленникам Льва Толстого снова объединиться, чтобы исповедовать философские и религиозные взгляды своего учителя. В советской системе твердо закреплено положение, при котором в стране может существовать и свободно развиваться только одна «религия» — марксизм-ленинизм.

* Д.Е.Моргачев. «Моя жизнь». Рукопись.

Вот уже скоро 65 лет, как руководители СССР изымают из общественного обихода все, что помогает правдивому освещению эпохи. Из библиотек удаляют старые книги, другие книги замыкают в «спецхран», государственные архивы превращены в неприступные крепости, закрыты для обозрения многие хранилища музеев и картинных галерей. Запустели учебники истории и литературы, обмелели справочники, иссякли колодцы энциплопедий. В Лету рухнули тысячи исторических имен, громадные пласты исторических событий. В этой обстановке одно за другим вырастают поколения, никогда не видавшие полотен художника Филонова, не читавшие философских трудов Льва Толстого, людей, которые не знают, что́ Владимир Короленко писал Анатолию Луначарскому и при каких обстоятельствах оборвалась жизнь великого русского биолога Николая Вавилова. Уничтожив несколько слоев интеллигенции, власти добились массовой общественно-политической глухоты и безграмотности.

Один из признаков интеллигентности (в русском понимании этого термина) состоит в том, что интеллигент чувствует себя частью исторического потока, видит себя связанным с прошлыми и будущими поколениями. В этом отношении толстовцы, несомненно, интеллигенты. Они не только много читают, но и пишут. И что бы ни выходило из-под их пера: автобиографические повествования, письма, воспоминания, — все носит характер записок исторических. Толстовцы — истовые историки, упорные борцы против государственной политики всеобщего и обязательного беспамятства.

Десятилетиями собирал великолепный архив Владимир Григорьевич Чертков, заботливо хранили каждую относящуюся к толстовству бумажку И.И.Горбунов-Посадов, Н.Н.Гусев. Для них — друзей и сотрудников Льва Николаевича, людей городских и по самой профессии своей письменных — это было вполне естественно. Но исторический инстинкт прорезался и у тех, кто прошлой своей жизнью вроде и не был предуготовлен к сочинению и хранению

воспоминаний и автобиографий. За перо взялись толстовцы-крестьяне, люди далеко не всегда высокой культуры и литературной одаренности. Они уразумели, однако, что события их личной жизни имеют смысл исторический, что, описывая свой собственный жизненный путь, они могут приоткрыть общую механику эпохи. Они принялись писать, и не только писали свои воспоминания, но порой с опасностью для жизни десятилетиями хранили свои бумаги, прятали и перепрятывали их, размножали от руки и на пишущей машинке.

Что было делать с этим архивом? Толстовцы-крестьяне пытались сдать свои воспоминания в музей Льва Толстого в Москве, но никакого интереса к их писаниям в музее не проявили. Многолетний сотрудник музея доктор Альберт Опульский, эмигрировавший ныне в Канаду, по моей просьбе сообщил, что в «рукописном отделе Музея Л.Толстого было два фонда: ”Письма разных лиц к разным лицам” и ”Воспоминания разных лиц о Толстом”. Все эти материалы не только никем не изучались, но и не были приведены в порядок, так как считались второстепенными... Сотрудники инвентаризировали и каталогизировали материалы, связанные с Толстым непосредственно, а прочие как бы не существовали. В Музее считалось, что документы толстовцев современному интеллигенту практически не нужны, а политически вредны»*.

То, что Альберт Опульский наблюдал в 50-х и в 60-х годах, продолжалось и в 70-е и в 80-е годы. Куда бы ни посылали толстовцы свои бумаги — в Музей Льва Толстого или в Рукописный отдел библиотеки имени В.И.Ленина в Москве, им эти бумаги возвращают «за ненадобностью». Делается это под тем предлогом, что подобные бумаги якобы в музее (библиотеке) уже есть. Подчас пускается в ход и другое объяснение: «В хранилище нет места для бумаг»**. Но и в тех случаях, когда музей или библиоте-

---

* Доктор А.Опульский. Письмо к автору из Монреаля 2.02.1980.

** Оба эти «аргумента» приведены в письме (см. следующ. стр.)

ка милостиво соглашаются принять от толстовца исторические документы и записи, бумаги эти тут же бесследно исчезают в недрах хранилищ. Так, в конце 1976 года Рукописный отдел библиотеки имени Ленина получил по почте из Куйбышева большое исследование о судьбе Александра Добролюбова, поэта-символиста, близкого по взглядам к толстовцам. Автору исследования И.П.Яркову ответили, что труд его принят на хранение, но в каталоге для посетителей карточка, извещающая о получении манускрипта, пролежала всего один день. Через сутки ее оттуда удалили, и она исчезла навсегда: получить рукопись для чтения и даже просто узнать о ее судьбе с тех пор не удается. Никто не может также получить доступ к уникальным материалам по истории толстовства, которые послали в Музей Льва Толстого в Москве Борис Мазурин и другие толстовцы-сибиряки.

Не дожидаясь расположения со стороны хранителей музеев и библиотек (публика эта, как правило, связана с КГБ), толстовцы устраивают хранилища документов у себя дома. Один из собирателей бумаг просит друзей присылать ему истории своей жизни, аккуратно перепечатывает их, переплетает эти «биографии сегодняшнего дня» и выстраивает их на той же полке своей библиотеки, на которой он хранит книги из серии «Жизнь замечательных людей». Другой единомышленник, не располагающий машинкой, исписывает от руки кипы школьных тетрадок. Этот труженик справедливо рассудил, что у многократно размноженной рукописи меньше шансов погибнуть, чем у той, которая существует в единственном экземпляре.

Но есть в жизни толстовцев боль, которую переживают они сильнее даже, чем собственные беды: их остро ранят несправедливые нападки на память Льва Толстого.

заведующей отделом рукописей Музея Л.Толстого к толстовцу А.Н.Ганусевичу 25 февраля 1976 года. Возвращая ценные материалы по истории толстовства, Иванова написала: «Дублетные материалы мы не принимаем из-за отсутствия места для хранения».

Такие выпады неизбежны в каждой выходящей в СССР монографии о великом писателе и почти в каждой статье о нем. Исходной точкой всякой официозной критики Толстого служат слова Ленина о том, что «Толстой смешон как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества...» Без этой дежурной ленинской фразы ни один редактор ни одну книгу о Толстом в свет не выпустит. Без критики в духе этой фразы немыслим также ни один доклад, ни одна радиопередача о Толстом. Советские литературоведы монотонно повторяют заданный им семьдесят лет назад урок относительно «слабых мест» Толстого, о недостатках Толстого как мыслителя и несостоятельности его философии*. Входить в глубокий анализ толстовских идей им не рекомендуют, дабы не пропагандировать сами идеи. Но лягнуть они должны обязательно. Одни делают это охотно, с энтузиазмом, другие по горькой необходимости. Но никто не уклоняется. Возражать критикам бесполезно: автора, не согласного с Лениным, нигде не опубликуют. Толстовцам остается лишь в письмах друг к другу обсуждать книги-фальшивки и речи-поклепы. Иногда, правда, они обращаются с письмами к литературоведам, нарушающим историческую правду.

«Я набрал ряд абзацев из книг о Толстом: Мотылева — «Мировое значение Толстого»; Шифман — «Толстой и Восток»; Мейлах — «Уход и смерть Толстого». Получилась большая тетрадь, составленная из "слабых мест", "непонимания", "противоречий" и т.д.», — пишет толстовец Н.И.Пряхин и предлагает своим друзьям познакомиться с этим «набором»**.

---

* Выехав на Запад, с изумлением увидел я, что ленинская позиция относительно Толстого-философа поддержана деятелями первой эмиграции. В книге «К истории русской интеллигенции (Революция Толстого)» Архиепископ Иоанн Шаховской пишет: «Нет более реального, чем Толстой, явления в русской художественной литературе, и нет более нежизненного явления, чем он, в русской религиозной и философской мысли... Толстой не был мыслителем, хотя непрестанно и жадно думал...» (Нью-Йорк, 1975).

** Николай Иванович Пряхин (1900-1970) один (см. след. стр.)

Особенно саркастическую переписку вызвала среди толстовцев вышедшая в середине 60-х годов книга официозного советского ученого-литературоведа А.И.Шифмана «Толстой и Восток». В одном из писем Борис Мазурин с горькой иронией заметил, что пользуясь полной безнаказанностью, Шифман буквально готов "утереть Лёвочке сопельки"».

«Я знаю эту книгу и ее автора, — отвечает из Москвы своему единомышленнику-сибиряку профессор Н.Н.Гусев. — Он (Шифман — *М.П.*) не лишен понимания, но у него две беды. Первая, что у него семья и ему не хватает его ставки 200 рублей, поэтому он и подкармливает свою семью Толстым; вторая причина — то, что он человек робкий, чтобы не сказать трусливый, и страшно боится, чтобы его не заподозрили в толстовстве. А тут и тема попалась — Толстой и восточные религии; он решил быть острожным вдвойне и наполнил свою книгу самыми назойливыми и многочисленными уверениями в том, что он не толстовец»*.

Среди ныне здравствующих толстовцев Борис Васильевич Мазурин наиболее страстно и лично воспринимает поклепы на Льва Толстого. В своем сибирском далеке он один из первых достает, читает и быстро реагирует на каждую попытку исказить правду об учителе. Особенно часто приходилось Мазурину браться за перо в 60-е годы, когда в связи с пятидесятой годовщиной со дня смерти Толстого книги о нем в СССР пошли косяком. Власти воспользовались случаем, чтобы доказать всему свету, что «Толстой — наш». В книгах, докладах, радиопередачах делался упор на борьбу Толстого с церковью и царским режимом. В продаже появились массовые брошюры, в которых великий писатель граф Толстой выглядел этаким гибридом Стеньки Разина и большевика. Среди этого потока макулатуры и грубой про-

---

из активных собирателей толстовского «самиздата». Цитирую его письмо из Москвы в Сибирь Б.В.Мазурину 2 октября 1962 г.

* Письмо Н.Н.Гусева Б.В.Мазурину в Сибирь от 25.09.1965.

паганды некоторые книги внимание толстовцев тем не менее привлекли. Интересным, в частности, показался им труд ленинградского литературоведа Б.С.Мейлаха «Уход и смерть Л.Толстого» (1961). Борис Соломонович Мейлах (род. в 1909 году), член партии с 1940 года, в пору самого разнузданного антисемитизма (1948 год) получивший Сталинскую премию за свою книгу «Ленин и проблемы русской литературы», был и остается одним из вернейших советских пропагандистов. Тем не менее как профессионал, описывая уход Толстого из дома в 1910 году, он действительно проделал немалую работу по разысканию и анализу литературного и исторического материала. Поблагодарив Мейлаха за его труд, читатель-толстовец Борис Мазурин откровенно высказал ему свои взгляды:

«Я думаю, что главной причиной, что Толстого так мало знают, является искусственное его замалчивание, а подчас и прямое гонение, вольное или невольное извращение. Происходит это потому, что очень уж его «добирающиеся до самого корня» взгляды идут против шерсти всех власть имущих в современном мире»*. Книга Мейлаха не удовлетворила толстовцев. В своем критическом разборе Борис Мазурин ясно показал, насколько различно видят творчество и жизнь гениального мыслителя марксисты и люди, пользующиеся категориями христианства. «Вы в своей книге часто говорите о «слабых» местах толстовского мировоззрения, называя их слабыми ввиду их несовпадения с марксистскими взглядами, особенно в отношении возможности изменить жизнь к лучшему путем насилия. И Вам кажется, что мысли Толстого слабы, а э т и правильны. Простите, но в старой деревне была пословица: «Богатый мужик — всегда умный»... Отношение Толстого к революции не было легкомысленным, это и у Вас в книге отмечается... Но Толстой не мог удовлетвориться половинчатыми мерами, не достигающими своей цели, мерами, кото-

* Б.В.Мазурин из Тальжино (Зап.Сибирь) — в Ленинград Б.С. Мейлаху, 20 декабря 1962 г.

рые только меняют название вещей, а не их суть. Толстой не мог поверить, говоря словами Герцена, что из свинцовых инстинктов в результате революции возникнет золотое поведение (общества)»**.

В ответном письме профессор Мейлах снова, в полном согласии с затверженной ленинской схемой, повторяет, что он «пытался представить Толстого именно как борца, а его вызванные временем заблуждения — как заблуждения борца в трагических поисках истины»**.

Борьба действительно главная тема книги «Уход и смерть Л.Толстого», но для марксиста и для единомышленников Толстого слово это несет совершенно разный смысл. «Надо договаривать до конца, — отвечает крестьянин Б.Мазурин профессору Б.Мейлаху, — и внести полную ясность в это понятие, прилагаемое к Толстому... Борьба Толстого не была какой-то политической деятельностью, она неизбежно вытекала из его основного, цельного мировоззрения, как и все остальные положения его учения. Никакими натяжками нельзя представить Толстого лидером политической партии, борющимся за власть над людьми. Нельзя представить себе Толстого государственным деятелем, руководящим и распоряжающимся людьми при помощи неизбежных средств государственной власти. **Но и нельзя себе представить Толстого молчащим в такие ужасные годы, как 1937 и 1938-й**»***.

В диалогах с официозными советскими учеными и писателями толстовцы далеко не всегда могли высказать всю известную им правду. Это было небезопасно даже в хрущевские времена. Да и бесполезно было описывать столич-

* Там же. Машинописная копия. Мысль о том, что из свинцовых инстинктов человека невозможно создать в результате революции золотое, то есть нравственное общества, принадлежит не Герцену, а Герберту Спенсеру.

** Письмо Б.С.Мейлаха из Ленинграда — Б.В.Мазурину, 14 марта 1962 г. (Машинописная копия).

*** Б.В.Мазурин из Зап. Сибири — Б.С.Мейлаху, 17 апреля 1962 году (Машинописная копия).

ным вальяжным собеседникам тот жестокий личный опыт, который закалил в их душах толстовские истины. Лауреату Сталинской премии Мейлаху не было никакого дела до лагерных расстрелов и голодных смертей, которые в сталинские времена вырвали сотни жизней из среды крестьян, исповедующих философию Льва Толстого.

И тем не менее, когда дело доходило до вопросов принципиальных, «мужики» показывали себя людьми твердыми. В 1964 году бывший секретарь Л.Н.Толстого В.Ф.Булгаков опубликовал в СССР книгу «О Толстом». В основе ее лежала его же книга, выпущенная еще в 1911 году*. Но из 53-х лет, которые прошли между первым и вторым изданием, Валентин Булгаков двадцать с лишним лет провел на Западе в эмиграции, был впущен советскими властями после войны на родину и в благодарность за это должен был доказать советским властям свою лояльность. Тема «русское толстовство» вполне подходила для этой цели. Особенно резко В.Булгаков обрушился на умершего уже к тому времени В.Г.Черткова. Он изобразил его в своей книге подлинно злым гением великого писателя. Что касается самого Толстого, то по ленинской схеме Булгаков расчленил его на «хорошего» писателя и «никчемного» философа, который не понимает ценности политического насилия даже тогда, когда насилие направлено на «добрые», «революционные» цели.

Книга «О Толстом» возмутила толстовцев. О булгаковских «перлах» писали друг другу Левинскас, Мазурин, Гусев, Пряхин, Кофман и многие другие. Толстовец Исаак Моисеевич Кофман, проведший за свои убеждения два десятка лет в сталинских лагерях, в большом письме к Валентину Булгакову перечислил все то, что принесло России учение о классовой борьбе и революционном насилии:

«...Банды первых годов революции с их диким шовинизмом, с грабежами и убийствами мирного населения; ужасы

* В.Ф.Булгаков. «У Толстого в последний год его жизни». М., 1911.

ЧК с ежедневными групповыми расстрелами людей, виновных в том, что хотели быть богатыми, то есть хотели того, чего все хотят, а потом появление всякого рода «ягод», «ежовых», «берий» и т.д. Разве это не результат учения о борьбе и насилии? А ужасы, перенесенные от... Сталина, или, как их мягко именуют сейчас, «ужасы культа личности» — разве это не результат учения о борьбе и насилии? Разве все вышеизложенное не от того, что люди отвергли путь, указанный величайшим мыслителем человечества... путь любви и непротивления злу злом, а избрали одобряемый вами путь, который уже завел человечество в Треблинки и Бабьи Яры?!»*

Искажали философские идеи Толстого в советское время не только литературоведы и мемуаристы. Как правило, дезинформативными были радио- и телепередачи, посвященные памяти великого писателя, а также речи и доклады на посвященных ему вечерах. О характере таких вечеров и публичных чтений толстовец Н.И.Пряхин писал: «Даже те, кто стояли совсем близко к Толстому, стараются теперь на вечерах, устраиваемых в его память, не вспоминать того, что было самым главным в его жизни, а стараются обойти это молчанием. Не будем же удивляться тем, которые... всеми силами стараются в пользу дурного скрыть от публики хорошее. У меня на этих вечерах получается такое впечатление, что Толстого хоронят каждый раз, а не воскрешают»**.

Наиболее пышные «похороны» Толстого-мыслителя и философа состоялись 19 ноября 1960 года в Москве, в Большом театре. Здесь, на торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти Льва Николаевича, один из наиболее официозных членов Союза писателей Леонид Леонов прочитал свое «Слово о Толстом». Речи

* Письмо И.М.Кофмана В.Ф.Булгакову, 1964 г. (Машинописная копия).

** Н.И.Пряхин из Москвы — Б.В.Мазурину 2 октября 1962 года. (Машинописная копия).

такого рода готовятся загодя, долго редактируются и согласовываются в самых высоких инстанциях страны. Назначение их — сугубо политическое. Подобно парадам на Красной площади или приему иностранных дипломатов в Кремле, торжественные речения эти предназначены для создания атмосферы государственной устойчивости, солидности, респектабельности. Поэтому такие доклады, как правило, малозначительны, но зато точно отражают основные пропагандные идеи в данной области. Главная пропагандная мысль кремлевского руководства по отношению ко Льву Толстому вот уже много лет состоит в том, что в своем неприятии церкви и царского режима великий писатель дошел почти до большевистских выводов, но, с другой стороны, недопонял, недосообразил, недооценил, что именно пролетариат с оружием в руках наилучшим образом осуществит его, Толстого, мечту о преобразовании человечества. Кроме того, при всяком удобном случае в таких речах полагается вспоминать гений Толстого, мировое значение Толстого, гуманизм Толстого, патриотизм Толстого, повторять, что Толстой наш, наш, наш. А не ваш... Всё это с большой помпезностью, с прочувствованными лирическими отступлениями и пониманием собственной роли в разыгрываемом спектакле, произнес со сцены Большого оперного театра Леонид Леонов, писатель-академик, Лауреат Сталинских и Ленинских премий, Герой социалистического труда и депутат Верховного Совета СССР.

Речь перепечатали все центральные газеты, она была также выпущена брошюрой тиражом в 10000 экземпляров. Ее приказано было изучать на школьных уроках литературы и на филологических факультетах университетов. Ее передали по радио, так что миллионы советских радиослушателей среди прочего могли услышать, что бездарность Толстого-философа была столь явной и безнадежной, что никто не пошел за ним, никто его не подержал. Докладчик вроде бы даже с сочувствием произнес свой риторический вопрос о том, «почему же не апостолы, не пламенные ученики, а лишь рассеянные по свету сектанты остались после

Толстого?..»* Ответ напрашивался сам собой: кто же из серьезных людей согласится идти по столь ложной стезе. Нет их, продолжателей идей Льва Толстого, практически нет и не было.

Не забыл писатель Леонов и «врагов наших», предположив, что в тот самый час, когда произносит он свое величественное «Слово», «чей-то озлобленный ум постарается подбором толстовских цитат нанести моральный урон нашей родине, которой Лев Толстой всей своей сущностью принадлежал и которую так возвеличил». Не без основания предположил писатель Леонов в своей речи, что в эти юбилейные дни противники советской власти там на Западе помянут «неминуемые этапы, через которые в этом грешном запятнанном (кем? — *М.П.*) мире проходила социалистическая революция».

Чтобы окончательно похоронить Толстого-мыслителя, Леонов дважды упомянул «менее или вовсе не читаемые тома» его Юбилейного 90-томного Собрания сочинений, тома, содержащие труды философского и религиозного характера. И опять всем имеющим уши дано было понять, что народ не желает читать Толстого-моралиста и философа, а коли так, то и издавать эти его труды не следует.

Не имея возможности читать европейские и американские газеты, советские граждане не узнали, естественно, что именно писали и говорили в эти дни о Толстом и социалистической революции 1917 года на Западе. Что же до единомышленников Льва Николаевича в России, то им не пришлось «подбирать цитаты», чтобы опровергнуть Леонова. Их аргументами была их собственная мученическая жизнь и смерть в лагерях и тюрьмах их единомышленников. Они знали, что именно случилось с обществом, которое отвергло не только «малочитаемые» тома Толстого, но и самую христинаскую мораль. Знали и не пожелали промолчать.

---

* Леонид Леонов. «Слово о Толстом». ГИХЛ, М., 1961, стр.21.

«Заметили ли Вы, — написал Л.Леонову Б.Мазурин, — что такие слова, как «душа», «самоотверженность», «любовь», «он умер», «он живет», «братство», «чистота нравственная», «духовная жизнь», «скромность», «совесть» и т.д. все больше и больше входят в наш современный обиход; возьмите любую книгу, газету, календарь, стихи, роман, на каждом шагу. А ведь это те понятия, те слова, какими полны «Путь жизни», «Круг чтения», «На каждый день» Толстого. Может быть они не нужны, эти слова, эти понятия? Нужны! Без них жизнь человеческая опустошается. Воспитание человека признается сейчас безусловно необходимым для коммунистического общества, но все правила поведения, все моральные нормы будут непрочны и недейственны, если они не будут вытекать из основного центрального мировоззрения человека. Так что и эта сторона жизни и труда Л.Толстого не может быть вредна или безразлична современным людям... В его томах «малочитаемых», а отчасти и презираемых, заключено такое огромное общечеловеческое богатство, что отмахиваться от него по меньшей мере близоруко»*.

Большое письмо Мазурина (я имею возможность привести здесь лишь краткие выдержки из него), многократно размноженное, обошло всех толстовцев и вызвало оживленные прения. Наиболее горячо обсуждался вопрос о том, почему же не осталось на родине Льва Толстого «пламенных учеников и апостолов». По этому поводу толстовцы могли сообщить немало подробностей. Многие из них еще не забыли, как при царе получали по 12 лет каторги за отказ итти в солдаты, а в советское время за такого же рода пацифистские действия по статье Уголовного кодекса трибуналы приговаривали к расстрелу их детей. Как и Борис Мазурин, каждый толстовец мог бы напомнить писателю Леонову, что:

«Существовавшие в первые годы после революции журналы толстовского направления «Единение», «Голос Тол-

* Б.В.Мазурин — Л.М.Леонову, 14 февраля 1962 года.

стого», «Истинная Свобода» и другие были закрыты; Московское Вегетарианское общество имени Л.Толстого также было закрыто... Что десятки и сотни больших и маленьких, удачных и неудачных коммун и общин единомышленников Л.Толстого, пытавшихся осуществить на практике принцип коммунистической, трудовой, трезвой и мирной жизни, были все так или иначе ликвидированы»*.

Памятно было всем и то, как обосновались на пустынном берегу сибирской реки Томь более тысячи крестьян-толстовцев в 1931 году и как «к каждому из взрослых мужчин был под тем или иным предлогом приклеен ярлык уголовного преступления, и много из них, слишком много погибли безвозвратно. Правда, родные их имеют теперь на руках бумажки, что их мужья, отцы и дети не были ни в чем виноваты. Бумажки есть, а людей нет»**. Так что были в России пламенные ученики, апостолы и единомышленники Льва Толстого, были. И люди то были трудовые, прямые, трезвые и глубоко мирные. Были...

Свое письмо написал Борис Мазурин в феврале 1962 года. Но не так-то просто было сибиряку-крестьянину вручить свое послание с а м о м у Леонову. Позднее, во втором письме Борис Васильевич описал связанные с этим перипетии. «Когда я приехал в Москву и попросил в справочном бюро Ваш адрес, мне отказали, сказал, что адрес Ваш не выдается. «А телефон?» — «Телефона нет!» Я был озадачен, и, не скрою, первая мысль у меня была: «Это тебе не граф». И у меня пропала всякая охота беседовать с Вами»**. Адрес Леонова Мазурин тем не менее («стороной», как он пишет) раздобыл, письмо отправил и даже получил ответ, в котором секретарь «Депутата Верховного Совета СССР Л.М.Леонова» на соответствующем бланке извещал провинциала, что с каждым из своих читателей в отдельности Леонид Максимович побеседовать не в состоянии и ответить на все письма читателей он также не может. Однако через

---

* Б.В.Мазурин — Л.М.Леонову, 14 февраля 1962 года.

** Б.Мазурин — Л.М.Леонову, 1 мая 1962 года.

некоторое время Леонов к толстовцу все-таки снизошел: Мазурин получил от него письмо.

«Уважаемый Борис Васильевич, Ваше письмо с возражениями и сомнениями по поводу некоторых положений моего доклада является по существу единственным среди многочисленных полученных мною откликов. Может, имеет смысл обратиться со специальной статьей в какой-нибудь орган печати, хотя бы в «Литературную газету», и таким образом передать ваши несогласные со мной раздумья о Толстом широкой общественности? К сожалению, большая загрузка в работе и почти преклонный возраст лишают меня возможности вторично возвратиться к этой теме. Всего доброго. Леонов».*

Вялый, равнодушный тон, в котором писатель ответил своему читателю-оппоненту, не удивил толстовцев: они привыкли к тому, что в переговорах с ними чиновники — советские и партийные — никогда не входят в обсуждение вопросов по существу. Своей отпиской Леонид Леонов только показал этим простым людям, что он — чиновник литературного ведомства.

«Письмо Ваше к Леонову Вы правильно сделали, что послали по домашнему адресу, — прокомментировал этот эпизод бывший секретарь Л.Толстого Николай Николаевич Гусев. — Леонов сам не верит в то, что он Вам написал, — ни «Литературная газета», ни какой другой орган печати никогда бы не напечатали Ваше письмо, и то, что он предлагал Вам... это пустая канцелярская отписка, так же как и его намек на какой-то его преклонный возраст. Все-таки, по-видимому, Ваше письмо произвело на него некоторое впечатление, почему он и выделяет его из других полученных писем...»**.

Отклики толстовцев на переписку своего товарища со знаменитым писателем многочисленны и, по обыкновению,

---

* Л.М.Леонов — Б.В.Мазурину, между июнем и сентябрем 1962.

** Н.Н.Гусев — Б.В.Мазурину, 25 сентября 1962 г. Леонову в 1962 году исполнился 61 год.

разноречивы. Часть единомышленников, очевидно, присоединилась ко взглядам москвича Н.И.Пряхина, который считал, что «от других мы не вправе требовать, чтобы они мыслили и действовали по нашим понятиям. Мы должны помогать им понимать нас, а если они нас не понимают, то, стало быть, мы слабы... и нам следует работать над собой...»*. Но большинство толстовцев оказалось на стороне Мазурина и обращение своего товарища к знаменитому писателю Леонову приветствовали. Интересно, что письмо Мазурина к Леонову — единственный толстовский документ, распространенный московским самиздатом. В сопроводительном письме, которое я обнаружил в одном из литературных домов Москвы, неизвестный толстовец, размноживший экземпляры мазуринского письма, горячо рекомендует читать это сочинение и возражает лишь против одного места, где Б.В.Мазурин называет декрет Ленина от 4 января 1919 года «человечным». Толстовец (очевидно, крестьянин) комментирует ленинский декрет, который позволял освобождать от службы в армии некоторых лиц, не желавших брать в руки оружие по религиозным причинам, следующим образом:

«Я смотрю на этот декрет так же, как на конгрессы мира, мирные конференции и Организацию Объединенных Наций: это один из лицемерных обманов, которые употребляют в наше время сторонники насилия для продолжения в мире царства зла и своей власти»**.

Переписка толстовцев по религиозным, общественным и литературным вопросам продолжается и поныне. Поводы при этом представляются самые разные. Так, летом 1975 года Дмитрий Егорович Моргачев направил открытое письмо известному антирелигиознику А.И.Клибанову, партийцу, автору книги «Из мира религиозного сектантства» (1974).

---

* Н.И.Пряхин — неизвестному (Александру Федоровичу), лето 1962 г. (Копия).

** Самиздатская рукопись, оставалась в хождении до середины 70-х годов.

Копии своего письма старый крестьянин разослал в редакции ряда московских газет и журналов.

Доктор философских наук Александр Ильич Клибанов известен как давний недруг толстовцев, которых он в своих многочисленных произведениях иначе как сектантами на называет. Еще в 1932 году, в то время, когда коммунары начинали новую жизнь в Сибири, партийный пропагандист Клибанов создавал в государственном антирелигиозном музее в Ленинграде стенд с натравливающим заголовком: «Классовая сущность сектантства и толстовства». По идее Клибанова, единственная причина, по которой толстовцы не идут в колхозы, это то, что они корыстны, как и все кулаки. Клибанов ставил знак равенства между кулаками и толстовцами и тем самым призывал власти расстреливать и уничтожать эту религиозно-этическую группу «как классово чуждую». В том же духе выдержаны и его позднейшие произведения. В книге «Религиозное сектантство и современность» (издание Академии наук СССР, 1963 год) Клибанов, анализируя архив В.Г.Черткова, утверждал, что во время Гражданской войны (1918-1922) толстовцы пытались обезлюдить и разоружить Красную армию, а во время НЭПа всячески мешали советской работе в городе и деревне.

В книге «Из мира религиозного сектантства», вышедшей уже в середине 70-х годов, Клибанов продолжал повторять старую клевету. В письме-рецензии на эту книгу толстовец Моргачев привел списки убитых и замученных своих единомышленников, рассказал о судьбе разгромленных толстовских коммун, напомнил, что и сегодня люди, разделяющие взгляды Льва Толстого, рискуют если не попасть в тюрьму, то подвергнуться преследованиям на службе, в учебном заведении, в собственном доме.

Что же ответил старику-крестьянину профессор философии А.И.Клибанов? Посочувствовал отцу двух убитых сыновей? Выразил соболезнование в том, что его корреспондент безвинно провел десять лет в лагерях и тюрьмах? Или, может быть, разъяснил причину, по которой совет-

ская власть оторвала от земли лучших земледельцев России? Нет. Для партийного историка и философа все это — мелочи. Свое ответное письмо он почти целиком посвятил величию марксизма-ленинизма.

«Мой жизненный путь... привел меня к учению Маркса-Ленина. В течение всей последующей жизни я укреплялся в этом учении, стремился следовать ему во всей моей деятельности. Были и крутые горки, но они не укатали моих убеждений (Клибанов сидел в лагере — *М.П.*)... На основе учения Маркса я изучаю и объясняю события нашей отечественной истории, а тем самым продолжаю его учение, расширяю поле влияния учения Маркса... Я не знаю другого учения, которое глубже и лучше позволяло бы понять историю человечества, распутать ее петли, разъяснить весь ее сложный ход. И это еще не все. Учение Маркса позволяет не только объяснить прошлое, но и предвидеть будущее. Учение Маркса дает человечеству руль и ветрила, чтобы не блуждать в потемках, а взять в собственные руки свою судьбу...» И в том же роде десять страниц машинописного текста. Ну, а убитые, загнанные в лагеря, оторванные от земли, оклеветанные толстовцы — о них-то что сказал Александр Ильич Клибанов? Ничего. Впрочем, если не считать следующего пассажа:

«В иных руках учение Маркса может стать и пустошью и прямым сорняком. Возьмите хотя бы опирающийся на насилие казарменный коммунизм Мао Дзедуна, вызывающий возмущение и страх во всем мире. Но это зависит не от Маркса, а от того, как он применяется...» Вот так...

Другая тема, к которой толстовцы постоянно обращаются в своей переписке с властями, — судьба философских произведений Льва Толстого. Ничтожный тираж, которым всего лишь о д и н раз были изданы эти произведения, полностью заставляет единомышленников философа снова и снова писать в издательства, в партийные и советские организации. В письме, адресованном членам ЦК КПСС, Андрей Григорьевич Мозговой из села Короп (Украина) взывает:

«Я обращаюсь к вам как к людям, находящимся в исключительном положении для полной возможности напечатания и распространения Юбилейного издания произведений Льва Николаевича Толстого не в пяти или десяти тысячах экземпляров, как оно напечатано, а в количестве, достаточном, чтобы книги эти стали доступными для чтения всем желающим. Сделав это дело, Вы сделаете величайшее добро людям и найдете величайшее удовлетворение в своей душе»*.

Из Москвы письмо крестьянина переслали в Черниговский обком партии, оттуда в Коропский райком партии. Старика призвали в кабинет, но поскольку времена нынче либеральные, то не кричали, не грозили, а наоборот, сказали, что Толстой действительно великий писатель, с этим и Ленин соглашался, что в стране нашей Толстого любят и читают. Но из-за возросших культурных потребностей населения издательства не успевают выпускать на душу населения достаточного количества книг. Что же касается того, когда российский читатель получит всего Толстого, то об этом в райкоме ничего не слыхали и ничего объяснить просителю не смогли.

...Скажу также несколько слов о, так сказать, «международных» связях моих героев. В отличие от современных диссидентов, толстовцы никогда не искали общественной поддержки ни в Советском Союзе, ни за его пределами. В конфликте с советскими чиновниками они брали ответственность за все на самих себя, мнение третьей стороны их не интересовало. Тщеславие тоже не мучило. Более того, когда началась пора хрущевского «реабилитанса», в 1956-1958 годах, они не пожелали оповестить мир о своих прошлых страданиях. У них был на этот счет свой собственный принципиальный подход: если начать искать и наказывать виноватых, это внесет в мир только лишнее зло.

---

* Мозговой А.Г. «Членам Центрального комитета (партии)». Письмо от 23 мая 1971 года.

Нельзя сказать, чтобы толстовцев вовсе не интересовала жизнь Запада. Среди прочего, очень хотелось им узнать, что говорят и пишут в Европе и Америке об их учителе, как живут эмигрировавшие в Канаду их духовные братья духоборы и т.д. Но глухой железный занавес полностью отрезал их, как и остальных подданных сталинской империи, от внешнего мира. Доктор Альберт Опульский недавно рассказал:

«Помню, однажды в музей пришли трое стариков, одетых почти так, как одевались крестьяне в конце прошлого века, но с некоторой модернизацией: онучи были заправлены не в лапти, а в ботинки на толстой подошве, вместо поярковых шляп на головах сидели кепочки-осьмиклинки, за спинами не котомки, а рюкзаки. Оказалось, что это были толстовцы из Сибири, решившиеся на трудное многодневное путешествие, чтобы «пожаловаться советскому президенту на гонения иркутских властей», которым подвергалась их община... В канцелярии «советского президента» ходокам в приеме отказали, и они пришли в музей Толстого искать правды у его дочери Александры Львовны. Сколько им ни твердили, что Александры Львовны в Москве нет, они никак не могли уразуметь, как ее может не быть во главе дела ее отца, если она жива»*.

Можно не сомневаться, что старики-крестьяне все прекрасно бы уразумели, если бы сотрудники музея честно сказали им, что Александра Толстая бежала из СССР, поехала в 1929 году читать лекции в Японию и не пожелала вернуться в страну большевиков. Но доктора и кандидаты наук из музея Толстого попросту побоялись сказать мужикам правду. Тем не менее, правда эта до толстовцев дошла, хотя и с большим опозданием. После смерти Сталина в Москву стали наведываться духоборы (или духоборцы, как они себя называют), те самые, которым помог выехать

---

* Альберт Опульский. «Вокруг имени Льва Толстого». «Грани» №110, 1978, Франкфурт-на-Майне. А.Опульский запамятовал: речь шла о гонениях не от иркутских, а от новосибирских властей.

в Канаду Лев Толстой. Это были уже очень старые люди, для которых поездка на родину окрашивалась самыми радужными красками. Они были преисполнены симпатии к советскому режиму и не желали ничего дурного слышать о своей прекрасной родине. Люди эти два или три раза встречались с толстовцами и даже описали эти встречи в своем выходящем в Канаде журнале. Но что они могли узнать и понять во время своих кратковременных визитов?

Разговоры с иностранцами на Руси от веку дело опасное и запретное. Толстовцы достаточно намучились, чтобы не заводить новых неприятностей с властями. Они ничего не сообщили своим духовным братьям ни о расстрелах, ни о разгроме толстовских коммун. Соответственно и описания встреч духоборцев с толстовцами в журнале «Искра» носят чисто буколический характер. Один из московских толстовцев водил канадских гостей по парку Академии сельскохозяйственных наук имени Тимирязева. Там гости видели большие дубы и клены. Осыпались золотые листья. По парку гуляли ученые, «но немало было и рабочего люда». Один такой рабочий сказал толстовцу: «покажи гостям место, где наш Владимир Ильич Ленин присутствовал в 1918 году в этом парке на пробе электрического плуга». Место было показано, и гости были очень благодарны. Потом в группе толстовцев обсудили они вопрос о вегетарианстве и о таком нехорошем человеческом чувстве, как зависть. Свою статью о поездке в Советский Союз автор-духоборец завершил следующими словами: «Жаль было расставаться с Москвой, так много здесь волнующего и поучительного. Меня лишь отталкивали московские мясокомбинаты. Я видел раз целый поезд скота, который привезли к одному (комбинату — *М.П.*), и стадо, которое гнали к другому. Все это тревожит мыслящего человека...»*. Как видим, духоборцев с советской властью разделяло только их отношение к потреблению мяса. Теперь, когда мясо в московских (и не только

* Журнал «Искра» (русск.), 1970, №№24-26. П.Н.Малов. «Третье путешествие за океан».

в московских) магазинах исчезло полностью, преодолены последние расхождения между Кремлем и канадскими духоборами...

Был, однако, на Западе человек, который действительно мог бы сообщить мировой общественности кое-что о погибающем племени российского толстовства. Это была Ольга Бирюкова, русская эмигрантка в Швейцарии. Отец ее Павел Иванович Бирюков (1860-1931) был личным другом и биографом Льва Толстого и именовался в Ясной Поляне просто Паша. Бирюков, один из основателей толстовского издательства «Посредник», подвергался преследованиям в начале века и, опасаясь царской тюрьмы, уехал в Швейцарию. На Западе прожил он большую часть своей жизни. Другие его дети вернулись в СССР, но дочь Ольга, верная идеям Толстого, осталась в Швейцарии. Она знала многое о судьбе толстовцев и даже делала попытки вовлечь западную общественность в защиту своих единомышленников. Дважды она просила едущих в СССР швейцарских граждан навестить Сибирь, место, где лежала в обломках последняя толстовская коммуна, а один раз обратилась с той же просьбой к бельгийцу-художнику. Она надеялась, что граждане свободного мира возмутятся тем, что им доведется там увидеть, и напишут об этом в западных газетах. Но граждане то ли побоялись, то ли поленились, и из затеи Ольги Павловны ничего не получилось. В 1960 году она сделала новую попытку публично рассказать о толстовцах. Это было в Венеции на конгрессе, посвященном 50-летию смерти Толстого. Вот что Ольга Павловна написала по этому поводу своим друзьям в Москву:

«Конгресс этот был организован физической родней Толстого, его многочисленными внуками, племянниками и т.д. Они пригласили разных профессоров, литературоведов из белой эмиграции... и также несколько знаменитостей из разных стран с громким именем, но не имеющих никакого отношения к сущности мысли Толстого. Этих приглашенных разместили... в роскошных отелях Венеции. Они читали свои заранее написанные ученые доклады с дотошным лите-

ратурным анализом стиля, разных второстепенных вещей, любовных сцен... Никого из ценивших и следовавших при жизни Толстому-учителю не пригласили... Ни словом во все 4 дня конгресса никто не обмолвился о таких друзьях и деятелях, посвятивших свою жизнь учению Толстого, как Ив.Ив.Горбунов-Посадов, ни о моем отце П.И.Бирюкове, — ни слова!.. В моем докладе я хотела сказать о всей деятельности «Посредника», о духовном облике... так называемых толстовцев. И о духоборах тоже хотела рассказать, как возродилось и выразилось в практическое действие их движение под влиянием Толстого... Но, увы, ничего из этого не пришлось мне сказать, хотя с самого начала я заявила, что хочу взять слово. Четыре дня я все надеялась. Наконец в последний момент перед сеансом закрытия, вдруг сказали... что осталось 7 минут и что так и быть в виде исключения... мне дают слово. Пока я дошла до конца зала, осталось уже 5 минут. Сильно взволнованная, я успела только сказать, что хотела бы передать собравшимся привет от тех, кто проливал свою кровь за идею Толстого (имея в виду духоборцев и толстовцев...). Хотела было продолжать, как меня на полуслове оборвал колокольчик председателя — сеанс закончен! Я должна была уйти, у меня были на глазах слезы... За папу моего было больно... они бойкотировали все так называемое «толстовство»*.

Так на двух торжественных посвященных Толстому собраниях в Москве и в Венеции повторилось то же самое: ни докладчики, ни люди в зале не желали почтить Толстого философа, мыслителя, религиозного деятеля, Толстого-учителя. Причины в обоих случаях были разные. Но и православная аудитория, собравшаяся в Венеции, и антирелигиозная публика из Большого театра в Москве хотели забыть, изъять из реальной истории последователей философии Толстого. Им не хотелось вспоминать о Толстом-

* Письмо Ольги Бирюковой к толстовцу Петру Алексееву в Москву от 5.07.1960.

учителе и о толстовцах, которых жена Льва Николаевича Софья Андреевна не называла иначе как «темные»...

Прошло еще 20 лет прежде чем на Запад проникли первые вести о подлинной жизни и смерти толстовского движения в Советской России. В течение 1979 и 1980 года мне удалось опубликовать несколько статей о толстовцах в ньюйоркской газете «Новое Русское Слово», а затем напечатать с комментариями часть рукописи крестьянина-толстовца Дмитрия Егоровича Моргачева в парижском журнале «Континент» (№27). Публикация в «Континенте» получила в целом положительную оценку на страницах парижской газеты «Русская Мысль». К моему изумлению, однако, рецензент закончил свой пассаж следующими словами: «Надо добавить, что по Божьему попущению крестьяне-толстовцы в большинстве своем доживают до глубокой старости...» Вот пока то немногое, что написано на Западе о российских духовных наследниках Льва Толстого.

...Тем, кто не знает современной советской России, переписка рассеянных по стране старичков с властями может показаться смешной и жалкой. Или, в крайнем случае, занятием людей, у которых слишком много свободного времени. Мне протесты Дмитрия Моргачева и призывы Андрея Мозгового смешными не кажутся. Речь в этих письмах идет о том, о чем никто почти в нашем отечестве и просить-то не смеет: о праве возражать клеветникам, о необходимости для народа полноценной духовной пищи. Одинокие, разрозненные в своих захолустьях, толстовцы продолжают читать, думать и (это ли не чудо?) п р о т е с т о в а т ь против того, что они считают несправедливым.

Их несчетно раз хоронили. В начале XX века Ленин писал: «1905 год был началом конца «восточной» неподвижности. Именно поэтому этот год принес с собой исторический конец толстовщине» (В.И.Ленин. Полн. собр. соч. Издание 5, том 20, стр.103). А через четверть века, в 1930-м, во ВЦИКе ленинские сподвижники Калинин и Сми-

дович вынуждены были признать, что в СССР существует несколько десятков толстовских коммун, и дали разрешение на переезд толстовцев в Сибирь. Еще тридцать лет спустя, в 1960-м, депутат Верховного Совета СССР писатель Леонид Леонов снова публично заявил, что у Льва Толстого в стране не осталось последователей, а «несуществующие» толстовцы ответили ему обвинительным письмом. Прошло еще девять лет. Доктор философских наук, профессор института истории Академии наук СССР Александр Ильич Клибанов в очередном своем томе вещает: «...На пути советского народа, строящего новое общество, существовало и такое понятие, как толстовство, с его долгими и организованными попытками... расколоть советских людей на верующих и неверующих, противопоставить последователей толстовства и сектантских учений советскому обществу. **Уже много лет толстовское движение сошло на нет**»*. Но те, кого нет, снова поднимают свой голос...

Их ничтожно мало, но они живы. И не просто живы, а сохранили в своем крошечном сообществе живую мысль, совесть, чувство достоинства. Много ли очагов такой вот независимой, непокорной мысли найдем мы в современной России? Да, они уходят. Скоро не станет ни того крестьянина, что, оставляя свои огородные грядки, одним пальцем выстукивает на старенькой машинке трактат Эпиктета; ни того грузчика, который написал целую документальную книгу о своей семье. Они уходят бесшумно, не привлекая к себе ничьего внимания. Уносят в могилу мечту о стране всеобщей и обязательной доброты, память о лагерной баланде и стихи давно погибших друзей. И люди, живущие в соседнем доме, даже не подозревают, что рядом вымирают мамонты и динозавры духа. Народу, возводящему стройки коммунизма и стоящему в очереди за сосисками, народу,

* А.И.Клибанов. «Религиозное сектантство и современность». М., 1969.

который с песнями идет на всесоюзные субботники и одобряет на собраниях вторжение советских танков на чужую территорию, не до толстовцев.

И все же я не верю, что все это — стихи и трактаты, сердечная многолетняя дружба единомышленников и их неустанный крестьянский труд, их вера и демократизм — прошли впустую. О том, как личность воздействует на окружающих, о том, что влияние это не исчезает и после смерти, написаны сотни томов. Есть этому феномену мистическое объяснение, есть объяснение материалистическое; есть мнение Герцена и индийских мудрецов трехтысячелетней давности, есть суждение академика-психиатра В.М.Бехтерева и отцов Церкви. Но свое убеждение о том, что духовный подвиг крестьян-толстовцев остается в нашей жизни, что не исчезнет он с приходом новых поколений, я черпаю не у светочей философии и религии, не у Толстого и Сократа, а у полуграмотного партийного антирелигиозника Федора Путинцева. Вот кому я верю! Более чем полвека назад, в дни столетнего толстовского юбилея, ныне давно забытый Путинцев, ненавистник любой веры, кроме веры в светлое коммунистическое будущее, писал на своем пропагандистском волапюке:

«Удельный вес толстовских групп нельзя измерить только количеством членов этих групп. Влияние толстовцев и Толстого неизмеримо больше, чем можно было бы предполагать по количественному составу и росту толстовщины».

Согласимся, что такое признание врага чего-то сто̀ит.

Заключение

ТРИ ВОПРОСА К АВТОРУ ПОД ЗАНАВЕС

В начале 1980 года, когда в качестве стипендиата Института имени Джорджа Кеннана в Вашингтоне я работал над этой книгой, меня несколько раз приглашал в свой кабинет доктор Джеймс Биллингтон, директор Смитсониевского Центра, в состав которого входит и Кеннан-Институт. Знаток русской истории и культуры, автор известного труда «Икона и топор», доктор Биллингтон интересовался, как идет моя работа. Среди вопросов, которые он тогда задавал, особенно запомнились следующие три:

— Почему вы избрали для исследования жизнь такой маленькой общественной группы, как толстовцы; ведь их влияние на советское общество крайне невелико?

— Правильно ли крестьяне-толстовцы понимали своего учителя; действительно ли их жизнь в течение 60 лет советской власти была близка к толстовскому идеалу?

— Документы крестьянского архива, которые вы привезли в США, по всей видимости уникальны и никогда не бывали в обиходе историков; других мы пока не имеем; значит ли это, что ваша книга о толстовцах на сегодня исчерпывает тему полностью?

Частично ответить на это я постарался в тексте книги, но в заключительной главе мне хочется снова вернуться к вопросам доктора Биллингтона, которые кажутся мне важными и принципиальными. Итак, почему я взялся описывать маленький, почти неизвестный советской общественности клан толстовцев?

Начну как бы издалека. Есть несколько объяснений, почему большевизм восторжествовал в России и почему с таким успехом процветает на нашей земле. По одной теории — большевизм иностранная болезнь, во всем виноваты западные философы, соблазнившие русский народ несбыточными посулами. Другие считают, что русский народ сам во всем виноват — он по сути своей склонен к рабству: привыкши к ярму царизма, он без сопротивления принял ярмо большевизма. Есть и другая точка зрения, которая состоит в том, что русские — жертвы, а виновников большевистского переворота следует видеть в инородцах и прежде всего в евреях. А один автор даже такую гипотезу выдвинул: в России давно уже никакого большевизма нет, а Сталин не вождь большевизма, а лютый его враг. Он еще при Ленине разочаровался в учении Маркса и разработал (в 1925 году!) план, по которому принялся разорять большевистскую систему и создавать взамен самодержавную империю, в которой от прошлого остались лишь лозунги. И коллективизация, и индустриализация, и уничтожение партии и миллионов невинных граждан — есть лишь осуществление сталинского антибольшевистского плана.

Я не беру на себя смелость участвовать в этом затянувшемся споре. Меня лично интересует не причина водворения большевизма на Руси, а главный результат его 65-летнего господства. Главным считаю я не разорение сельского хозяйства, не милитаризацию индустрии, не потери, понесенные партией и народом. Главное из того, что случилось в России после 1917 года, это полная и всеобщая деморализация так называемого советского общества. Сегодня возник по существу новый народ, в котором после шестидесяти лет страха, голода, крови и двоемыслия уже не работают ни запреты Божеские, ни «советы доброй маменьки», ни естественное для граждан демократических стран почтение к законам и традициям. Уголовным стал наш язык, полууголовными — отношения государства и гражданина и граждан между собой. Полностью осуществился партийный лозунг: «Народ и партия — едины».

Они действительно едины в своем безверии и в своей развращенности. Разница между ними в том только и состоит, что высокопоставленные члены партии уже получили те материальные блага, при мысли о которых у народа слюнки текут. Меняй их местами — ничего не изменится.

Конфликт власть имущих с советским обществом не носит сегодня ни политического, ни идеологического характера. (Хотя есть в стране честные диссиденты и благородные борцы за национальное освобождение, есть Сахаров и Хельсинкские группы.) Телега российская прочно сидит в нравственной трясине. Большевизм укоренился, развратив, растлив общество. И тут мы подходим, наконец, к ответу на вопрос профессора Биллингтона. Есть в летаргическом советском царстве малая горсточка, которая не примирилась с сущим. Это верующие. Без крика и шума несут они свой крест, пытаясь держаться Божеских законов в безбожном государстве. Чаще всего это христиане, которых по советской традиции зовут сектантами: баптисты, адвентисты седьмого дня, иеговисты, пятидесятники, молокане, духоборы, евангелисты, толстовцы.

Толстовцев в этом сообществе меньше всех, но они наиболее интеллигентная часть в сообществе протестующих во имя совести и Бога. Они, может быть, единственные, кто осознает свой мирный протест большевистскому государству в категориях исторических. Что делают эти люди? Ничего особенного: просто живут в согласии со своими нравственными принципами, всеми силами стремясь избегать государственных соблазнов. Они знают, что государство всегда греховно, но греховны и граждане. Они верят в свою правоту и не сердятся на то, что остальные 265 миллионов не желают держаться их образа жизни. В случаях роковых они без злобы и надрыва идут в тюрьмы и лагеря. Мне по душе их спокойная уверенность и несуетное отношение к миру. Не могу твердо сказать: «Сим победиши!» Но мой жизненный опыт подсказывает, что большевизм, если он будет когда-нибудь побежден, то лишь действиями такого рода: индивидуальными, нравственными и в какой-то

степени практическими. Вот почему я и написал про этот удивительный народец, почти выбитый, но не сдавшийся. При своей количественной малости, они из тех, кто на верном пути. И если родине нашей суждено иметь будущее, то придет оно не через партии и армии, не через индивидуальное самосожжение и массовый террор. Будущее России могут обеспечить только люди, которые уже теперь живут по совести и которые уже сейчас ставят моральное право выше статей Уголовного кодекса и постановлений райсовета.

Второй вопрос: являются ли крестьяне-толстовцы подлинными последователями религиозно-философского учения Льва Толстого? Удалось ли им осуществить в советское время его идеал?

Скорее всего нет. У Толстого не было *своего* учения. Он лишь пытался перевести на язык нового времени суть учения Христа. Ядром христианства Толстой считал мысль о непротивлении злу насилием. Толстовцы стремились осуществлять этот принцип в своей жизни. Но жили они не в безвоздушном пространстве и не в абстрактном мире, а во вполне конкретном советском государстве 20-х — 70-х годов XX столетия, где христианская идея отвергалась полностью. Крестьяне преодолевали запрет государства как могли, как знали. По самым главным вопросам жизни никто ничего не мог посоветовать им. Они искали ответы в произведениях Толстого, но ответы эти мало что объясняли. Учитель не интересовался порядками, его занимала человеческая личность. Он был не государственником, а моралистом. Душа человеческая значила для него больше, чем успехи державы или преуспеяния какой-то сельскохозяйственной коммуны. А от его последователей жизнь каждый день требовала присягать прежде всего порядкам и государственным установлениям. Толстой и предвидеть не мог, как за какие-нибудь 20 лет изменится жизнь России. А им, мужикам, каждый день надо было отвечать себе и своим близким: «Сохранять ли коммуну? Как в стране советов учить детей? Признавать ли государственный суд?..»

Толстой со скепсисом говорил о тех коммунах, которые возникали и распадались в его время. Но в идеале он хотел видеть своих современников питающимися от плодов земли, добывающими хлеб свой физическим трудом в деревне. Можно не сомневаться: великий писатель в ужасе отшатнулся бы, случись ему увидеть советский колхоз. Толстовцы тоже не хотели итти в колхозы, но покинуть колхоз значило уйти в город, на производство. А как же тогда с плодами земли и с совместным безымущественным трудом?

Лев Толстой был противником войны и участия людей в военной службе. Толстовцы тоже. Но во времена Толстого за отказ брать в руки оружие новобранцу от силы грозило 8-12 лет каторги. А в советское время за то же самое «преступление» расстреливали. Не все последователи Толстого в СССР находили в себе силы отказаться от военной службы. Часть оставалась верной Учителю и шла на верную смерть, но были и такие, что одевали мундир и брали в руки винтовку. И те и другие считали себя толстовцами. И никто из них не укорял другого.

Как я уже говорил, толстовцы отличались поразительной для советских граждан свободой и разнообразием взглядов. Были среди них и такие, что в советской системе находили известные достоинства. Крупный русский адвокат, эмигрант, депутат Государственной Думы от партии кадетов, В.А.Маклаков объяснял это тем, что толстовцы не поняли до конца учения Христа, ибо учение это «не от мира сего». В Париже, на вечере в память десятой годовщины смерти Л.Н.Толстого белоэмигрант Маклаков пояснил свою мысль следующим образом: «Когда я смотрю теперь на толстовцев, которые уверяют серьезно, будто Толстой простил бы большевикам их зверства, за то, что их насилия ведут к торжеству коммунизма, к гибели богатств и богатых, когда я вижу толстовцев, которые так понимают его, я невольно вспоминаю великих и малых инквизиторов, последователей Христова учения, которые тоже воображали, что его понимают, когда во имя Христа

жгли на кострах. Т а к о е понимание — общее явление. Это мирская судьба учений, которые не от мира сего»*.

Отдавая должное ясности мысли Василия Алексеевича Маклакова, я могу лишь повторить, что произнесена она была 60 лет назад. То был год великих иллюзий, год возникновения в Советском Союзе большинства толстовских коммун. Дальнейшая жизнь под большевиками многому научила последователей Льва Николаевича. Сорок лет спустя, крестьянин-толстовец Борис Мазурин выразил свой новый взгляд на «мир социализма» в следующих словах: «Нельзя себе представить Толстого молчащим в такие ужасные годы, как 1937 и 1938»**. Но думается, не промолчал бы Толстой и в 1917-м...

Вопрос третий: Исчерпывает ли эта книга все известные на сегодня факты и обстоятельства, относящиеся к советскому толстовству?

Нет, не исчерпывает. Хотя у меня хранятся десятки микрофильмов и сотни листов рукописей толстовцев, мне не удалось затронуть в своей книге очень многих сторон их деятельности. За пределами книги остались также многие судьбы толстовцев. Некоторые рукописи мне не удалось использовать совсем, другие использованы лишь в малой степени. Так, я не рассказал о поэтическом творчестве крестьян. В 1973 году неутомимый Дмитрий Моргачев собрал большой сборник стихов, в разное время написанных членами коммуны «Жизнь и Труд», а также некоторыми единомышленниками их в Москве. Сочиняли толстовцы свои стихи и до революции (от «мирного времени» остались длинные баллады И.И.Горбунова-Посадова), и в 20-е годы. Но особенно много стихов было написано в тюрьмах и лагерях. В тюрьме стихи стали главным средством общения

---

* А.В.Маклаков. «Толстой и большевизм». Речь на вечере, посвященном 10-й годовщине смерти Толстого, в Париже 5 января 1921 года. Цит. по газете «Русская Мысль» №3328 от 2.10.1980.

** Б.В.Мазурин — Б.С.Мейлаху в письме от 17 апреля 1962 г.

и самовыражения единомышленников. От этой мрачной эпохи сохранились поэтические произведения бывшего учителя толстовской деревенской школы Г.Тюрка, коммунаров П.Пащенко, Д.Моргачева, Б.Мазурина, Е.Епифанова, С.Булыгина (последний еще в 1940 году получил длительные каторжные работы за отказ служить в Красной армии). Стихи писал также Е.И.Попов, работавший еще до революции в издательстве «Посредник», хорошо знавший Л.Толстого старик-крестьянин (толстовец еще с дореволюционным стажем) И.В.Гуляев и многие другие. Одни произведения более художественны, другие менее. Но собиратель сборника и сами авторы меньше всего беспокоились о мастерстве стихосложения. В предисловии к сборнику 1973 года Дмитрий Моргачев так объяснил обстоятельства, которые заставили не слишком изощренных в литературном мастерстве крестьян браться за перо:

«В тюрьме не полагалось иметь при себе бумагу и карандаш. Были часто обыски. Мы обвинялись по статье 58-й как контрреволюционеры. Поэтому приходилось все, что с нами происходило, заучивать в памяти. Стихотворения, создаваемые в тюрьмах и лагерях, заучивались в памяти, складывались в мозговую библиотеку и хранились там десятилетиями, до возвращения из заключения, если кто возвращался домой... По возвращению из лагерей и тюрем те, кто остались живы, смогли записать на бумагу выученные на память стихи и познакомить нынешних людей с нашим жутким прошлым, с произволом и беззаконием, в котором мы жили. Пусть это будет назиданием современным сегодняшним людям, чтобы такое больше не повторилось».

Типичным образцом стихотворения-документа является то, которое сам Моргачев составил в 1937 году в лагере:

Отец вселенной, Царь природы,
К Тебе взываю, Тебя прошу:
Да, так я многое забуду,
Сейчас в уме я запишу.

В Мариинских лагерях
И в Беломор-канале
По двенадцать ларей
В одну яму клали,

А в одном ларе двенадцать
Трупов мертвых было.
Так что сто сорок четыре
В одну ночь зарыли.

А таких ночей немало,
Они сплошь да рядом.
Только вспомню про это —
Слезы льются градом...

Толстовцы писали в камерах и бараках об оставленной воле, о своей коммуне, о страдающих и ожидающих их детях и женах. Порой стихи служили для того, чтобы подбодрить упавшего духом товарища, а порой звучали как молитва, обращение к Богу за защитой и помощью.

Поэтическое творчество русских религиозных крестьян, очевидно, могло бы стать темой специальной книги, так же как и судьбы толстовцев-горожан. Этой последней темы я почти не коснулся. А между тем, следовало бы рассказать не только об отдельных людях, но и о целых организациях, таких, как Общество истинной свободы в память Л.Н.Толстого, Московское вегетарианское общество имени Толстого, толстовское издательство «Посредник», просуществовавшее до конца 20-х годов. Очевидно, интересно было бы сообщить и о закрытых советскими властями толстовских журналах.

Работая над историей крестьян-толстовцев, я с огорчением вынужден был обойти в ней жизнеописания таких виднейших толстовцев-горожан, как В.Г.Чертков (1854-1936), его жена А.К.Черткова (1859-1927), И.М.Трегубов (1858-1932), Ф.А.Страхов (1861-1923). В следующем поколении толстовцев весьма видное место занимали К.С.Шохор-

Троцкий (1897-1937), М.В.Муратов (1892-1957), П.И.Бирюков (1860-1931), И.П.Горбунов-Посадов (1864-1940), Е.Е.Горбунова (1878-1955), Н.Н.Гусев (1882-1967) и многие другие. Большая часть толстовцев-горожан погибла в 30-е годы в сталинских застенках и лагерях. Лишь немногие из них оставили потомству описание своей жизни. С некоторыми из них я встречался, родственники других передали мне бумаги погибших.

Уникальный характер носят воспоминания Самуила Моисеевича Беленького (1877-1965). В последний год жизни Л.Н.Толстого Беленький, живя рядом с Ясной Поляной, перепечатывал на машинке (ремингтоне) его рукописи. Толстой очень ценил доброго, терпеливого и чрезвычайно старательного ремингтониста. Четверть века спустя, в 1935-м, Самуила Моисеевича выслали с женой из Москвы в Казахстан, а затем 60-летнего старика приговорили к трем годам лагерей и отправили на север в Котлас. Чтобы заставить старого человека работать на тяжелых работах, огепеушники «омолодили» его на десять лет, то есть попросту записали в документах, что он родился не в 1877-м, а в 1887-м году. Толстовца Беленького еще несколько раз потом арестовывали и осуждали. Незадолго до смерти Беленький начал записывать эпизоды лагерной жизни. Воспоминания его дышат теплом к людям-мученикам. Более всего его привлекают те, кто, как и сам Самуил Моисеевич, в самых невыносимых условиях сумели сохранить себя, свой духовный мир, свою веру. Со временем я надеюсь опубликовать бесхитростные рассказы этого доброго и честного человека.

Толстовцу-москвичу доктору Червонскому (1888 — умер в начале 70-х) удалось избегнуть ареста. Как врач Иосиф Петрович Червонский всегда был на хорошем счету, его даже награждали медалями и почетными значками за самоотверженную работу на столичной скорой помощи и на фронте. Он не имел обыкновения обсуждать с посторонними свои религиозные и философские взгляды, но читая его дневники и письма, видишь, что доктор никогда не изменял

толстовским взглядам, которых держался с юных лет. Однако врач Червонский вошел в русскую культуру не как деятель медицины и не как наследник философских идей Льва Толстого, а как переводчик. В начале 20-х годов Иосиф Петрович, который хорошо владел несколькими иностранными языками, обратил внимание на книги американского бактериолога и писателя Поля де Крюи (Поль де Крайф) и начал их переводить. Книги эти произвели огромное впечатление на молодежь. Несколько поколений советских юношей и девушек с увлечением читали научно-художественные произведения американца — «Враг под микроскопом», «Охотники за микробами», «Стоит ли им жить?», «Борьба с безумием», не слишком обращая внимание на имя переводчика. Между тем, можно уверенно сказать, что скромный доктор со скорой помощи своим неприметным трудом переводчика сделал больше, чем вся советская пропаганда науки. Мне много раз приходилось слышать от известных советских ученых, что заняться наукой их побудили книги Поля де Крюи.

Переводчик-толстовец никогда не видел того, чьи книги он переводил. Но, как можно судить по сохранившейся переписке, писателя и переводчика соединяли глубокая взаимная симпатия и уважение. Удивителен конец этого альянса. Взгляды де Крюи в 20-е — 30-е годы, как и взгляды многих западных интеллигентов, отличались левизной и симпатией к коммунизму. Американский писатель настолько был увлечен страной советов, что даже предлагал свои гонорары в СССР для того, чтобы американские ученые и врачи могли поехать на родину большевизма поучиться замечательным достижениям советского здравоохранения. Однако годы, последовавшие за Второй мировой войной, освободили писателя от просоветских иллюзий. Поль де Крюи оставил свои левые увлечения и уверовал в Бога. В письме, помеченном 1958 годом, он написал своему переводчику в Москву, что ни один человек никогда не оказывал на него бо̀льшего влияния, чем Лев Толстой своими религиозно-философскими произведениями.

Надо ли говорить, какую радость это письмо из Америки доставило толстовцу Иосифу Червонскому!..

Нет, моя книга не охватывает проблему русского толстовства полностью. Можно ожидать, что появится еще немало исследований в этой области. Книги эти в первую очередь нужны людям в Советском Союзе. Но есть в такого рода исследованиях особый смысл и для западного читателя. Среди европейской и американской интеллигенции все еще немало поклонников советской системы, уверенных, что будущее за большевизмом. Таких людей сейчас несколько меньше, чем в 30-х годах, но все еще достаточно. Всякую борьбу с кремлевским режимом считают они вредной, направленной на поддержку «проклятого капитализма». Такие «левые» охотно ездят в СССР, и их успешно обманывают там всякого рода «потемкинскими деревнями». Еще в 1932 году мужественная русская женщина-толстовка Ольга Бирюкова пыталась объяснить западной общественности, что̀ именно большевики делают со своими подданными. Особенно большие надежды возлагала она на встречу людей из Европы с советскими толстовцами. Она хорошо знала: толстовцы не покривят душой и расскажут иностранцам всю правду. В письме, тайно переправленном из Швейцарии в Советский Союз В.Г.Черткову, Ольга Бирюкова просила помочь едущим в СССР европейцам повидать коммунаров, живущих в Западной Сибири, в коммуне «Жизнь и Труд». В частности, она писала:

«Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь из иностранных посетителей Сов/етской/ Рос/сии/ проник в ту полосу ее жизни, в которой живете вы... Теперь я надеюсь на одного очень сильного характером и волей человека — бельгийца. Этот человек известный художник, и будет в компании с тоже известным немецким писателем Ст/ефаном/ Цвейгом. Последний едет с целью написать об СССР книгу, а его друг-художник ее иллюстрирует. Этот художник вместе с тем прекрасный человек, философ и социолог со своим твердым идеологическим подходом — гуманитаризмом... Я нахожусь с ним в переписке...

и перед его отъездом в СССР я дам ему свои инструкции. Его откровенность и смелость не знает преград, и то, что он хочет — он делает. Язык у них немецкий, французский и английский, по-русски — ни звука, конечно. Как было бы хорошо, если бы эти люди могли посетить, например, вашу коммуну. Эта группа европейской интеллигенции, как и Р.Роллан, сильно сочувствуют коммунистическому строю и разрушению старого капиталистического буржуазного мира, который их окружает... Но когда им говоришь о движении реформаторов жизни, не признающих насилия, как духоборы, толстовцы и прочие, они не хотят к ним отнестись серьезно. Это им кажется почти баловством. "Что же из того, что они в своей группе устраивают новую жизнь!.. А вот освободить от рабства массы, пролетариат всего мира, колониальные народы, навсегда истребить класс эксплуататоров, — дело другое!" И их взгляды и надежды устремлены на большевизм. Только такие "активные" люди, как большевики, могут изменить опротивевшую им окружающую жизнь. **Нужно приложить особую силу доказательств, чтобы разрушить их убеждения**»*.

План Ольги Бирюковой провалился. Стефан Цвейг и его друг-художник были окружены в стране строящегося социализма столь тесным кольцом надзирателей, что ни о какой встрече с «простыми советскими людьми» и речи не могло быть. Но история толстовцев в Советском Сою-

---

* Письмо О.П.Бирюковой — В.Г.Черткову от 29 марта 1932 г. Имеется в виду художник Франс Мазереель. С попыткой Бирюковой ничего не получилось. Стефан Цвейг поехал в СССР, но книгу, которую от него ждали в Кремле, не написал. (В отличие от Барбюса и Фейхтвангера). Позднее он рассказал, что во время приема в Союзе писателей СССР кто-то положил ему в карман пальто записку на французском, в которой его предупреждали, что он окружен лжецами и официальные лица обманывают его. Советская действительность намного страшнее. Письмо О.Бирюковой находится в фонде В.Г.Черткова в Библиотеке имени Ленина в Москве.

зе, их мирная борьба за свои идеалы и трагическая гибель не устарели и ныне — полвека спустя. С фактами, относящимися к жизни толстовцев, мне кажется, и сегодня будет полезно познакомиться тем западным «левым», которые все еще страдают просоветскими иллюзиями. Увидят ли они в этих фактах «особую силу доказательств» — это уже другой вопрос.

Москва — Вашингтон — Нью-Йорк
1977 — 1981 гг.

СОДЕРЖАНИЕ